



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

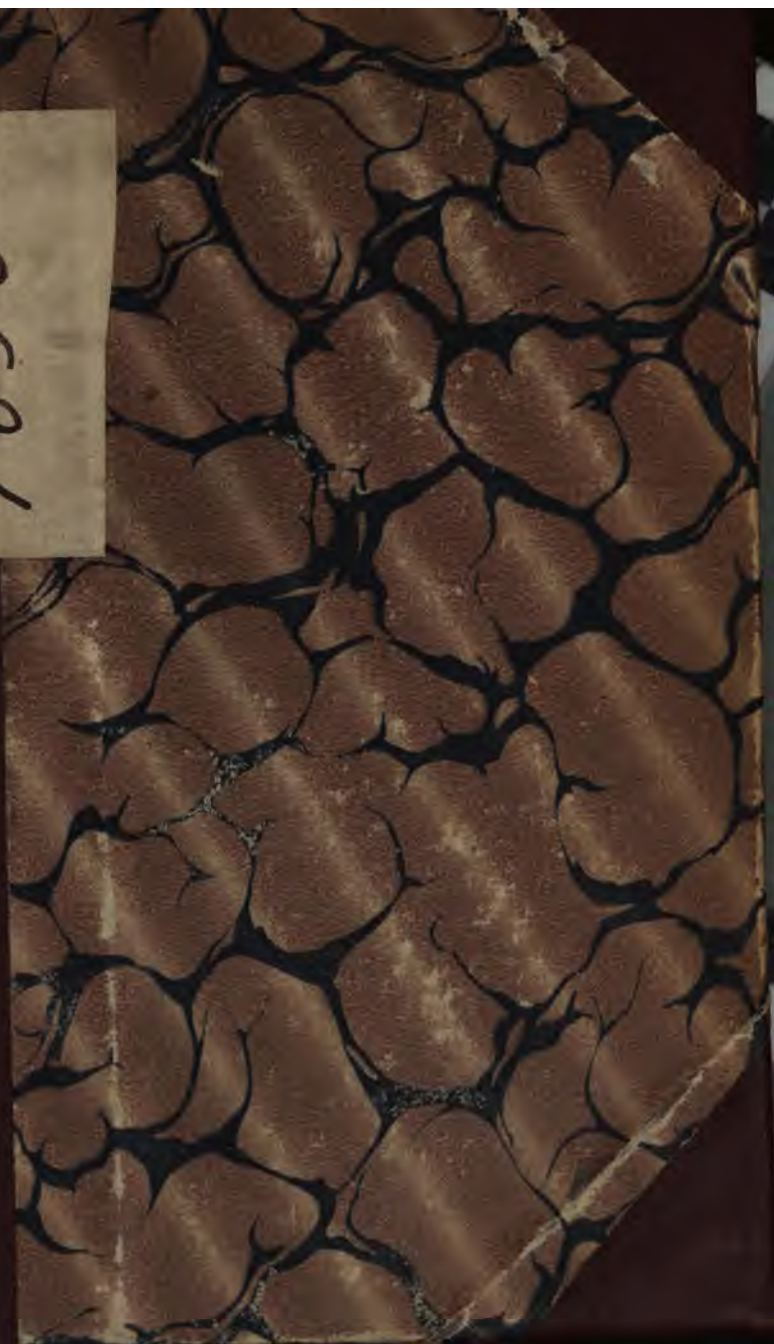
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

1898



898



~~1898~~

323-1/2

12 -

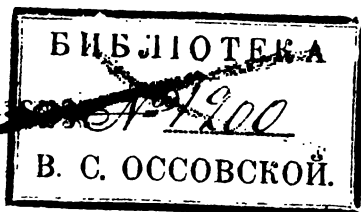
АЛ. Н. БУДИЩЕВЪ

РАЗНЫЯ ПОНЯТІЯ

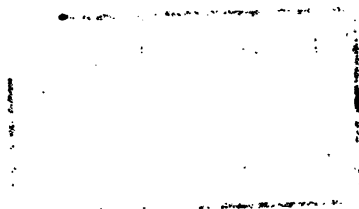
ДВАДЦАТЬ РАЗСКАЗОВЪ

- 1) Разныя понятія. — 2) Агашка. — 3) Молодой другъ. —
4) Уродъ. — 5) Доброе дѣло. — 6) Письмо. — 7) Благодатное
небо. — 8) Оптимистъ и пессимистъ. — 9) Дуракъ. —
10) Полѣно. — 11) Братья. — 12) На пути. — 13) Женихи. —
14) Въ лѣсу. — 15) Святая душа. — 16) Лѣсная идиллія. —
17) Было на разумѣ. — 18) Смерть. — 19) Богато. — 20) Охота
на слона

V



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ИЗДАНИЕ А. С. ЛУБОРИНА
1901
Вып. 1. 1901. 21



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. 13



СОДЕРЖАНІЕ.

	СТРАН.
Разныя понятія	1
Агашка	20
Молодой другъ	29
Уродъ	56
Доброе дѣло	68
Письмо	78
Благодатное небо	93
Оптимистъ и пессимистъ	100
Дуракъ	111
Полѣно	121
Вратья	128
На пути	160
Женихи	170
Въ лѣсу	195
Святая душа	211
Лѣсная идиллія	219
Было на разумѣ	232
Смерть	240
Болото	249
Охота на слона	260



РАЗНЫЯ ПОНЯТІЯ.

Мороситъ мелкій осенній дождь. Въ саду между голыми деревьями свиститъ вѣтеръ. Вымокшій дворикъ Бахмутовскаго флигеля весь затопленъ тусклыми сумерками, какъ прудъ мутною водою. Въ этой безцвѣтной мглѣ осеннихъ сумерекъ всѣ предметы посѣрѣли и даже измѣнили очертанія. Перевернутая вверхъ колесами телѣга походитъ теперь на китайскій домикъ, а понуро сидящая на крыльцѣ собака на индійскаго идола. Можно подумать, что Бахмутовскій дворикъ простуженъ осенними вѣтрами и дождемъ и тяжело бредитъ. За дворикомъ, обнесеннымъ покачнувшимся тыномъ, высится скелетъ большого каменнаго дома; его желѣзная крыша содрана съ рѣшетинъ; это старый Бахмутовскій домъ; вѣтеръ свободно гуляетъ по дому, проникая сквозъ черныя отверстія вынутыхъ оконъ, и старый домъ издаетъ протяжные и жалобные звуки. Въ саду, кое-гдѣ на полянахъ, торчатъ такіе же скелеты полуразрушенныхъ теплицъ и оранжерей; вѣтеръ гуляетъ и тамъ и всѣ эти развалины точно пере-кликаются между собою, какъ часовые, гудятъ и стонуть. А два окна маленькаго флигеля скупо свѣтятся. Тамъ за столомъ съ обгорѣлыми отъ утюговъ краями сидитъ Бах-

мутовская кухарка Устинька и прохожая странница Ироида. Маленькая лампочка тускло озаряет их фигуры. Ироида чинить казинетовый шушунъ, побывавшій и въ Кіевѣ, и у Тихона Задонскаго, и въ Соровской пустыни у отца Серафима. Изрытое морщинами лицо Ироиды строго и сосредоточенно. Устинька вяжетъ чулокъ. Ея молодое личико худощаво, а въ глазахъ ея страхъ. Ей двадцать лѣтъ и она вотъ уже два года служитъ въ кухаркахъ у Бахмутовыхъ, бѣжавъ изъ сосѣдняго уѣзда отъ звѣрствъ мужа. Ироида, ковыряя иглою, шепчетъ ей «Сказъ объ Аллилуевой женѣ». Устинька роняетъ порою свой чулокъ на колѣни и глядитъ на Ироиду глазами, полными страха. А Ироида шепчетъ:

— Какъ родился Христосъ въ Внелеемѣ, какъ крестился нашъ Спасъ въ Іорданѣ, антихристы-фарисеи его замѣчали, злой смерти Христа предать хотѣли. И кидался нашъ Спасъ во келью къ Аллилуевой женѣ милосердной. Аллилуева жена печку топить, на рукахъ своихъ младенчика держить. И сказали ей Христосъ, Царь небесный: «Ты послушай меня, Аллилуева жена, ты бросай свое дѣтище во пламя, принимай Меня, Царя небеснаго, на руки»! Аллилуева жена милосердна свое дѣтище во пламя бросала, принимала Царя небеснаго на руки...

— О, Господи, Господи! — шепчетъ Устинька съ глазами, полными ужаса.

Въ тусклыя окна кухни стучитъ дождь; за тонкою перегородкою, отдѣляющею кухню отъ кабинета, слышатся тяжелые шаги старика Бахмутова. Барышни нѣтъ дома, она гоститъ вотъ уже двѣ недѣли у тетки въ селѣ Толмазовѣ, и старикъ Бахмутовъ скучаетъ по дочери. Онъ ходитъ изъ угла въ уголъ по кабинету, тербитъ длинные сѣдые усы и порою мурлычить подъ носъ старыя

кавалерійскіе сигналы. Стѣны кабинета облуплены, корявые половицы поскрипываютъ подъ ногами. У притолки на вытяжку торчитъ Бахмутовскій приказчикъ Родіонъ Родіонъчъ. Почему онъ числится приказчикомъ—трудно сказать, такъ какъ у Бахмутова давнымъ-давно уже ничего нѣтъ. Отъ его нѣкогда громаднаго имѣнія осталось сто заложенныхъ и перезаложенныхъ десятинъ, а отъ богатой усадьбы—развалины. Но все-таки Родіона Родіонъча всѣ зовутъ приказчикомъ. Ему лѣтъ шестьдесятъ, онъ моложе барина, малъ ростомъ и худъ; подобострастное выраженіе застыло на его лицѣ и дѣлаетъ его похожимъ на маску. Онъ глядитъ въ глаза Бахмутова, а тотъ ходитъ изъ угла въ уголъ, шлепая разбитыми туфлями. На баринѣ старая плисовая венгерка и фланелевые шаровары.

— Знаешь ли ты, Родька, — говоритъ Бахмутовъ и останавливается: — знаешь ли ты кавалерійскій сигналъ «въ походъ»?

Родька прекрасно знаетъ этотъ сигналъ, такъ какъ слышалъ его отъ барина разъ четыреста, но онъ отрипательно мотаетъ маленькою и сѣденькою головою, похожую на серебряный набалдашникъ. Ему хочется доставить барину удовольствіе.

— Сигналъ этотъ въ 53-мъ пѣлся такъ, — продолжаетъ Бахмутовъ и напѣваетъ жидкимъ, старческимъ голосомъ:

— Всадники-други, въ походъ собирайтесь,
Радостный звукъ васъ ко славію зоветь,
Съ бодрымъ духомъ храбро сражайтесь,
За царя, родину сладко и смерть примяты!

— Хорошо? — добавляетъ онъ.

Родька присвистываетъ губами.

— И-и, до чего чудесно сочинено, скажите пожалуйста!

— Хорошо было въ 53-мъ,— говоритъ съ одушевленіемъ Бахмутовъ:—лихо въ атаку ходили, конь въ конь, молодецъ къ молодцу, только этишкеты покачиваются.

— Ты Вознесенскій уланскій помнишь?—добавляетъ онъ:—рыжій, на рыжихъ онъ былъ?

— Господи, какъ же не помнить, Создатели,—говоритъ Родька, захлебываясь отъ радости.

— Хорошій былъ полкъ, но до нашего далеко,— заявляетъ Бахмутовъ.

— До нашего? Господи, отпы... до нашего? какъ до неба имъ до нашего!..— восклицаетъ Родька, который никогда не служилъ въ военной службѣ.

— Хмъ, куда имъ до нашего!— саркастически ухмыляется онъ.

Лицо Бахмутова дѣлается задумчивымъ.

— И все это ушло, Родька,— говоритъ онъ:— все ушло! Куда это только молодость людская уходитъ?

Онъ вопросительно глядитъ на Родьку, но тотъ безмолвствуетъ, не зная, что отвѣтить. Въ маленькой комнатѣ дѣлается тихо. Только дождь и вѣтеръ стучать въ тусклое окошко и тоже не даютъ отвѣта; въ тѣ земли, куда уходитъ людская молодость, они не заглядывали никогда.

Бахмутовъ начинаетъ молчаливо ходить изъ угла въ уголъ. Половицы поскрипываютъ подъ его шагами и стекло лампы монотонно потренькивается. Иронда шепчетъ за перегородкою:

— Прибѣжали тутъ антихристы-фарисеи, г. ворилн Аллилуевой женѣ милосердной: «Ты скажи, Аллилуева жена милосердна, покажи, куда Христа схоронила»?

Отвѣчаетъ имъ Аллилуева жена: «Бросила я Христа въ печь во пламя!» Антихристы въ печь заглянули, Аллилуева младенца увидали, зашлясали они, заскакали, заслонкою печь закрывали, изъ Аллилуевой кельи пропали. Аллилуева жена заслонъ открывала, слезно плакала горько причитала: «Согрѣшила я, грѣшница, согрѣшила, свое дѣтище, свое милое погубила!»

— О, Господи, Господи, Господи! — шепчетъ Устинька.

— Хорошее времячко было, — говоритъ Бахмутовъ. Онъ присаживается у стола и задумывается. Ему вспоминаются старыя битвы.

Голосъ Ироиды шепчетъ за стѣною:

— И сказалъ ей Христосъ-Владыко: «Ты не плачь, Аллилуева жена, загляни-ка ты въ печь во пламя». Заглянула Аллилуева жена во пламя, увидала въ печи вертоградъ райскій, въ вертоградѣ трава шелковая, по травѣ младенчикъ ея гуляетъ, золотую книгу евангельскую читаетъ, за отца, за мать Бога молить!»

— Вотъ и шушунъ готовъ, — добавляетъ тотъ же голосъ.

— О, Господи, Господи, Господи! — вздыхаетъ Устинька.

Родька шевелится у притолки.

— А вчерась, Ліодоръ Палычъ, — говоритъ онъ: — къ намъ Никандровъ изъ Ворошилова пріѣзжалъ, не продадите ли, гриль, просяной соломы? Я, гриль, пять рублей дамъ. Продать ничто? Все равно за зиму мыша съѣстъ.

Бахмутовъ молчитъ, погруженный въ думы.

— Продать безпремѣнно надо, — продолжаетъ Родька: — лавошнику мы пять рублей за чай, за сахаръ за-должали, судомъ лавошникъ угрожаетъ.

— Продай, продай, — шепчет Бахмутовъ.

— Да тошить вотъ еще намъ нечѣмъ, — шевелится Родька: — Парники нешто старые сломать, а то за даромъ лѣсъ гниѣтъ.

— Сломай, сломай, — шепчет Бахмутовъ.

— Я мѣди изъ стараго дома на три съ четвертакомъ продать. Мяснику долгъ уплатить. Шингалеты, ручки дверныя, заслонки — все продать. На три съ четвертакомъ.

— Продай, продай, — шепчет Бахмутовъ.

Онъ ничего не слышитъ. Ему грезится молодость и черный, какъ вороново крыло, полкъ. Въ окна стучатся дождь и вѣтеръ и навѣвають дремоту.

— Барышнѣ башмаки въ долгъ взялъ. Безъ четвертака три. Въ спальню подъ кровать подъ ихнюю поставилъ, — киваетъ головою Родька на комнату барышни.

— Продай, продай, — шепчет Бахмутовъ и вдругъ вздрагиваетъ и поворачиваетъ къ Родькѣ испуганное лицо.

— Поручика лошадь понесла, — говоритъ онъ.

— Чего-съ? — переспрашиваетъ Родька.

— Поручика лошадь понесла, — повторяетъ Бахмутовъ: — Вознесенскаго уланскаго, въ пятомъ эскадронѣ. Такъ по колѣно ногу и отхватило, — добавляетъ онъ.

Родька присвистываетъ губами.

— И-и, до чего чудесно сочинено, скажите, пожалуйста.

— Дуракъ, — огрызается Бахмутовъ: — это не сочинено, это я говорю.

Онъ досадливо машетъ руками на желающаго возражать Родьку.

— А ты мнѣ не мѣшай, не мѣшай, я сейчасъ кончу.

Онъ снова отдается мечтамъ, подпирая руками голову, но черезъ минуту снова повертывается къ Родькѣ и заявляеть:

— Въ Ахтырскомъ гусарскомъ кобелъ «Воевода» сбѣсилъ... Жену казначея укусилъ. Совсѣмъ молоденькая женка.

Онъ вздрагиваетъ; на дворѣ, сквозь шумъ вѣтра, раздается глухой стукъ и затѣмъ хриплый лай собаки.

— Не барышня ли Лидія Іліодоровна приѣхала? — спрашиваетъ Бахмутовъ Родьку.

— Нѣтъ, это, должно, въ старомъ домѣ щекатурка обвалилась, — отвѣчаетъ тотъ.

И оба они начинаютъ напряженно слушать. За окномъ слышится шлепанье лошадиныхъ копытъ. Бахмутовъ привстаетъ съ кресла. Родька устремляется въ дверь. Минуту со двора слышатся сквозь протяжный свистъ вѣтра, собачій лай, тихій говоръ и встряхиванье мокрой лошади.

Родька снова появляется въ кабинетѣ; въ его рукахъ смятый мужичьимъ карманомъ конвертъ.

— Отъ барышни письмо, — говоритъ онъ: — отъ барышни Лидіи Іліодоровны изъ Ворошилова.

Бахмутовъ принимаетъ изъ его рукъ конвертъ.

— Какъ изъ Ворошилова? да вѣдь она же въ Толмазовѣ у тетки?

— Изъ Ворошилова; Покатиловскій кучеръ привезъ и обратно отвѣхалъ. Отвѣта, грить, не надобно.

Родька почтительно становится у притолки. Бахмутовъ нетерпѣливо рветъ конвертъ.

«Дорогой батюшка! — читаетъ онъ письмо дочери: — прости меня, дорогой батюшка. Я ушла отъ тебя къ Покатилову; вотъ уже недѣля, какъ я живу у него. Онъ

начинаетъ дѣло о разводѣ и, когда выиграетъ дѣло, женится на мнѣ».

Въ глазахъ Бахмутова все мелькаетъ и кружится. Лицо его дѣлается сѣро-зеленымъ. Онъ хватается рукою за столъ и продолжаетъ чтеніе. «Прости меня, милый батюшка,—читаетъ онъ:—мнѣ опостылѣла вѣчная нищета и жизнь впроголодь. Я буду жить у Покатилова. Онъ меня любить. Завтра мы приѣдемъ къ тебѣ. Будь добрымъ и прости меня. Я молода и совсѣмъ не жила, а теперь я буду богата, очень богата. Батюшка, мнѣ опротивѣла вѣчная нищета, опротивѣла, опротивѣла...»

Бахмутовъ швыряетъ письмо на полъ, далеко отбрасываетъ его отъ себя ногою и хрипло шепчетъ:

— Сжечь это паскудство, сжечь сію же минуту!

Онъ стискиваетъ руками голову, тяжело опускается въ кресло и умолкаетъ. Родька, ничего не понимая, глядитъ на барина. За тонкою перегородкою въ кухнѣ слышится тоскующій шопотъ Устиньки:

— Ребенокъ мой у мужа, у изверга, остался; младенчикъ; третій годокъ ему теперь пошелъ. Подумаю, живъ ли ужъ онъ, а сердце такъ и тоскуетъ, такъ и тоскуетъ.

Пронда покашливаетъ, позъываетъ и говоритъ:

— Умеръ младенчикъ, тебѣ, раба Божія, печалиться нечего. Младенчику смерть спасеніе; на землѣ-то вокругъ все зло да грѣхъ, а въ раю радость и ликованіе. Чудится мнѣ, умеръ твой младенчикъ, раба Божія, умеръ и въ раю Господнемъ гуляетъ, золотую книгу евангельскую читаетъ, за отца, за мать Бога молить.

— Жалко мнѣ его, жалко!— возбужденно шепчетъ Устинька.

Бахмутовъ поднимается съ кресла и кричитъ въ лицо Родькѣ:

— Сбѣжала наша барышня! къ купчихѣ Сенькѣ По-
катилову на содержаніе пошла!

Онъ приближаетъ свое перекосившееся лицо къ испу-
ганному лицу Родьки и хрипнѣть, потрясая рукою:

— Вонъ ее изъ моего дому! Чтобъ духу ея не было,
чтобъ и не пахло ею въ моемъ домѣ! А куда прѣдетъ,
собаками ее затравить.

Онъ криво идетъ по кабинету и тяжело рухается въ
старое кресло. Въ его горлѣ что-то хрипнѣть и клокочетъ;
онъ трясетъ сѣдою головою, его лицо дѣлается багровымъ.
Родька испуганно бросается въ кухню и черезъ минуту
является въ кабинетъ съ ковшомъ воды.

— Людоръ Палычъ, Христосъ съ вами, родимый,—
шепчетъ онъ, поднося ковшъ къ сѣдымъ усамъ Бахму-
това, и дрожить всѣмъ тѣломъ.

Его маленькая и сѣденькая головка, похожая на
серебряный набалдашникъ, трясется.

Бахмутовъ короткими глотками пьетъ воду.

— Жили мы счастливо и благопріятно,—вздрагивая,
шепчетъ Родька:—теперь бы, просянную солому продавши,
все бы, какъ нельзя лучше, наладили, а тутъ эдакое не-
счастье.

— Собаками затравлю, собаками,—шепчетъ Бахму-
товъ, глотая воду.

Тяжелыя слезы ползутъ изъ его выпѣвшихъ глазъ
и падаютъ на сѣдые усы. Однако, вода дѣйствуетъ на него
благоотворно, онъ нѣсколько приходитъ въ себя и начи-
наетъ ходить изъ угла въ уголъ по кабинету, какъ бы
о чемъ-то соображая. Порою онъ задумчиво останавли-
вается, прислушивается къ свисту вѣтра и потираетъ
между глазъ рукою. Затѣмъ онъ подходитъ къ Родькѣ и
шопотомъ сообщаетъ ему свой планъ.

— Завтра чуть-свѣтъ, — говоритъ онъ: — скажи къ столяру. Закажешь крестъ, простой деревянный крестъ въ человѣческій ростъ.

— Слушаю-съ! — киваетъ головою Родька.

— Такъ и такъ, скажешь, — продолжаетъ Бахмутовъ, придерживая Родьку за крючокъ нанковой поддевки: — чтобъ къ обѣду быть готовъ непременно. А надпись я самъ сдѣлаю. Поставимъ его въ саду у старой бесѣдки. Слышалъ?

— Слушаю-съ, — почтительно шепчетъ Родька.

А Бахмутовъ снова начинаетъ ходить изъ угла въ уголъ по корявымъ половицамъ кабинета. Ходитъ онъ долго и сосредоточенно. Вѣтеръ воетъ въ трубъ и постукиваетъ печною заслонкою, точно выбивая тактъ. Родька стоитъ у притолки на вытяжку и вздыхаетъ. Ироида напештываетъ за перегородкою:

— Въ крови человѣческой бѣсенята купаются, другъ друга за хвостъ ловятъ... кувыркаются, кровь человѣческую баламутятъ, на грѣхъ человѣка толкаютъ.

— У тебя къ мужчинамъ сердце не лежитъ? — добавляетъ она сурово.

— Господи, — вздыхаетъ Устинька: — другой разъ во снѣ мужика увижу, задрожу отъ страха, ноженьки мои инда подкашиваются; боюсь я ихъ!

— Когда, случится, вздумается ночной порою, грезишь о чемъ, раба Божія? — строго допрашиваетъ Ироида Устиньку.

Та долго молчитъ; слышно, какъ она ровняетъ въ колѣни чулокъ; вязальные спицы тренькаютъ. Наконецъ, она вздыхаетъ и мечтательно шепчетъ:

— Съ мужемъ со своимъ пожила бы я тихо, смирно. Младенчика бы свою поянчила, рубашенки бы его по-

стирала. Въ праздникъ послѣ обѣдни мужа бы на зава-
линикѣ поискала.

— Грѣхъ это, грѣхъ, грѣхъ,—сурово перебиваетъ ее
Ироида.

Бахмутовъ ходитъ изъ угла въ уголь. Наконецъ, онъ
устаеетъ и ложится спать здѣсь же въ кабинетѣ на про-
давленномъ диванѣ. Родька приноситъ откуда-то коро-
венькій войлокъ и растилаетъ его у двери. Это его пос-
тель. Тихохонько онъ тушитъ лампу, во мракѣ осторожно
раздѣвается и скоро начинаетъ благопристойно посвисты-
вать носомъ. Въ кухнѣ тоже ложатся; весь Бахмутов-
скій домикъ погружается во мракъ. Но самому Бахмудо-
ву не спится. Онъ лежитъ съ широко открытыми глазами
и смотритъ въ потолокъ. Его волосатая грудь тяжело
дышетъ. Порою онъ шевелитъ губами и шепчетъ:

— Здѣсь покоится тѣло боярышни Лидіи Бахмутовой.

За окномъ шумитъ дождь и воеетъ вѣтеръ. Онъ прислуши-
вается къ этому вою и закрываетъ глаза. И тогда ему
вдругъ начинаетъ казаться, что онъ ѣдетъ верхомъ на
вороной лошади впереди эскадрона. Лошадь вся въ лан-
садахъ. — «Пики къ ата-а-къ!» — кричитъ онъ и смотреть
на синіе мундиры, мелькающіе за зеленымъ кустарни-
комъ. — «Пики къ ата-а-къ! Ма-а-рпъ!» — повторяетъ
онъ, потрясая саблею. У него захватываетъ духъ. Онъ
внезапно открываетъ глаза, садится на своей постели и,
шевели усами, шепчетъ:

— Здѣсь покоится тѣло боярышни Лидіи Бахмутовой.

Родька лежитъ у двери, свернувшись въ комочекъ на
своемъ коротенькомъ войлокѣ, и посвистываетъ носомъ.
Въ комнатѣ мракъ. Въ трубѣ жалобно воеетъ вѣтеръ, по-
хлопывая печною заслонкою. Въ кухнѣ за перегородкою
слышится шорохъ. Это Ироида безсонно ворочается на

своей лежанкѣ; она старчески покашливаетъ и шепчетъ:

— Аминь надъ нами, аминь подъ нами, аминь одесную, аминь ошую. Спереди аминь, сзади аминь.

Бахмутовъ ложится и закрываетъ глаза.

Вороная лошадь роетъ ногою землю и косится на сверкающую шпору. Поручикъ Собяго, котораго солдаты зовутъ «поручикъ Собака», ѣдетъ шагомъ, щекочетъ коня шенкелями и весело кричитъ: «Изюмцы, изюмцы-то черти, па-а-тѣха!» Онъ больно ударяетъ Бахмутова по плечу. «Что, дяденька, — кричитъ онъ: — алюминіевый заводъ-то фу-фу! Восемьдесятъ тысячъ профуфырили! Изъ глины серебро дѣлать захотѣли? Говорилъ я вамъ, не довѣряйтесь Блюму!» Онъ хохочетъ въ лицо Бахмутова молодымъ и наглымъ смѣхомъ.

Бахмутовъ мычитъ, трясетъ сѣдою головою и садится на постели. «Не нужно было алюминіевый заводъ строить!» — думаетъ онъ и шепчетъ:

— Здѣсь покоится тѣло Лидіи Бахмутовой.

Тихонько онъ встаетъ съ постели и будить Родьку, тормоша его за рукавъ мягкой рубахи.

— Родька, Родюнъ, Родька!

Тотъ открываетъ заспанные глаза.

— Пойдемъ въ старый домъ, — говоритъ Бахмутовъ: — не въ старомъ ли домѣ барышня?

Родька ничего не понимаетъ, но Бахмутовъ ему разъясняетъ:

— Можетъ быть, она письмо-то послала, а къ Покатилову идти раздумала. И теперь мнѣ на глаза боится показаться; вотъ въ старомъ домѣ и прячется.

— Принеси-ка, Родька, фонарь, — добавляетъ онъ.

Черезъ минуту они уходятъ въ старый домъ. Ихъ фо-

нарь тускло мерцаетъ въ мутной мглѣ. Какъ двѣ тѣни, они долго ходятъ по пустынному старому дому, пугая сонныхъ галокъ. Бахмутовъ вдыхаетъ и крихтитъ, Родька ежится отъ осенней сырости. Но въ старомъ домѣ никого и ничего нѣтъ, кромѣ сонныхъ галокъ, монотоннаго шума дождя да унылаго воя вѣтра. Передъ самымъ крыльцомъ флигеля вѣтеръ внезапнымъ порывомъ тушитъ фонарь. Бахмутовъ раздѣвается во мракъ, во мракъ ложится въ остывшую постель и уже до утра не открываетъ глазъ. Всю ночь воетъ въ трубѣ вѣтеръ; голосъ его звонокъ и могучъ. Но къ утру онъ устаетъ и начинаетъ старчески хныкать и присюсюкивать.

Бахмутовъ просыпается рано, но Родьки уже нѣтъ въ кабинетѣ; его коротенькій войлочекъ прибранъ. Съ измятымъ и утомленнымъ лицомъ Бахмутовъ торопливо одѣвается и идетъ умываться въ кухню. Устинька подаетъ ему ковшомъ изъ ведра; она только что истопила Ироидѣ на дорогу баню и ея худощавое лицо румяно. Умывшись, Бахмутовъ идетъ на дворъ и садится на ступенькѣ крыльца, поджидая Родьку. Въ воздухѣ тускло и скучно; свинцовая муть разлита по всему двору, въ мокрыхъ поляхъ и за узкою рѣчкою надъ вершинами плоскихъ холмовъ. На полусгнившей крышѣ флигеля чрикаютъ мокрые воробьи. Устинька провожаетъ за воротами до-красна распарившуюся Ироиду; за плечами богомолки котомка, а ея потертый шушунъ опоясанъ сыромятнымъ ремнемъ. Устинька подпираетъ кулакомъ щеку, смотритъ въ бокъ и тоскливо говоритъ:

— Напишу я мужу письмо; такъ и такъ, де-скалъ, супругъ мой любезный, примаи ты къ себѣ меня, супротивницу, и буду я свою младенчика холить, тебя вся-

чески ублажать, ни на что не поперечу, все стерплю—вынесу, по дому всякую работу справлю.

— Можетъ онъ и не будетъ бить меня, — задумчиво добавляетъ она.

— Не надо, не надо этого, — урезониваетъ ее Ироида: — грѣхъ это, кровь это твою бѣсенята баламутятъ.

Онѣ медленно двигаются впередъ и скоро исчезаютъ изъ глазъ Бахмутова въ свинцовой мути осенняго дня. Бахмутовъ сутуло сидитъ на крыльцѣ и ждетъ Родьку. Скоро тотъ, весь забрызганный грязью, въѣзжаетъ въ ворота дворика. Въ его тѣлѣ большой деревянный крестъ. Старики съ большими усилиями несутъ этотъ крестъ въ садъ и тамъ принимаютъ за работу. Изъ сада то и дѣло прилетаетъ во дворъ хриплый говоръ Бахмутова:

— Рой поглубже. Еще лопаточку выкинь. Вотъ такъ! Теперь опускай, ну-ну! Эхъ, да ты криво!

Черезъ полчаса оба старика выходятъ изъ сада. Бахмутовъ идетъ сутуло, опираясь на плечо Родьки, и тяжело переставляетъ ноги. Онъ какъ будто постарѣлъ сразу на десять лѣтъ. Родька моргаетъ глазами и сѣмечитъ кривыми ножками, подставляя барину свое плечо. Осторожно придерживая его за локоть, онъ помогаетъ ему сѣсть и попутно смахиваетъ со ступеньки соръ засаленную полою поддевки. Бахмутовъ тяжело опускается и тревожно оглядывается по сторонамъ. Онъ какъ будто ничего не видитъ и не слышитъ. Его голова безостановочно трясется. Родька съ безпокойствомъ глядитъ на его словно отекища щеки и пробуетъ чѣмъ нибудь развлечь барина.

— Продадимъ мы просяную солому, — сладко говоритъ онъ: — справлю я вамъ новый плисовый венгеръ и новый фланелевый брюкъ.

Родька всё принадлежности мужского костюма считаетъ въ мужескомъ родѣ.

— И новый фланелевый брюкъ...—повторяетъ онъ.

Но это не радуетъ барина. Тряся головою и придерживаясь обѣими руками за край ступени, онъ говоритъ картавымъ, заплетающимся языкомъ.

— А помнись, Родька, помнись,—картавить онъ: — старую уланскую походную пѣсенку?

Онъ трясетъ головою и постъ дребезжащимъ фальшивымъ голосомъ:

— Пора, товарищи,—картавить онъ:—вставать,
Время кониковъ сѣдлать,
Пора, пора, пора намъ одѣваться,
Пора съ жнленькой проститься,—
Въ походъ!

Внезапно онъ закрываетъ лицо обѣими руками и его плечи начинаетъ дергать; изъ-подъ пальцевъ вылетаютъ удушливые вопли. Родька повертывается изъ деликатности спиною къ барину, глядитъ въ тусклую даль и подноситъ скомканный платочекъ къ мутнымъ глазамъ.

— Господи, какъ было все хорошо!—вдыхаетъ онъ и сокрушенно крутитъ головою.

Въ сырость воздухъ проносится отдаленный звонъ бубенчиковъ.

Бахмутовъ поднимается со ступенекъ. Его ноги дрожать и плохо стоятъ на землѣ.

— Это они, это барышня,—возбужденно шепчетъ онъ Родькѣ заплетающимся языкомъ:—Дѣлай, какъ сказано! Лидочку пусти ко мнѣ, а Сеньку Покатилова въ ворота не пускать, Сеньку не пускать.

Родька съ ужасомъ слѣдитъ, какъ плохо повинуется

барину языкъ и послѣ каждаго слова барина онъ почти-тельно повторяетъ:

— Слушаю-съ... слушаю-съ!

Бахмутовъ съ мутными и тревожными глазами исче-заетъ въ сѣняхъ флигеля. Родька, возбужденный и блѣд-ный, становится въ воротахъ, припоминая слово въ слово наказъ барина.

Между тѣмъ, звонъ бубенчиковъ приближается. И вотъ вороная тройка лихо выноситъ изъ-за плоскаго холма щегольской фазтонъ. Въ фазтонѣ сидятъ молодая блѣ-курая женщина, щеголевато и изящно одѣтая во все но-венькое, и коренастый, среднихъ лѣтъ брюнетъ. Изъ-подъ черной шляпки молодой женщины беспокойно и грустно глядятъ большіе сѣрые глаза. Мужчина, разго-варивая о чемъ-то, вяло улыбается лѣнливою усмѣшкой избалованнаго деньгами человѣка. Это Семень Покати-ловъ и барышня Лидія Бахмутова.

— Онъ долженъ быть намъ благодаренъ, — лѣнливо го-воритъ Покатиловъ, покачиваясь на рессорахъ.

— Я выкупилъ его клочокъ изъ банка и скупилъ его векселя. Мнѣ стоило это 8 тысячъ. Если бы не я, его выселили бы отсюда кредиторы черезъ мѣсяцъ.

Лидія Ілюдоровна глядитъ впередъ грустными гла-зами.

У самыхъ воротъ Родька съ растопыренными руками останавливается тройку.

— Не велѣно пускать, — говоритъ онъ, лоя подъ узы пристяжныхъ.

Степенный и бородатый кучеръ осаживаетъ лошадей.

— Что за вздоръ? — лѣнливо ухмыляется Покатиловъ, выѣзая изъ экипажа: — это еще что за вздоръ?

— Его благородіе, — какъ урокъ отвѣчаетъ Родька: —

его благородіе стараго уланскаго Ольвіопольскаго полка отставной ротмистръ и кавалеръ Илі-о-доръ Бахмутовъ къ себѣ на дворъ Сеньку Покатилова пускать не приказывали!

Глазки Родьки глядять зло и надменно.

— Что? Что такое?—повторяетъ, блѣднѣя всѣмъ лицомъ, Покатиловъ и приближается къ Родькѣ.

— Ротмистръ и кавалеръ Илі-о-доръ Бахмутовъ Сеньку Покатилова,—говоритъ Родька и умолкаетъ, чуть не сшибленный съ ногъ кулакомъ Покатилова.

— Что-о?—сипитъ Покатиловъ, перекосивъ брови.

На лицѣ Родьки красное пятно.

Лидія Іліодоровна виснетъ на рукѣ Покатилова.

— Ради Бога, ради Бога!—испуганно шепчетъ она.

— Пускать на дворъ не прика-зы-ва-ли, — надменно повторяетъ Родька.

— Батюшка не желаетъ меня видѣть?—спрашиваетъ его Лидія Іліодоровна.

— Васъ просятъ къ себѣ, а ихъ-съ, — указываетъ Родька глазами на Покатилова:—ихъ-съ на дворъ пускать не прика-зы-ва-ли.

Покатиловъ съ лѣнивою усмѣшкою садится въ фэтонъ. Лидія Іліодоровна проходитъ мимо почтительно посторонившагося Родьки въ ворота дворика. Родька слѣдуетъ за нею и говоритъ:

— До чего вы довели насъ, барышня! Баринъ всюю ночь, глазъ не смыкавши, въ родѣ какъ бредили. Съ ними на манеръ маленькаго ударчика-съ было. Язычекъ плохо слушаются и головка трясется-съ.

Родька умолкаетъ. На крыльцѣ флигеля стоитъ Бахмутовъ. Его сѣдая голова не покрыта, глаза мутны, но сухи. На послѣдней ступенькѣ онъ спотыкается и па-

даетъ однимъ колѣномъ на землю. Родька бросается къ нему на помощь, но онъ оправляется самъ и глядитъ на дочь, тряся головою. Дочери хочется крикнуть: «Батюшка, какъ вы постарѣли!» Она шепчетъ:

— Батюшка, ради Бога... батюшка!

— Нѣтъ батюшки,—говоритъ Бахмутовъ, картавя заплетающимся языкомъ:—былъ батюшка, нѣтъ батюшки. Есть отставной ротмистръ Бахмутовъ.

— Идемте въ садъ,—добавляетъ онъ, отворяя повисшую на одной петлѣ калитку.

Дочь мимо него проходить въ садъ. Родька не смѣетъ слѣдовать за господами; онъ остается у калитки и смаргиваетъ съ жидкихъ рѣсницъ тонкія слезинки. Бахмутовъ идетъ аллею; его ноги точно вязнутъ въ песокъ.

— Лидіи Бахмутовой нѣтъ,—говоритъ онъ:—Лидія Бахмутова умерла, а не въ содержанки къ Сенькѣ Покатилову пошла.

— Если ты Бахмутова,—вскрикиваетъ онъ:—умереть должна была въ дѣвкахъ, а не въ содержанки идти!

Дочь идетъ за отцомъ блѣдная, какъ полотно, съ опущенными рѣсницами.

— Вотъ что осталось у меня отъ дочери,—говоритъ отецъ и показываетъ рукою передъ собою.

У старой бесѣдки стоитъ новый деревянный крестъ; на крестѣ кривая надпись: «Здѣсь поконится тѣло боярышни Лидіи Бахмутовой, скончавшейся на 25 году отъ рожденія 8-го октября сего 1890 года».

Лидія Иллѣдоровна закрываетъ лицо руками и истерически рыдаетъ.

— Батюшка, за что такъ жестоко?—повторяетъ она.

Бахмутовъ вздрагиваетъ. Передъ нимъ стоитъ Покатиловъ.

— Что за бессмыслица! — говорит тотъ, показывая на крестъ: — Мы къ вамъ, какъ добрые, а вы... какъ вамъ не стыдно! Я желалъ съ вами мира, я всю недѣлю хлопоталъ по вашимъ дѣламъ. Ѣздилъ въ городъ, выкупилъ вашъ несчастный клочокъ, скупилъ всѣ ваши векселя и вчера сжегъ ихъ въ печкѣ. Вы стоили мнѣ 8 тысячъ, а вы... какая неблагодарность! Вѣдь если бы не я, васъ выселили бы отсюда судебные пристава!

Бахмутовъ стоитъ съ багровымъ лицомъ.

— Та-акъ ты еще мнѣ за дочь за-а-платить хочешь! — наконецъ выкрикиваетъ онъ.

— Вонъ отсюда, мерз... мерз... — кричитъ онъ, тряся головою, — я васъ прокля... прокля...

Покатиловъ насильно уводитъ рыдающую Лидію Илюдоровну изъ сада.

— Прокля... прокля... — раздается за ихъ спиною картавый хрипъ.

Родька помогаетъ барышнѣ сѣсть въ фэтонъ и смаргиваетъ къ себѣ на красный носъ слезы. Покатиловъ, вяло улыбаясь, проситъ его убѣдить Бахмутова помириться съ дочерью. Но Бахмутова убѣдить трудно.

Онъ полудожить въ саду, привалившись плечами и затылкомъ къ деревянному кресту. Его бритый подбородокъ туго уперся въ грудь; сѣдые усы висятъ книзу. Изъ-подъ усовъ черною и кривою впадиною темнѣетъ полуоткрытый ротъ. Не моргая, онъ странно глядитъ на носки своихъ туфель. Двѣ вертявья синицы съ любопытствомъ разглядываютъ съ вѣтокъ клена истертые шнуры его плисовой венгерки.

Бахмутовъ неподвиженъ. На лицѣ его смерть.

А Г А Ш К А.

Земскій начальникъ Талыбинъ, молодой и нервный блондинъ, сидитъ у себя въ камерѣ за столомъ, накрытымъ краснымъ сукномъ. На его груди совершенно новенькій должностной знакъ. Въ камерѣ душно и сумрачно, пахнетъ овчиною и человѣческимъ потомъ. Передъ земскимъ начальникомъ, въ двухъ шагахъ отъ стола, стоятъ двое — одинъ еще молодой парень лѣтъ 22-хъ, рябой и угрюмаго вида, другой пожилей, съ подобострастно смѣющимися глазами. На молодомъ надѣтъ рваный полушубокъ, на пожилomъ — выцвѣтшая чуйка, какія носятъ мѣщане. Еще дальше, у стѣны, на скамьяхъ сидятъ нѣсколько мужиковъ въ полушубкахъ и съ вспотѣвшими лбами.

Земскій начальникъ долго перелистываетъ бумаги, затѣмъ поднимаетъ отъ бумагъ глаза и, обращаясь къ угрюмому парню, спрашиваетъ:

— Вы Агапъ Дудыринъ? такъ? а вы мѣщанинъ Пестравочкинъ? — переводитъ онъ взоръ на выцвѣтшую чуйку.

И тотъ и другой киваютъ головами.

— Такъ вотъ, Агапъ Дудыринъ, — продолжаетъ земскій начальникъ: — вы обвиняетесь въ томъ, что въ ночь съ 27-го на 28-е декабря, будучи на сельскихъ гумнахъ, вы поранили выстрѣломъ изъ ружья пеструю свинью, принадлежащую мѣщанину Пестравочкину. Признаете ли вы себя виновнымъ?

Угрюмый парень смотритъ нѣкоторое время на земскаго начальника, а потомъ переводитъ глаза куда-то въ бокъ.

— Я, ваше благородіе, — наконецъ говоритъ онъ, съ трудомъ вытягивая изъ себя слова, — я, ваше благородіе, допрежъ того говорилъ ей: брось, говорю, Агашка, это, не вводи меня въ грѣхъ; буде, говорю, побаловалась и буде. А она, на мѣсто того...

— Кто она? — перебиваетъ его земскій начальникъ.

— Кто она? жена моя Агашка, — говоритъ парень.

Земскій начальникъ нетерпѣливо передергиваетъ плечами.

— Да я васъ совсѣмъ не о женѣ вашей спрашиваю! — вскрикиваетъ онъ: — Вы ранили выстрѣломъ изъ ружья свинью Пестравочкина и поэтому должны отвѣчать по закону, во-первыхъ, за пораненіе животнаго, а во-вторыхъ, уплатить Пестравочкину издержки въ размѣръ пяти рублей. Такъ вотъ, что вы скажете въ свое оправданіе?

Парень молчитъ и тяжело отдувается; отъ напряженія на его лбу выступаетъ потъ, похожій на капли воска.

— Да я вотъ что скажу, — вытягиваетъ онъ изъ себя: — я допрежъ того ей говорилъ: брось, говорю, Агашка, баловство...

— Да вы опять о томъ же! — вскрикиваетъ земскій начальникъ: — Слушайте, вы дуракомъ не прикидывайтесь

и говорите по порядку. Въ ночь съ 27-го на 28-е декабря вы были на сельскихъ гумнахъ? Да?

— Были.

— Что же вы тамъ дѣлали?

— Ничего не дѣлали.

— Такъ зачѣмъ же у васъ въ рукахъ было ружье?

— А нѣшто палкой зайца убьешь?—спрашиваетъ въ свою очередь парень:—Я на гумнахъ зайца караулилъ,—добавляетъ онъ:—къ просынымъ одоньямъ заяцъ ходитъ.

— Ну, вотъ и отлично,—говоритъ земскій начальникъ, очевидно улавливая какую-то нить и радуясь этому:—И такъ, вы сидѣли на гумнахъ и ждали зайца. Что же было потомъ?

— Потомъ, смотрю, она на гумна катитъ.

— Кто она?

— Агашка, жена. Я къ ней; брось, говорю, Агаша, баловство, не вводи въ грѣхъ; а она ничего, только глазами хлопаетъ; я опять къ ней; брось, говорю, Агаша, сдѣлай милость. А она на мѣсто того — хрю-хрю и головой вотъ эдакъ! — парень крутитъ головою и продолжаетъ:—Крутитъ она головою и хрюкаетъ: не могу, дескать, я этого бросить. Тутъ у меня къ сердцу подкаатило, я въ нее изъ ружья и шарахнулъ. Въ жену, то-ись, свиньей она у меня обертывается.

Парень умолкаетъ.

Земскій начальникъ смотритъ на него широко открытыми глазами; смотритъ онъ долго и пристально, какъ бы что-то соображая и, наконецъ, съ разстановкою выговариваетъ:

— Такъ вы стрѣляли въ свинью Пестравочкина, такъ какъ были увѣрены, что это ваша жена Агафья, обернувшаяся свиньей? Такъ?

Очевидно, земскій начальникъ произноситъ эти слова съ трудомъ, пугаясь звука собственнаго голоса, и въ концѣ рѣчи даже вздрагиваетъ плечами.

— Такъ?—повторяетъ онъ, какъ бы со страхомъ.

— Конечно, вижу она, — флегматично отвѣчаетъ парень.

Смыслъ фразы его, напротивъ, нисколько не пугаетъ и видно, что онъ произноситъ ее съ тою же увѣренностью, съ какою Галилей говорилъ свое «вертится».

— Что же было потомъ?—продолжаетъ допросъ земскій начальникъ.

— Потомъ, я двухъ понятыхъ взялъ, — угрюмо отвѣчаетъ парень:— все, какъ по закону, и въ избу пошли. Приходимъ, Аганька на лавкѣ лежитъ; я къ ней: ски-давай, говорю, Агания, сарафанъ, мы тебя свидѣтельство-вать будемъ; потому, думаю, на поясницѣ отъ дрови знакъ долженъ быть у ней, у Агании, то-ись.

Парень умолкаетъ, такъ какъ со скамьи у стѣны под-нимается высокій мужикъ съ лицомъ солдата и говоритъ:

— Знака, вапа бродь, быть не могло, такъ какъ онъ не по закону дѣлалъ. Я ему говорю: Агаиъ, слушай! возьми ты отъ старой собаки клокъ, вымочи ты его въ шкипидаръ и этимъ самымъ клокомъ дробь припыжи.

— Я шкипидара нигдѣ не нашелъ, — вяло отвѣчаетъ парень:—на барскій дворъ ходилъ, нѣтъ, говорятъ.

— А вы кто такой? — спрашиваетъ земскій началь-никъ солдата.

— Мы — полицейскій сотскій. Я понятымъ у Агапа былъ, Агафью ходили свидѣтельствовать, то есть.

— И вы по этому дѣлу вызваны?

— Никакъ нѣтъ, мы на счетъ хомутовъ.

— Ну, такъ посидите и помолчите. Что же было по-

томъ?— добавляетъ земскій начальникъ, обращаясь къ парню, между тѣмъ какъ на его лицѣ постепенно растетъ выраженіе боли и ужаса.

— Я ей говорю: скидай, Аганя, сарафанъ — отвѣчаетъ парень:— а она бухъ въ ноги: не срами, гритъ, передъ людьми. Тутъ у меня въ глазахъ потемнѣло, удѣшилъ я ее за косы и по полу возить зачалъ. Учу, стало быть.

— Полицейскій сотскій! — вскрикиваетъ земскій начальникъ и въ его глазахъ загораются огоньки:— сотскій! и онъ смѣлъ въ нашемъ присутствіи истязать жену? Вы тутъ же были?

Солдатъ поспѣшно поднимается съ лавки. Лицо у него умиленное; очевидно, онъ очень доволенъ, что ему приходится фигурировать передъ публикою. Съ минуту онъ охорашивается и затѣмъ говоритъ:

— Никакъ нѣтъ, ваша бродь, въ эту минуту насъ въ избѣ не было, мы за черезсѣдельникомъ бѣгали.

— Черезсѣдельникомъ мы руки Аганѣ скрутили,— угрюмо поясняетъ парень.

— Чтобъ не чаряпалась, — добавляетъ сотскій съ умиленнымъ лицомъ:— мы тоже знаемъ, ежели эндакая женщина очаряпаетъ, человѣкъ взбѣситься долженъ.

— Мы тоже жалованье не даромъ беремъ,— добавляетъ онъ, самодовольно оглядывая мужиковъ.

Тѣ глядятъ на него одобрительно.

Между тѣмъ, земскому начальнику кажется, что въ камерѣ расплывается какое-то темное облако и застилаетъ собою все. Онъ съ негодованіемъ глядитъ на всю камеру и на его лицѣ снова трепещетъ выраженіе ужаса.

— Послушайте,— начинаетъ онъ:— неужто вы, всѣ

здѣсь присутствующіе, вѣрите, что человѣкъ можетъ превращаться въ звѣря?

Камера молчитъ и тяжело дышетъ.

— И вы, вы тоже вѣрите этому? — глядитъ начальникъ на Пестравочкина.

Тотъ слегка изгибается передъ начальствомъ и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я этому не вѣрю; человѣкъ въ звѣря перекидываться не можетъ.

Лицо земскаго начальника нѣсколько оживляется.

— Ну, вотъ видите: — восклицаетъ онъ! — есть же среди васъ такой, который не вѣритъ.

— Человѣкъ въ звѣря перекидываться не можетъ, — продолжаетъ между тѣмъ Пестравочкинъ: — но звѣрь въ человѣка можетъ. Былъ у насъ въ селѣ Пенжовъ баранъ...

У земскаго начальника опускаются руки, лицо его сразу какъ-то худѣетъ. Съ минуту онъ молчитъ и затѣмъ мрачно продолжаетъ допросъ:

— И вы давно бѣте такъ свою жену? — спрашиваетъ онъ нарня.

— Третій годъ учу, не выучу, — отвѣчаетъ тотъ: — люди говорятъ «брось», не могу, потому жалко. Извольте хоть сами ее спросить: зря я ее пальцемъ не трогаю, а за это учу, потому не балуй!

— А она гдѣ? — спрашиваетъ земскій начальникъ.

— Въ саяхъ лежитъ, вмѣстѣ со мной пріѣхала. Извольте ее спросить.

— Сотскій, позовите Агафью Дудырину, — говоритъ земскій начальникъ и умолкаетъ, зажмуривъ глаза. Ему страшно глядѣть на камеру.

Черезъ минуту въ камеруъ появляется Агафья. Лѣтъ ей не болѣе двадцати, лицо худое и блѣдное, съ подтеками

около ушей, а въ ея большихъ глазахъ ужасъ и тьма. Идетъ она какъ-то неестественно, какъ бы вся извиваясь, и точно помимо всякаго участія собственной воли. По этой походкѣ, по глазамъ, полнымъ ужаса, и по крѣпко сжатымъ губамъ видно, что она измучена вся, до послѣдней степени. Подойдя ближе, она внезапно падаетъ на колѣни и начинаетъ истерически всхлипывать.

— Судья праведный, милостивецъ! — бормочетъ она, тряся головою: — не вели казнить, ни въ чемъ я передъ нимъ не повинна... Тетка у меня была... Это правда... не утаю, та свиньей перекидывалась, всѣ видѣли, а я... напраслина это... зря болтають...

Она всхлипываетъ. Отъ судорожныхъ движеній платокъ съ ея головы сползаетъ, обнаруживая бѣлую шею, исполованную до крови черезъ сѣдельникомъ.

— Напраслина эта... зря болтають... не срами передъ людьми, судья праведный!... — иступленно вскрикиваетъ она и истерически рыдаетъ, припадая лицомъ къ зашлеванному полу. Кажется, она увѣрена, что ее привели сюда для освидѣтельствованья. Нѣсколько минутъ она рыдаетъ такъ, не поднимаясь съ пола, и ее всю коробитъ, какъ тонкую вѣтвь на огнѣ.

Это переполняетъ чашу терпѣнія земскаго начальника. Онъ вскакиваетъ съ блѣднымъ лицомъ и судорогами на губахъ и начинаетъ говорить. Говоритъ онъ долго, задыхаясь и порою вскрикивая, какъ женщина.

— Посмотрите, что вы сдѣлали съ этою женщиною! За что вы ее измучили? Какъ вы смѣли и кто далъ вамъ на это право? Вы всѣ въ этомъ виноваты, всѣ, всѣ, и всѣ вы за это отвѣтите! До сихъ поръ я былъ къ вамъ добръ, потому что я не зналъ васъ и думалъ, что вы люди. А теперь я вижу, кто вы! я вижу, что вы звѣри

безъ жалости, безъ сердца, безъ разума и смысла, и я вамъ себя покажу! Вы — людоеды, васъ можно сдерживать только намордникомъ, какъ цѣпныхъ собакъ, и я буду поступать съ вами именно такъ! Я буду съ вами жестоко и не рошчите, вы виноваты въ этомъ сами! Вы вѣрите, что люди могутъ превращаться въ звѣрей, и я тоже увѣровалъ въ это, глядя на васъ! Вы — звѣри, звѣри съ головы до ногъ!..

Въ продолженіе этой рѣчи Талыбинъ обводитъ присутствующихъ горячимъ взглядомъ и на минуту ему кажется, что всѣ эти рваные мужики дѣлаются похожими на Агафью и что въ ихъ глазахъ тотъ же ужасъ и тьма, но онъ уже не можетъ остановиться. Его точно несетъ волною. При послѣднихъ словахъ голосъ начальника обрывается и онъ добавляетъ чуть ли не шопотомъ, указывая на Агафью:

— Уведите, ради Бога, эту мученицу!

Сотскій, кокетливо придерживая пашку, уводитъ рыдающую Агафью вонъ.

Когда онъ возвращается въ камеру, земскій начальникъ, съ лицомъ бѣлымъ какъ мѣль, рѣзко царапая бумагу, пишетъ приговоръ. Въ камерѣ тихо. Сотскій подсаживается къ рваному мужичишкѣ и шепчетъ ему на ухо, кивая на начальника:

— Въ субботу лучше у него и не судись, потому — пьянъ. Пять день крѣпится, ни-ни, даже на нюхъ не надо, а въ шестой хлещетъ. Разболтаетъ бутылку и прямо изъ горлышка буль-буль-буль!

Мужикъ слушаетъ и, прикрывая ротъ рукою, отвѣчаетъ:

— То-то я слышу, несетъ онъ, несетъ, а чего, даже не разобрать. Молодчага, иначе, пьянъ, а не качается.

Между тѣмъ, земскій начальникъ, бросивъ перо, начинаетъ читать приговоръ. Читаетъ онъ рѣзко и громко, съ судорогою въ голосъ. Агапъ Дудыринъ осужденъ къ двумъ недѣлямъ ареста и пяти рублямъ штрафа.

Осужденный долго ежится и чешетъ затылокъ и, наконецъ, угрюмо удаляется изъ камеры. На порогъ сотскій шепчетъ ему вслѣдъ:

— Я тебѣ говорилъ, вымочи въ шкипидаръ...

Кажется, они оба крѣпко увѣрены, что Агапъ осужденъ за невыполненіе именно этого устава.

Между тѣмъ, земскій начальникъ, все еще съ дрожью въ голосъ, докладываетъ слѣдующее дѣло. Черезъ минуту до его слуха долетаетъ изступленный вопль женщины. Агашку увозятъ домой...

МОЛОДОЙ ДРУГЪ.

I.

Ситниковы пили утренний чай на балконѣ. Балконъ выходилъ въ садъ, сбѣгавшій подъ изволокъ къ небольшому продолговатому озеру. А за озеромъ зеленѣла узкая полоска заливныхъ луговъ, перерѣзанная мелководною рѣченкою. Наканунѣ упалъ дождикъ и въ саду было прохладно и весело; вѣяло свѣжестью. Розовые цвѣты шиповника распространяли пріятный запахъ, достигавшій балкона и заливавшій даже сосѣднія съ нимъ комнаты. Рядомъ съ балкономъ на березѣ цвѣла иволга, а дальше, поближе къ озеру, куковала въ ветлахъ кукушка. Она куковала медленно, съ разстановкою, какъ бы ведя про себя счетъ и, отсчитавъ пятокъ, дѣлала паузу.

Степанъ Ивановичъ Ситниковъ, сорокапятилѣтній мужчина, крупный, толстоносый и бѣлокурый, прихлебывалъ чай изъ своего стакана и говорилъ, поглядывая попеременно то на жену, то на студента Балдина. Передъ чаемъ онъ ѣлъ яйца въ смятку и его рыжеватые усы были испачканы яичнымъ желткомъ. Онъ говорилъ:

— И такъ, мой молодой другъ, въ природѣ собственно

нѣтъ смерти или полнаго уничтоженія существующаго, а есть только видоизмѣненія матеріи. Происходить нѣчто подобное горѣнію. Вы видѣли въ прошломъ году на лекціи химіи, что сгорѣвшая подъ колпакомъ свѣча, совершенно исчезнувъ для глаза, приобрѣтаетъ въ вѣсѣ. Нѣчто подобное происходитъ и съ нами послѣ смерти. Конечно, для насъ въ этомъ мало успокоительнаго, но все же мы можемъ утѣшать себя мыслью, что хотя человѣкъ и смертенъ, человѣчество все-таки безсмертно. А человѣкъ есть только неизмѣримо малая часть человѣчества. И подобно тому, какъ человѣкъ есть ничто иное какъ колонія простѣйшихъ клѣточекъ, такъ и люди, несовершенные и смертные каждый въ отдѣльности, составляютъ въ общемъ прекрасное и вѣчное цѣлое—человѣчество, ради котораго они, сознательно или безсознательно, трудятся, размножаются, совершенствуются и умираютъ.

Ситниковъ замолчалъ, поймалъ концы испачканныхъ личнымъ желткомъ усовъ и, задумчиво пососавъ ихъ, снова выпустилъ. Надежда Алексѣевна смотрѣла на его усы и думала: «Фи, какой онъ веряха, яицъ опратно поѣсть не можетъ»!

Она внезапно разсердилась на мужа и замѣтила въ слухъ:

— Степа, оботри усы.

Ситниковъ машинально взялъ со стола салфетку, но снова бросилъ ее и продолжалъ, внимательно разглядывая Балдина близорукими глазами.

— Да, молодой другъ, что касается лично меня, я не боюсь смерти. Я провожу жизнь въ трудѣ и научился почерпать въ немъ разумныя наслажденія. Я знаю, что каковы бы ни были мои приобрѣтенія, увеличу ли я доходность своего земельного участка, улучшивъ скотъ и

пашни, открою ли нѣсколько научныхъ истинъ—все это человечество приметъ съ благодарностью, разсортируетъ, когда придетъ этому время, и приобщить къ дѣлу.

Ситниковъ замолчалъ, оставилъ свой стаканъ и машинально сталъ сбрасывать со скатерти хлѣбныя крошки.

— Степа, оботри усы, — повторила Надежда Алексѣвна.

Она сидѣла у самовара, поставивъ локти на столъ, и, подперевъ ладонями голову, смотрѣла на Балдина. Это былъ красивый и тонкій юноша, лѣтъ двадцати, съ хорошими карими глазами и курчавыми волосами. Его верхняя губа, покрытая мягкимъ пушкомъ, тоже была испачкана яичнымъ желткомъ, но Надеждѣ Алексѣвнѣ это нисколько не казалось неопытнымъ. Балдину, какъ будто, это даже шло. По крайней мѣрѣ, такъ находила Надежда Алексѣвна. Она сравнивала его лицо съ лицомъ мужа и думала про Ситникова: «Большеротый и тонкогубый, какъ лягушка!»

— Степа, оботри усы, — замѣтила она съ раздраженіемъ. Ситниковъ вытеръ губы, медленно всталъ изъ-за стола и сказалъ Балдину:

— Сегодня, мой молодой другъ, вы свободны на цѣлый день, я не буду диктовать вамъ своей «Зоологін». Поработаю одинъ, такъ какъ приступаю къ наисущественнѣйшимъ главамъ.

Ситниковъ тяжелою походкою направился къ балконной двери, но на порогъ обернулся и спросилъ Балдина:

— А что вы теперь читаете?

— Клауса «Protozoa».

— И что же, нравится?

— Очень.

— Отлично, отлично!

Спитниковъ исчезъ въ дверяхъ.

— А мы съ вами давайте отправимтесь на островъ, — сказала Балдину Надежда Алексѣвна.

— Не знаю, мнѣ бы хотѣлось почитать.

— Что почитать?

— «Protozoa».

— Полноте, уснѣйте. Нѣ берите примѣра съ моего муженька. Почитайте лучше меня.

Надежда Алексѣвна улыбнулась; на ея щекахъ появились двѣ ямочки. Балдинъ сконфузился.

— Пожалуй, поѣдемте, — проговорилъ онъ, опуская глаза. Ъхать ему не хотѣлось, но онъ совѣстился отказать женѣ своего патрона.

— Даша, убирай со стола! — крикнула Надежда Алексѣвна и добавила, обращаясь къ Балдину:

— Я васъ буду любить, если вы сдѣлаетесь послушнымъ. Я люблю послушныхъ.

Она бросила на стулъ посудное полотенце и, снова улыбувшись, сказала Балдину:

— Подождите меня въ саду, я сейчасъ приду, только захвачу зонтъ и полотенце.

Она запелестила юбками и исчезла. Балдинъ спустился съ балкона въ садъ и задумчиво пошелъ дорожкой. Тутъ онъ услышалъ въ ветлахъ кукушку и проговорилъ мысленно: «Кукушка, кукушка, черезъ сколько лѣтъ я буду знаменитостью?» Онъ сталъ считать, насчиталъ пятнадцать, но, разсердившись, бросилъ и подумалъ: «Ну, ужъ это дудки!» Онъ сорвалъ липовый листокъ и сталъ его жевать. Внезапно онъ вспомнилъ въ то же время о Надеждѣ Алексѣвнѣ и подумалъ съ досадою: «Зачѣмъ это ей полотенце-то понадобилось?»

— Ну, ужъ это дудки!—обратился онъ къ кукушкѣ, все еще куковавшей:—Ну, ужъ это дудки! если постараться, такъ можно черезъ десять лѣтъ быть профессоромъ.

II.

Балдинъ оглянулся. Къ нему шла Надежда Алексѣевна; она была въ бѣломъ капотѣ, подъ краснымъ зонтомъ и въ красныхъ сафьяновыхъ туфелькахъ. Черезъ ея шею было перекинута мохнатое полотенце.

— Ну, вотъ и я! — сказала она, улыбаясь и сверкая ровными зубами:—Идемте къ лодкѣ и ѣдемъ на островъ.

Балдинъ, молча, послѣдовалъ за нею.

Они спустились подъ горку и луговиною направились къ рѣчкѣ.

— О чемъ вы думаете?—спросила студента Надежда Алексѣевна.

Балдинъ помолчалъ и отвѣтилъ:

— Я думаю — какими средствами природа сгущаетъ кислородъ въ озонъ.

Надежда Алексѣевна расхохоталась.

— И охота вамъ думать о такихъ глупостяхъ! Человѣкъ вы молодой, а стараетесь подражать Степану Ивановичу. Правѣ, это совсѣмъ не умно! Вы молоды, идете гулять съ хорошенькой женщиной, — вѣдь я очень хорошенькая, — и думаете Богъ знаетъ о какихъ глупостяхъ. Нѣтъ, васъ серьезно надо взять въ руки, иначе вы совсѣмъ испортитесь.

Балдинъ покраснѣлъ. Надежда Алексѣевна продолжала:

— Ну, чего вы краснѣете? Скажите лучше откровенно, неужто вы никогда не думаете обо мнѣ? такъ-таки никогда? а? никогда? Ну, будьте пайнкой, скажите, что же вы молчите, точно въ ротъ воды набрали?

Она затормошила студента за рукавъ. Балдинъ, потупившись, шелъ рядо́мъ съ нею и молчалъ.

— Фу, какой вы упрямый! — вздохнула Надежда Алексѣвна и тоже притихла.

Они уже подошли къ берегу рѣчки. Маленькая, выкрашенная въ зеленый цвѣтъ лодка покачивалась у берега, привязанная къ вѣткѣ ветлы. Рѣчка распадалась здѣсь на два рукава и образовала по срединѣ маленькій зеленый островокъ, лежавшій на свѣтлой поверхности рѣченки, какъ большой листъ лопуха. Надежда Алексѣвна, подобравъ капотъ, сошла въ лодку и, помѣстившись на кормѣ, скомандовала Балдину:

— Ну, Кислородъ Кислородычъ, садитесь въ весла. Балдинъ увидѣлъ ея черные чулки и покраснѣлъ. Черезъ минуту они уже были на островѣ. Опушенный густыми порослями лозняка, онъ только издали походилъ на зеленый лопухъ. На самомъ же дѣлѣ онъ представлялъ собою луговину, сплошь усыпанную желтыми и лиловыми цвѣтами, и въблизи походилъ на цвѣточную корзину. Посреди этой цвѣточной корзины возвышался густой и развѣсистый вязъ. Одна изъ его вѣтокъ, очень толстая, но совершенно сухая, выдвигалась далеко въ сторону, точно вязъ пытался уцѣпиться ею за противоположный берегъ, чтобы перетащить свое громоздкое тѣло туда. Можетъ быть, ему казалось здѣсь тѣсно, а можетъ быть ему надоѣдало монотонное гудѣніе пчелъ, съ утра до ночи толкавшихся надъ желтыми и лиловыми цвѣтами.

Надежда Алексѣвна привела своего спутника къ это-

му вязу и, опустившись подъ его тѣню, пригласила и студента.

— Садитесь и вы, Озонъ Озонычъ!

Балдинъ безпрекословно послѣдовалъ ея примѣру.

Между тѣмъ, Надежда Алексѣевна говорила:

— Боже, какъ здѣсь хорошо! А это монотонное гудѣніе пчелъ, вы не боитесь, что оно загишотизируетъ насъ обоихъ и погрузитъ въ любовныя грезы? Вѣдь эти пчелы точно изнемогаютъ отъ любви!

— Онѣ не могутъ изнемогать отъ любви, — возразилъ Балдинъ: — это рабочія пчелы, онѣ не знаютъ любви и поэтому ихъ соты такъ геніальны. Любовь не мѣшаетъ ихъ работѣ. Если бы люди никогда не любили, они сдѣлались бы...

— Деревяшками, я это знаю, — перебила студента Надежда Алексѣевна.

Балдинъ покраснѣлъ.

— Я вовсе не то хотѣлъ сказать, — проговорилъ онъ, но Надежда Алексѣевна снова перебила его:

— Ну, если не гудѣніе пчелъ, то цвѣточная пыль, которою мы дышимъ; вѣдь цвѣточная пыль — это, кажется, любовь цвѣтовъ?

— Если хотите, это, пожалуй, ихъ любовь, — отвѣчалъ Балдинъ: — но любовь исключительно мужская и, слѣдовательно, можетъ дѣйствовать только на женщину.

Надежда Алексѣевна улыбнулась.

— То есть, вы хотите сказать, что совершенно застрахованы отъ всякихъ опасностей? Не завидую вамъ въ такомъ случаѣ!

Она помолчала и снова съ усмѣшкой спросила студента:

— А скажите, пожалуйста, товарищи навѣрно зовутъ

вась медвѣженкомъ, хомякомъ или тюленемъ? Не правда ли?

Балдинъ улыбнулся. Все его лицо внезапно стало свѣтло и ясно, какъ у ребенка.

— Нѣтъ, — отвѣчалъ онъ: — товарищи зовутъ меня пентюхомъ. Пентюхомъ, перепентюхомъ, выпентюхомъ.

Надежда Алексѣевна расхохоталась и встала на ноги.

— Ну, такъ до свиданія, господинъ Перепентюхъ! Подождите меня здѣсь, а я пока схожу искупаться.

Она, все еще улыбаясь, направилась къ обтянутой холстомъ купальнѣ, бѣлѣвшей на лѣвомъ берегу острова. Балдинъ остался одинъ.

Онъ легъ на траву и думалъ о Надеждѣ Алексѣевнѣ. «Когда я остаюсь одинъ на одинъ съ этою женщиною, со мной творится что-то недоброе. Ея присутствіе точно заражаетъ меня чѣмъ-то. Я вижу только ее и думаю только о ней. Ея глаза, руки, ноги, губы точно распадаются на безконечное количество атомовъ, которые проникаютъ въ меня, заражаютъ и ошьяняютъ. И мнѣ хочется броситься на нее, ѣздить ее, причинить ей боль. Боже мой, какъ это мучительно!» Балдинъ закрылъ глаза.

Онъ лежалъ на травѣ и думалъ. Балдинъ — студентъ второго курса естественнаго факультета того университета, гдѣ Ситниковъ состоитъ профессоромъ зоологіи. Балдинъ служить у него вотъ уже два года въ качествѣ личнаго секретаря, Ситниковъ диктуетъ ему свою «Зоологію», обширный трудъ, который долженъ быть оконченъ, по предположеніямъ Ситникова, года черезъ четыре. Балдинъ — сирота безъ роду и племени, окончившій гимназію на счетъ благотворителей, и мѣсто у Ситникова, который платилъ ему тридцать рублей въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ, было для него сущимъ кладомъ. Впрочемъ, и самого

профессора онъ очень любилъ и смотрѣлъ на него съ благоговѣнiемъ. Въ настоящее время онъ проводилъ лѣто въ имѣнiи Ситникова.

Балдинъ приподнялся; онъ услышалъ знакомый шелестъ платья. Къ нему подходила Надежда Алексѣевна. Это была высокая и стройная брюнетка съ слегка вздернутымъ носомъ и яркими губами. Въ ея сѣрыхъ глазахъ сверкали порою зеленныя искорки.

— Вотъ и я, — сказала она и опустилась рядомъ со студентомъ.

Студенту казалось, что отъ всей ея фигуры отдѣлялся запахъ необыкновенно прiятный и свѣжiй, похожiй на запахъ пиповника. Она улыбалась.

— Дайте мнѣ папиросу, я слышу гудѣнiе комара.

Балдинъ протянулъ ей свой портсигаръ, но она взяла не папиросу, а руку студента. У студента потемнѣло въ глазахъ. Внезапно онъ схватилъ обѣ руки молодой женщины и почти со злобою потянулъ ее къ себѣ. Какимъ-то образомъ она очутилась въ его объятiяхъ. Но въ эту минуту студентъ услышалъ за своею спиною шорохъ въ поросляхъ лозняка. Онъ вздрогнулъ и вскочилъ на ноги. Ему показалось, что въ поросляхъ лозняка мелькнула чья-то фигура. Балдинъ круто повернулся и пошелъ къ лодкѣ. Надежда Алексѣевна нагнала его у самой рѣки.

Когда они переѣзжали рѣчку, студентъ все время молчалъ и думалъ:

«Я прикоснулся къ этой женщинѣ и теперь я всюду буду носить ее въ себѣ, какъ заразу. Что мнѣ дѣлать? что мнѣ дѣлать?»

А Надежда Алексѣевна правила рулемъ, покачивала станомъ и въ тактъ приговаривала:

— Пентюхъ, перепентюхъ, выпентюхъ!

III.

За обѣдомъ Степанъ Ивановичъ выпилъ двѣ большихъ рюмки водки и, поѣвъ шей изъ шината съ крутыми яйцами, слегка раскисъ. Онъ согѣлъ носомъ, постоянно поправлялъ выѣзжавшую изъ-за ворота его рубашки салфетку и говорилъ Балдину:

— Всѣ эти вулканическія страсти, мой молодой другъ, сатанинскія увлеченія и прочая романтическая дребедень обусловливаются ни болѣе, ни менѣе, какъ некультурностью человѣка, его неразвитіемъ и невоспитанностью. У культурныхъ людей разумъ регулируетъ страсти, холодныя выкладки ума мало по малу выпираютъ ихъ, да и слава Создателю! Ей Богу, всѣ эти «ахи» да «охи» только тормазятъ дѣло человѣческаго развитія. Въ самомъ дѣлѣ, что дали человѣчеству страсти? Изувѣровъ, четверговавшихъ людей изъ любви къ всепрощающему Божеству; головорѣзовъ, сжигавшихъ цѣнныя бібліотеки; дикихъ мавровъ, душившихъ ни въ чемъ неповинныхъ Дездемонъ, и ни въ чемъ неповинныхъ Дездемонъ, доводящихъ дикихъ мавровъ до самоубійства. И вездѣ страсти! И вездѣ страсти являются синонимомъ глупости.

Ситниковъ замолчалъ, налилъ себѣ стаканъ краснаго вина и сталъ пить его медленными глоточками. Надежда Алексѣевна сидѣла молча, какъ бы все еще слушаая мужа, и думала: «А у него вся салфетка щами закана!»

Между тѣмъ, Ситниковъ продолжалъ:

— Мнѣ скажутъ: страсть нужна поэту, художнику, музыканту. А я скажу: вздоръ, вздоръ и вздоръ! Геніальному поэту, художнику и музыканту нуженъ умъ и только умъ, умъ могучій, холодный, неподкупный, несомообольщающійся. Только могучій умъ творитъ геніальныя вещи

и творить медленно, по кусочкамъ, по капелькамъ, по атомамъ. А страсть хватаетъ, правда, цѣлыми пригоршнями, «съ пылу, съ жару — пятакъ за пару», но за то въ этой пригоршнѣ не золото, а битый черепокъ.

Ситниковъ помолчалъ, переставилъ съ мѣста на мѣсто свой стаканъ и снова продолжалъ, разглядывая Балдина близорукими глазами:

— Будетъ время, ну, хоть въ Европѣ-то, по крайцеи мѣрѣ, когда всѣмъ страстямъ спокують отходную. Люди перестанутъ влюбляться, бѣситься и ерундить, а будутъ разумно симпатизировать и разумно трудиться. Всѣ шероховатости и рѣзкости въ характерахъ людей сгладятся и высоко-культурные люди будутъ походить одинъ на другого, какъ теперь дикарь походить на дикаря. И тогда на землѣ воцарятся порядокъ и счастье. Это и будетъ золотымъ вѣкомъ человѣчества.

Ситниковъ замолчалъ, Надежда Алексѣевна тихо разсмѣялась.

— И скучища же будетъ въ этомъ золотомъ вѣкѣ, — сказала она: — въ особенности, если всѣ люди будутъ походить на тебя. Впрочемъ, меня не будетъ тогда въ живыхъ; какъ разъ передъ этимъ золотымъ вѣкомъ я повѣшусь на первой осинѣ!

Она снова разсмѣялась и добавила:

— Слушай, Степа, я говорю совершенно серьезно: если ты, когда работаешь у себя въ кабинетѣ, дѣйствительно хлопочешь о томъ, чтобъ всѣ люди походили на тебя, то, клянусь Создателемъ, я забираюсь ночью къ тебѣ въ кабинетъ и немедленно сжигаю всѣ твои холодныя выкладки ума. Прими это къ свѣдѣнiю!

И, улыбаясь, Надежда Алексѣевна встала изъ-за стола. Балдинъ и Ситниковъ послѣдовали ея примѣру. Степанъ

Иванычъ пошелъ къ себѣ въ кабинетъ соснуть, Надежда Алексѣевна исчезла неизвѣстно куда, а Балдинъ отправился въ садъ. Въ деревнѣ онъ обладалъ всегда волчьимъ аппетитомъ, за обѣдомъ нѣсколько переѣдалъ и послѣ чувствовалъ обыкновенно нѣкоторую сонливость. Онъ прошелъ въ маленькую съ ажурными стѣнками бесѣдку, легъ тамъ на кушетку и сталъ припоминать рѣчь Ситникова. Въ бесѣдкѣ было тихо, пріятный запахъ шиповника достигалъ Балдина и погружалъ его въ дрему. Сквозь ажурный потолокъ онъ смотрѣлъ на синее небо, затянутое легкими облачками, бѣлыми и воздушными какъ морская пѣна. И ему казалось, что онъ лежитъ на высокой горѣ и смотритъ въ море. У него закружилась голова, ему показалось, что онъ оторвался отъ земли и летитъ куда-то въ пропасть. На минуту онъ раскрылъ глаза и снова закрылъ ихъ. «На чемъ я остановился?—подумать онъ:—ахъ, да! отъ Надежды Алексѣевны пахнетъ шиповникомъ!» Онъ опять оторвался отъ земли, но на этотъ разъ уже не раскрывалъ глазъ. «Все это пустяки! — думалъ онъ:—главное не надо жениться на Надеждѣ Алексѣевнѣ, она protozoa... Степашкинъ называлъ нищихъ сумчатами, акробатовъ головоногими, а чинушей безпозвоночными...» Балдинъ улыбнулся. Ему показалось, что бѣлая тучка спустилась къ нему на грудь и стала щекотать своими щупальцами его глаза, уши и губы. Онъ внезапно раскрылъ глаза. Передъ его кушеткою на колѣняхъ стояла Надежда Алексѣевна. Она улыбалась, прикасалась сочнымъ цвѣткомъ шиповника къ глазамъ, ушамъ и губамъ студента и говорила:

— Сими пріобщаю къ моимъ вѣрноподаннымъ. Пусть эти глаза видятъ только меня, эти уши слышатъ только

мой голосъ, а эти губы... но онѣ и сами догадаются, что должны дѣлать.

Балдинъ схватилъ молодую женщину за талію и сильно потянулъ ее къ себѣ. Въ его глазахъ все пережѣшалось. Онъ видѣлъ только свѣжія, какъ лепестки шиповника, губы и затуманенные глаза.

Балдинъ вышелъ изъ бесѣдки, вертя въ рукахъ смятый цвѣтокъ шиповника. Онъ прошелъ на дворъ и долго бродилъ между постройками, еще весь полный какого-то очарованія. Ему все мерещились свѣжія, какъ лепестки шиповника, губы. Но мало по малу, по мѣрѣ того, какъ онъ бродилъ по двору, это очарованіе исчезало, а изъ глубины сердца студента поднималось непріятное и жуткое ощущеніе; онъ какъ будто чего-то пугался. Сначала онъ даже недоумѣвалъ передъ этимъ ощущеніемъ. Онъ направился къ дому. Но едва онъ занесъ ногу на крыльцо, какъ увидѣлъ идущаго къ нему на встрѣчу Ситникова. Балдина внезапно точно что ударило, онъ метнулся въ сторону и спрятался за дверь. Съ непріятнымъ ощущеніемъ страха и тревоги онъ простоялъ тамъ до тѣхъ поръ, пока Ситниковъ, спустившись съ крыльца, не скрылся за городьбою скотнаго двора. И тогда онъ поспѣшно направился въ садъ, вышелъ изъ калитки и, завернувъ затѣмъ налево, подошелъ къ берегу рѣчки. Здѣсь онъ все также встревоженно оглядѣлся по сторонамъ и опустился на берегъ подъ кручею, съ тѣмъ расчетомъ, чтобы его не было видно изъ усадьбы.

Онъ сидѣлъ на берегу рѣки и тоскливо думалъ: «Какая подлость, какая подлость! Какъ же я буду теперь смотреть въ глаза Степану Иванычу? Вѣдь я же не въ силахъ смотрѣть въ его глаза? Вѣдь это же фактъ!»

Балдинъ привсталъ и снова опустился на берегъ. Тоска

и тревога росли въ его сердцѣ съ непомѣнною быстротою. «Однако, нужно же что нибудь предпринять, — думалъ онъ: — нужно же на что нибудь рѣшиться!» Онъ обхватилъ руками голову, но внезапно вскочилъ на ноги, поблѣднѣвъ всѣмъ лицомъ. На дворѣ усадьбы чей-то голосъ крикнулъ: «А я сейчасъ пойду къ рѣчкѣ!» и Балдину показалось, что это крикнулъ Степанъ Ивановичъ. Очевидно, онъ хочетъ идти къ рѣчкѣ и сейчасъ Балдинъ встрѣтится съ нимъ лицомъ къ лицу. Балдину стало страшно. У него замерло сердце. Онъ круто повернулся и, согнувшись, бѣгомъ бросился по неровному берегу рѣчки. Его ноги натыкались на глиняные комья, онъ спотыкался и одною ногою ступалъ даже въ воду, но онъ ничего этого не замѣчалъ. Такимъ образомъ, онъ пробѣжалъ нѣсколько сажень и внезапно остановился, переводя духъ. «Да вѣдь это же голосъ кучера, а не Степана Ивановича, — съ тоскою подумалъ онъ: — чего же я бѣгу, какъ сумасшедшій?»

Онъ растерянно оглядѣлся и опять опустился на берегъ рѣчки.

«Нужно быть мужественнымъ, — говорилъ онъ самому себѣ: — не топиться же мнѣ въ самомъ дѣлѣ, не стрѣляться же? Нужно взять себя въ руки и найти какой нибудь выходъ. Сейчасъ у меня есть 15 рублей, до Москвы добраться хватитъ. Впрочемъ, въ Москву я не поѣду; тамъ я могу осенью встрѣтить Степана Ивановича. Поѣду въ Кіевъ. Университетъ придется по боку и зоологію по боку, все по боку. Поступлю куда нибудь чиновникомъ хоть на 15 рублей въ мѣсяцъ. Буду питаться воблою и все-таки жить. Не топиться же мнѣ въ самомъ дѣлѣ». Балдинъ потерялъ себѣ лобъ и продолжалъ свои размышленія: «Степанъ Ивановичъ былъ для меня отцомъ, а я подлецъ, но все-таки нужно какъ нибудь да жить. Главное, нужно отсюда исчезнуть».

Черезъ день я уѣду отсюда, а сейчасъ нужно идти въ домъ. Хорошо, если тамъ уже отпили чай, тогда я прямо пройду въ свою комнату. Будутъ звать, скажу, болятъ зубы».

Балдинъ тихо приподнялся и пошелъ къ усадьбѣ. Однако, онъ не прямо пошелъ въ домъ, а сперва завернулъ въ садъ. И въ саду онъ пошелъ не аллею, а за кустами сирени, стараясь быть невидимымъ; онъ шелъ медленно, понуро опустивъ голову и какъ бы размышляя о чемъ-то; одинъ его сапогъ былъ вымоченъ и весь измазанъ въ глину, но онъ не замѣчалъ этого. «Нужно быть мужественнымъ, — думалъ онъ въ то время, какъ его сердце тревожно колотилось: — нужно взять себя въ руки».

За кустами сирени онъ неожиданно наткнулся на садовника Еремѣича; тотъ возился между двухъ молодыхъ яблонь, изъ которыхъ одну онъ только что окучилъ. Его розовая ситцевая рубаха, висѣвшая на его худомъ тѣлѣ, какъ на шестѣ, еще была влажна отъ пота и темнѣла на плечахъ и спинѣ. Еремѣичъ стоялъ передъ молодою кудрявою яблонькою, обильно залитою лучами заходящаго солнца; по его изрытому морщинами лицу съ покраснѣвшимъ отъ водки носомъ бродило что-то ласковое и привѣтливое. Онъ какъ будто улыбался яблонькѣ и бормоталъ себѣ подъ носъ:

— Изъ этой дѣвки прокъ выйдетъ, эта дѣвка бабой доброй будетъ, яблоки хорошія рожать станетъ.

Онъ почесалъ тощую бороденку и добавилъ:

— Рости, Анютка.

Садовникъ повернулся къ другой яблонькѣ, тощей, но дигилястой, и прошепталъ:

— А это дрянъ дѣвка, вертопрахъ дѣвка, сбусырѣ

дѣвка. Эта рожать долго не будетъ. Эту я Глашкой звать буду, Глашка-замарашка.

Онъ увидѣлъ Балдина и улыбнулся во все лицо.

— А мнѣ васъ-то и надо,— сказалъ онъ:— я васъ давно ищу, да вотъ съ дѣвками закалякался.

Еремѣичъ придвинулся къ Балдину и добавилъ:

— Я у васъ денегъ хотѣлъ просить, не дадите ли вы мнѣ пятерку дня на три. Деньги мнѣ шибоко нужны, сердце у меня сосетъ, пьянствовать мнѣ эту недѣлю нужно.

Балдинъ растерялся. Садовникъ насмѣшливо смотрѣлъ на него и студенту казалось, что въ его выпѣвшихъ глазкахъ сверкаетъ что-то до нельзя лукавое.

— Я еще къ вамъ утромъ хотѣлъ подойти,— между тѣмъ, продолжалъ Еремѣичъ, сжимая глаза и смотря только на одни губы Балдина:— утромъ, когда вы съ барыней на островъ были, да не посмѣлъ, признаться.

Балдинъ поблѣднѣлъ; садовникъ внезапно перенесъ свой взоръ съ губъ студента на его глаза.

— Не посмѣлъ — повторилъ онъ: — и когда вы съ барыней въ бесѣдкѣ были, тоже не посмѣлъ.

Балдинъ не смѣлъ заглянуть въ лицо садовника и стоялъ блѣдный и растерянный. Онъ понялъ, что Еремѣичъ пьянъ и что онъ знаетъ все; онъ видѣлъ его съ Надеждою Алексѣевною и на островъ и въ бесѣдкѣ. Это ясно.

— Пятерочку бы мнѣ,— пробормоталъ Еремѣичъ.

Балдинъ порывисто досталъ кошелекъ; его руки слегка дрожали; онъ сунулъ пятирублевую кредитку въ корявую руку садовника. Затѣмъ онъ повернулся и быстро пошелъ къ дому со страхомъ въ сердцѣ, въ то время какъ Еремѣичъ бормоталъ за его спиною:

— Теперь мнѣ самый разъ запьянствовать. Анюточка и безъ меня роста хорошо будетъ, а Глашка все равно отъ рукъ отбивается. Глашка дрянь-дѣвка, сбусырь-дѣвка, егоза-дѣвка!

V.

Въ домѣ Балдинъ не встрѣтилъ никого и незамѣтно прошель къ себѣ въ угловую комнатку. Онъ занеръ на ключъ дверь и въ изнеможеніи упалъ на диванчикъ. «Еремѣичъ знаетъ все,—думалъ онъ:—онъ проболтается, онъ непременно проболтается. Господи, что это за ужасъ! Нужно скорѣе бѣжать отсюда, скорѣе, какъ можно скорѣе!» Между тѣмъ, въ комнатѣ уже стемнѣло. Наступилъ вечеръ. Слышно было, какъ настухи, неистово горняня и похлопывая арапниками, загоняли свои стада. Звеня ведрами, пробѣжали дворомъ коровницы. Рабочіе, мурлыкая пѣсенки, вернулись съ пашни. Кто-то крикнулъ: «Да затвори ворота-то, лѣшій!» А Балдинъ все также неподвижно сидѣлъ на своемъ диванчикѣ. Горничная два раза стучалась къ нему въ дверь, приглашая его сперва пить чай, а затѣмъ ужинать, но онъ не пошелъ, ссылаясь на зубную боль. Онъ слышалъ, какъ Степанъ Ивановичъ отдалъ старостѣ свои приказанія. Горничная, звеня въ столовой посудой, убрала со стола, затѣмъ дунула въ лампу, наткнулась на стулъ и наступила на хвостъ кошкѣ. Надежда Алексѣевна въ ночныхъ туфелькахъ прошла корридормъ въ спальню и пропѣла виолголоса, подражая сельскому дьячку:

— Пусть эти глаза видятъ только меня-я-я!

И затѣмъ все въ домѣ стихло, усадба заснула. Луна заглянула въ окно къ Балдину, посеребрила потолокъ,

блеснула на стволах висѣвшаго надъ диваномъ ружья, освѣтила этажерку съ книгами и блѣдное лицо студента. Онъ неподвижно сидѣлъ на диванѣ и думалъ: «Все, что я вижу въ этой комнатѣ, и это ружье, и эти книги, все это подарки Степана Ивановича, а я... Боже мой, какая низость, какая низость!..»

Внезапно Балдинъ вскочилъ съ дивана. Ему послышался въ саду какой-то шумъ, похожій на громкій говоръ; съ бьющимся сердцемъ онъ подошелъ къ окну.

«Боже мой, что это еще за ужасы!» думалъ онъ.

Онъ тихонько растворилъ окошко и заглянулъ въ садъ. Въ тихой аллеѣ, щедро залитой луннымъ сіяніемъ, онъ увидалъ темные силуэты двухъ людей. Одинъ изъ нихъ какъ бы удерживалъ за локоть другого, который сильно барахтался, крутилъ шею и шипѣлъ:

— Пусти, дурья голова, тебѣ сказываю, пусти! Сей минутъ до самого дойду! Подавай деньги и никакихъ! Всю деревню спою! Пусти, тебѣ говорятъ, щучій сынъ!

Въ барахтавшемся человѣкѣ Балдинъ узналъ Еремѣича, а въ удерживавшемъ его—ночного караульщика Демьяна. Онъ понялъ, что садовникъ пьянъ, какъ стелька, и по своему обыкновенію буянитъ. «Вѣдь онъ разбудитъ всѣхъ,— подумалъ Балдинъ о Еремѣичѣ:— разбудитъ и расскажетъ все!» Онъ выскочилъ въ окошко и подбѣжалъ къ барахтавшимся людямъ.

— Что вы тутъ дѣлаете?— испуганно проговорилъ онъ:— вѣдь вы всѣхъ разбудите! Чего вамъ еще надо?

— До самого дойду, сей же минутъ дойду,— хрипѣлъ Еремѣичъ, барахтаясь.

Демьянъ отпустилъ его локтя и повернулся къ Балдину.

— Да вотъ сами извольте разсудить,— сказалъ онъ,

указывая на Еремѣича:— опять винища наглохтился; на деревнѣ, сказываютъ, пять цѣлковыхъ пропиль, пол-деревни, сказываютъ, перепоиль. А теперь къ барину лѣзетъ, денегъ просить хочетъ, а баринъ спитъ. Такъ нешто это дѣло?

Демьянъ покачалъ головою и, обращаясь къ Еремѣичу, добавилъ:

— Эхъ, ты, ерунда, право ерунда!

— И пойду къ барину, и пойду,—наскакивалъ пьяный Еремѣичъ.

— А руки на кушакъ хочешь?

— Чего?

— Руки на кушакъ?

— А въ морду?

— Чего?

— Въ морду!

— А ты видѣлъ, какъ лягушки прыгаютъ?

— Чего?

— Какъ лягушки?— и Демьянъ поднесъ къ самому лицу Еремѣича обросшую волосами фигу.

Еремѣичъ задрожалъ отъ негодованія.

— Вотъ чего твой фигъ,—крикнулъ онъ, захлебываясь, и онъ плюнулъ на пальцы Демьяна.

— Такъ ты вотъ какъ?—вскрикнулъ Демьянъ и схватилъ садовника за бока.

Балдинъ бросился между ними.

— Ради Бога,—заговорилъ онъ взволнованно:— ради Бога! развѣ это можно? ну, развѣ это можно!

Демьянъ выпустилъ пыхтѣвшаго Еремѣича.

— Ерунда ты,—сказалъ онъ:— взять бы вотъ этихъ самыхъ лозановъ да тебя, да на чемъ сидишь!

И онъ протянулъ руку къ вѣткамъ кудрявой яблони.

мы ѣдемъ къ ней сейчасъ же и пробудемъ тамъ, вѣроятно, дня два. Такъ вы съѣздите завтра на хуторъ, тамъ одна телка сегодня пала, посмотрите, не сибирка ли. Я было самъ хотѣлъ, да вотъ теерь некогда. Посмотрите, нѣтъ ли сукровицы. По внѣшнимъ признакамъ не узнаете, взрѣжьте и смотрите печень. Послѣ руки хорошенько вымойте. Съумѣете?

— Съумѣю, — отвѣчалъ Балдинъ.

— Такъ, пожалуйста! Если сибирка, велите перегнать гуртъ на новое пастбище. Слышите?

— Слышу, — проговорилъ Балдинъ.

Ситниковъ ушелъ, но снова тотчасъ же вернулся къ двери.

— Да вотъ еще что, — сказалъ онъ: — случится въ домѣ пожаръ, спасайте прежде всего мой письменный столъ, тамъ моя «зоологія». Слышите?

— Слышу.

— Пусть все горитъ, но ее спасите. Слышите?

— Слышу.

— Такъ, пожалуйста.

Ситниковъ ушелъ и на этотъ разъ уже не возвращался. Черезъ нѣсколько минутъ Балдинъ услышалъ стукъ отъѣзжавшаго отъ крыльца экипажа. Онъ понялъ, что это уѣзжали Ситниковы. Онъ подошелъ къ дивану, улегся поудобнѣе и тотчасъ же заснулъ.

VI.

Балдинъ проснулся поздно, но довольно бодрый; онъ поспѣшно умылся и вышелъ въ столовую; тамъ онъ узналъ отъ горничной, что баринъ и барыня уѣхали ночью къ тетушкѣ Аннѣ Ивановнѣ, которая внезапно за-

немогла. Тетушка пишетъ въ запискѣ, что умираетъ, но, вѣроятно, это вздоръ. Этимъ лѣтомъ она умираетъ вотъ уже третій разъ, а прошлый годъ она умерала равнымъ счетомъ семь разъ. Какъ что нибудь лишнее скушаетъ, такъ и умираетъ. Горничная смѣялась, когда передавала студенту это. А Балдинъ пилъ чай и думалъ:

«Все это очень хорошо; пока они гостятъ у тетушки, я уѣду потихоньку въ Кіевъ».

И отъ этихъ думъ лицо студента принимало усталое выраженіе. Онъ напился чаю съ булками, выпилъ стаканъ холоднаго молока и вернулся къ себѣ въ комнату. Здѣсь онъ занялся укладкою своихъ немногочисленныхъ пожитковъ въ обѣзганный чемоданчикъ. Когда онъ укладывалъ свои вещи, въ его голову внезапно пришла новая идея.

«Если я хочу, — подумалъ онъ: — насколько это возможно, загладить свою вину, я долженъ сознаться въ ней и сообщить обо всемъ Степану Ивановичу. Нужно написать ему письмо и положить его на письменный столъ. А тамъ придется исчезнуть».

Балдинъ присѣлъ къ столу, написалъ Ситникову письмо и запечаталъ его въ конвертъ. «Пусть я сдѣлалъ подлость, — писалъ онъ, между прочимъ: — но разъ я сознаюсь въ ней, значитъ, я еще не совсѣмъ погибшій человѣкъ». Съ этимъ конвертомъ онъ явился въ кабинетъ Ситникова. Сперва онъ положилъ свое письмо на письменный столъ и накрылъ его прессъ-папье, но это показалось ему недостаточно предусмотрительнымъ. Прежде Ситникова въ кабинетъ можетъ войти Надежда Алексѣевна и тогда его письмо никогда не попадетъ въ руки Степана Ивановича. Студентъ задумался. И тогда онъ увидѣлъ, что письменный столъ нѣсколько разохся, такъ что его крышка

надъ лѣвымъ верхнимъ ящикомъ слегка приподнялась, образовавъ щель. Балдинъ сообразилъ, что его письмо, если постараться, пролѣзетъ сквозь эту щель и упадетъ какъ разъ на листы Ситниковской «зоологiи», которая хранится здѣсь. Въ этомъ случаѣ его письма не увидитъ никто, кромѣ Ситникова. Студентъ повернулъ конвертъ ребромъ и сталъ осторожно протискивать его въ щель. Послѣ нѣсколькихъ усилiй ему вполнѣ удалось это. Письмо упало въ запертый ящикъ стола. Послѣ этого Балдинъ окончательно успокоился о судьбѣ письма и вышелъ изъ кабинета. Затѣмъ онъ рѣшилъ передъ отъѣздомъ исполнить порученiе Ситникова относительно скоростижно павшей телки и пѣшкомъ отправился на хуторъ. Чувствовалъ онъ себя довольно добропорядочно, такъ какъ думалъ, что все исполнено имъ вполнѣ предусмотрительно. Вечеромъ этого дня онъ непременно покинетъ усадьбу и уѣдетъ въ Кiевъ. Однако, на хуторъ его нѣсколько задержали и онъ возвратился въ усадьбу только въ пятомъ часу. Онъ наскоро пообѣдалъ и даже во время обѣда пошутилъ съ горничною, а затѣмъ пѣшкомъ же отправился на деревню. Тамъ онъ найметъ мужика, который согласится подвезти его до ближайшей желѣзнодорожной станціи. Черезъ двое сутокъ онъ будетъ уже въ Кiевѣ, а Ситниковы не могутъ возвратиться отъ тетки ранѣе 10 часовъ вечера.

Балдинъ вышелъ было изъ воротъ усадьбы и вдругъ остановился и схватился руками за голову. Онъ поблѣднѣлъ; его щеки точно посыпали мѣломъ.

«Боже мой, Боже мой,—подумалъ онъ съ мучительною тоскою, — да съ какими же деньгами я поѣду въ Кiевъ, если я ихъ всѣ до послѣдней копейки отдамъ ночью Ере-

мѣичу! Какъ я могъ забыть объ этомъ, какъ я только могъ забыть!»

Онъ поспѣшно досталъ кошелекъ и провѣрилъ его содержимое. Въ его кошелекъ дѣйствительно было только 35 копеекъ. Балдинъ, шатаясь, подошелъ къ рѣчкѣ, безсильно опустился на берегъ и зарыдалъ. «Какъ я могъ забыть это, какъ я могъ забыть!—думалъ, онъ, рыдая:—вѣдь тамъ письмо въ запертомъ ящикѣ, мое письмо, а мнѣ не съ чѣмъ ѣхать. Вѣдь я же не могу смотрѣть въ глаза Степана Иваныча. Вѣдь мнѣ одно остается—застрѣлиться!» Онъ плакалъ долго и горько и, наконецъ, какъ будто успокоился или, вѣрнѣе, усталъ. Онъ медленно приподнялся и тихо пошелъ къ усадьбѣ. Ему казалось, что всѣ пути къ его спасенію отрѣзаны, что онъ весь съ головою запутался въ сѣтяхъ, что въ этомъ перстѣ судьбы. «Напакостилъ самъ себѣ, какъ лютой врагъ,—думалъ онъ съ тоскою:—и воображалъ, что все устроилъ, какъ нельзя лучше! Вѣдь мнѣ остался одинъ исходъ—застрѣлиться!» Балдинъ вошелъ къ себѣ въ комнату и сѣлъ у стола, подперевъ руками голову. Онъ зналъ, что его ружье заряжено, однако онъ не снималъ его со стѣны и сидѣлъ неподвижно съ широко раскрытыми усталыми глазами. Часы шли за часами, а онъ не перемѣнялъ даже позы. Онъ какъ будто окаменѣлъ. Ему казалось, что судьба заперла его въ какую-то ловушку, въ какую-то яму, гдѣ онъ долженъ погибнуть. Вѣроятно, это для кого-то нужно.

Только когда совершенно стемнѣло, въ немъ внезапно вспыхнула энергія. Онъ поспѣшно бросился въ кабинетъ Ситникова, намѣреваясь попытаться всѣми способами извлечь изъ ящика свое письмо, А тамъ жить во что бы то ни стало. Хоть лгать, да жить, хоть подличать, да

жить. Онъ провозился у стола нѣсколько часовъ, пробуя подѣлать письмо сквозь щель вязальной спицей и рыбнымъ крючкомъ и осмотрѣлъ столъ со всѣхъ сторонъ. Его сердце громко стучало. Онъ работалъ упрямо и настойчиво, съ энергіею и злобою до тѣхъ поръ, пока не услышалъ знакомый стукъ экипажа Ситниковыхъ. Онъ услышалъ голосъ Степана Ивановича. Его волненіе возросло до послѣдней степени. Горничная побѣжала на встрѣчу пріѣхавшимъ. Балдинъ услышалъ ея шаги и хотѣлъ крикнуть: «Настя, дай мнѣ топоръ, дай мнѣ топоры!» Если бы у него былъ топоръ, онъ расколотъ бы проклятымъ столъ въ щепки.

Однако, онъ ничего не крикнулъ. Съ горящими глазами онъ стоялъ у стола. У него подкашивались ноги, а въ головѣ все вертѣлось. Голосъ Ситникова снова прозвучалъ въ сѣняхъ. Кажется, онъ говорить что-то старостѣ; сейчасъ онъ придетъ сюда и тогда Балдинъ пропасть. Балдинъ повелъ вокругъ себя затуманенными глазами, ища спасенія. И тогда онъ увидѣлъ на стѣнѣ тяжелый чугунный безменъ. Острая и мучительная боль обожгла Балдина. Онъ подскочилъ къ стѣнѣ, сорвалъ съ гвоздя безменъ и снова вернулся съ нимъ къ столу. Здѣсь, ничего не слыша отъ волненія, онъ высоко поднялъ безменъ надъ своею головою и ударилъ имъ, какъ булавою, по крышкѣ стола. Доска хряснула, какъ проломленный черепъ, и широкая щель разорвала малиновое сукно стола. Студентъ швырнулъ безменъ на полъ, уцѣпился обѣими руками за край стола и, напрягши всю свою силу, отломилъ широкій кусокъ раздробленной доски. Лѣвый ящикъ стола былъ вскрытъ. Студентъ увидѣлъ свое письмо, схватилъ его, спряталъ въ карманъ и повернулся лицомъ къ

двери. Ситниковъ стоялъ уже въ дверяхъ и изумленными глазами смотрѣлъ на него.

— Голубчикъ, что вы тутъ дѣлаете?—говорилъ онъ:—зачѣмъ вы исковеркали мой столъ?

Балдинъ молчалъ и стоялъ съ бѣлыми, какъ снѣгъ, щеками.

— Голубчикъ, да вы больны!—вскрикнулъ Ситниковъ и поддержалъ за талию падавшаго безъ чувствъ Балдина.

Студентъ былъ уложенъ въ постель; Степанъ Ивановичъ и Надежда Алексѣевна просидѣли у него до полночи. Ситниковъ поминутно слушалъ пульсъ студента и говорилъ:

— Берегите, мой другъ, здоровье. Жизнь человѣческая стоитъ очень дорого; она нужна всему человѣчеству.

Балдинъ лежалъ блѣдный и слабый; онъ чувствовалъ себя больнымъ и ему какъ будто было пріятно сознавать это. А когда Ситниковы, осторожно ступая, ушли изъ его комнаты, онъ досталъ свое письмо, разорвалъ его на мелкіе кусочки и положилъ ихъ въ печку. Эти кусочки онъ поджегъ спичкою, пепелъ растеръ кочергою въ порошокъ, а затѣмъ старательно загребъ его подъ золу.

УРОДЪ.

Пятилѣтняя Анка сидѣла на заваленкѣ своей полуразрушенной хаты и широко открытыми глазами глядѣла на галдѣвшихъ передъ нею мужиковъ. Грязная улица селца Панкратова погружалась во мракъ; коричневая крыша маленькой сельской церкви казалась черною и торчавшая у самой околицы ветла дѣлалась похожею на стогъ сѣна. А въ темномъ апрѣльскомъ небѣ ходили тучи, постепенно одна за другою загорались звѣзды и красными пятнами догорала въ сырѣмъ туманѣ вечерняя заря.

Анка сидѣла на заваленкѣ и ёжилась отъ сырости. Порою ея глаза широко раскрывались, она точно припоминала о чѣмъ-то непонятномъ и углы ея губъ начинало подергивать; она готова была расплакаться, но когда къ ея колѣнямъ подходила черная собака Арапка, дѣвочка повертывала къ ней свое личико и начинала беззаботно играть съ ея кудлатымъ хвостомъ. Между тѣмъ, крестьяне продолжали беспорядочно галдѣть передъ нею, рѣшая участь дѣвочки. Какъ нибудь ее нужно пристроить, такъ какъ она осталась сиротою. Три дня тому назадъ ея мать, безродная вдова Марья Перфилиха, умерла и сегодня утромъ ея высохшее и застывшее тѣло предано землѣ.

Родственниковъ у Марьи Перфилихи не было ни души и Анка осталась совершенно одинокою, если не считать кудлатую собаку Аранку. Дѣвочку куда нибудь нужно было опредѣлить, но никто изъ крестьянъ взять ее къ себѣ не желалъ; каждому лишній ротъ въ семьѣ былъ бы въ тягость. Мальчика каждый взялъ бы съ охотою, мальчикъ иное дѣло, а дѣвочка—дѣвка одна обуза. Полуразвалившуюся хату Марьи Перфилихи бралъ за долгъ Евграфъ Глухой и, такимъ образомъ, Анка оставалась даже безъ пристанища. Евграфъ Глухой, въ то время какъ мужики рѣшали участь Анки, уже оглядѣлъ хату со всѣхъ сторонъ, внимательно выстукалъ и выслушалъ нижніе вѣнцы сруба и мысленно рѣшилъ черезъ недѣлю разобрать хату до основанія и изъ полустгнившихъ бревенъ выкроить небольшой амбаръ. Хата, казалось, знала, что дни ея сочтены и панкратовское общество единогласно подписало ей смертный приговоръ; и она глядѣла на Евграфа Глухого своими подслѣповатыми окнами съ тѣмъ усталымъ равнодушіемъ, съ какимъ глядитъ изъѣзженная кляча въ лицо живодера, засучивающаго рукава своей рубахи.

Между тѣмъ, къ галдѣвшимъ мужикамъ, рѣшавшимъ участь сиротки, подползъ на четверенькахъ уродъ Егорка; онъ пробрался, расталкивая руками ихъ колѣни, доползъ до собаки и, обхвативъ ея шею, сталъ куваркаться съ нею по землѣ. Анка даже разсмѣялась, а Евграфъ Глухой крикнулъ уроду:

— Ахъ ты, кренделемъ ноги, чтобъ тебя!

Уродъ тоже разсмѣялся въ свою очередь.

Уродъ Егорка не-панкратовскій уроженецъ. Пришелъ онъ въ Панкратово три года тому назадъ Богъ вѣсть откуда и съ тѣхъ поръ живетъ у стараго дѣда Лазаря

уплачивая ему за квартиру 30 коп. въ мѣсяцъ. Ростомъ онъ съ аршинъ и принужденъ ходить на четверенькахъ, такъ какъ его ноги страннымъ образомъ переплетены до колѣнъ и загнуты назадъ. Стоялъ онъ всегда на колѣняхъ, а при ходьбѣ опускался на четвереньки, опираясь на кулаки, отчего они у него загрубѣли и потрескались, какъ волчьи пальцы. Занимался онъ плетеніемъ корзинъ, лаптей и вершъ, а каждое лѣто, кромѣ того, нанимался караулить бахчу у помѣщика Синицына. Съ такою работою онъ справлялся легко. Его длинныя руки были сильны и бѣгаль онъ, хотя и на четверенькахъ, но весьма быстро. Въ настоящую минуту его возня съ собакою разсмѣшила мужиковъ и они прекратили свой споръ. Евграфъ даже предложилъ сходу пока ничего не рѣшать относительно Анки... На этихъ дняхъ онъ рассчитывалъ побывать въ сосѣднемъ селѣ Дылдовѣ; въ Дылдовѣ мужикъ позажиточнѣй и, можетъ быть, тамъ кто нибудь возьметъ Анку въ приемыши. А пока ее можно оставить жить въ ея же хатѣ, приставивъ къ ней для надзора глухую бабушку Солмонида, а кормить ее эти дни можно подворно, какъ мірскаго пастуха. Это предложеніе было принято единогласно и мужики стали расходиться. Скоро ихъ говоръ смолкъ въ темной и сырой улицѣ сельца Панкратова. У покосившейся хаты покойной Марьи Перфилихи остались Анка, глухая бабушка Солмонида, Арапка и уродъ Егорка. Анка съ грустнымъ личикомъ сидѣла и ежилась на заваленкѣ. Бабушка Солмонида подошла къ ней, взяла ее на руки и понесла въ избу, а Егорка и Арапка послѣдовали за нею. Арапка остался въ сѣняхъ, а Егорка пробрался въ избу. Онъ все глядѣлъ на личико Анки и точно о чемъ-то думалъ. Его безбородое и изрытое морщинами лицо было сосредоточенно. Бабушка Солмонида, впрочемъ,

не обратила на него ровно никакого вниманія. Она улеглась вмѣстѣ съ Анкою на печкѣ; Анка сперва о чемъ-то плакала и всхлипывала, а бабушка Солмонида ее вполголоса утѣшала. Но наконецъ, онѣ обѣ заснули и засвистѣли носами. Въ избѣ стало тихо; только съ далекихъ поймъ долетало порою въ избу одинокое побрякиванье утки. И тогда Егорка почмокалъ губами, покачалъ головою и сталъ укладываться на ночлегъ—тутъ же, въ углу хаты. Его сердце точно чѣмъ-то сверлили. Онъ снялъ свой заплатанный кафтанъ, подложилъ его въ изголовье и началъ тихонько разувать съ своихъ колѣнъ лапти.

Лапти онъ носилъ на колѣняхъ.

Утромъ слѣдующаго дня Егорка пришелъ къ помѣщику Синицыну и спросилъ его, найметъ ли онъ его и на это лѣто караулить бахчу. Синицынъ разсмѣялся и сказалъ, что онъ радъ нанимать Егорку хотя каждое лѣто, такъ какъ онъ—караульщикъ честный и исправный. И тогда Егорка просилъ позволенія построить ему на участкѣ, гдѣ сбѣтся бахча, землянку, въ которой онъ могъ бы жить и зиму, и осень, и лѣто, вообще, круглый годъ. Синицынъ и на это изъявилъ свое полное согласіе. Четырехъ сажень земли ему не жаль. Лѣтомъ все равно нужно гдѣ нибудь строить шалашъ, а зимою и осенью на этой землѣ ничего не сбьютъ.

Егорка вышелъ отъ Синицына радостный и веселый и цѣлую недѣлю не показывался въ Панкратовѣ. Цѣлую недѣлю онъ былъ весь въ хлопотахъ. Два мужика изъ села Дылдова, подъ надзоромъ и при сильномъ участіи самого Егорки, копали землянку на Синицынской бахчѣ у рѣчки Талой. Черезъ шесть дней землянка была готова вполнѣ. Она была вся выкопана въ землѣ и занимала немногимъ менѣе двухъ квадратныхъ саженей земли. Ея

земляныя стѣны были выложены съ внутренней стороны тонкими бревнышками и вымазаны глиною. Глиною же былъ вымазанъ и весь полъ землянки. Въ крышѣ было сдѣлано маленькое оконце, посреди землянки — печь, а вдоль ея стѣнъ деревянныя лавки. А въ красномъ углу помѣщался образъ Георгія Побѣдоносца. Вообще, землянка вышла хоть куда, не смотря на то, что помѣщалась она вся въ землѣ, и надъ землею возвышалась только вымазанная глиною крыша да дымовая труба или, вѣрнѣе, горлышко молочнаго горшка.

Егорка разсчитался съ мужиками и поскребѣ въ затылкѣ; землянка стоила ему 17 рублей, копейка въ копеечку, и теперь изъ двадцати пяти рублей, скопленныхъ имъ въ теченіи двадцати лѣтъ упорнаго труда, у него оставалось лишь восемь. Однако, Егорка истраченныхъ денегъ не пожалѣлъ, а скорѣе попенялъ, что осталось ихъ немного, и тотчасъ же на четверенькахъ побѣжалъ въ село Панкратово.

Крестьяне селца Панкратова были сильно удивлены, когда Егорка заявилъ имъ, что желаетъ взять Анку къ себѣ въ пріемыши и что у него есть теперь своя хата. Но они совѣщались не долго, такъ какъ и въ Дылдовѣ охотниковъ взять Анку не находилось. Анка была вручена уроду Егоркѣ всѣмъ сходомъ, какъ пріемная дочь.

Только кто-то изъ крестьянъ съострилъ:

— Да ты не женишься ли на ней хочешь, кренделевы ноги?

А Евграфъ Глухой добавилъ:

— То-то, поди, трепака будетъ откалывать на своей свадьбѣ.

Крестьяне расхохотались и этимъ дѣло покончилось. Егорка и Анка отправились къ рѣкѣ Талой въ свою ха-

ту—Анка, слегка какъ будто оробѣвшая, а Егорка сосредоточенный и серьезный. Теперь и у него, какъ у всѣхъ настоящихъ людей, есть дочь. Скоро они исчезли въ сумракѣ сырого вечера.

Когда они подошли къ рѣчкѣ Талой, ихъ нагналъ Арапка; Егорка даже расхохотался отъ радости и проговорилъ:

— Ахъ, ты, елѣха-воха, чтобъ тебя! Ну иди, пострѣль, и тебя кормить буду!

Арапка весело завилялъ хвостомъ и лизнулъ урода прямо въ носъ, а уродъ посадилъ Анку къ себѣ на спину. Черезъ рѣчку нужно было идти по узкому, въ двѣ тесины переходу, и Егорка боялся, чтобы дѣвочка не упала въ воду. Придерживая Анку одною рукою на своей спинѣ, уродъ тихонько полѣзъ черезъ переходъ. Черезъ минуту онъ, Анка и собака были уже возлѣ своей хаты. Отворяя дверь хаты, уродъ весело крикнулъ:

— Всѣхъ кормить буду, чтобъ вамъ. Какъ лошадь работать буду!—и, подмигнувъ глазомъ Анкѣ, онъ добавилъ: — Не даромъ я на четырехъ ногахъ хожу!

Прошелъ мѣсяцъ... Анка, уродъ и Арапка жили въ своей землянкѣ тихо, мирно и дружно. Анка, вначалѣ боявшаяся Егорки, замѣтно стала привыкать къ нему. Уродъ старался всячески развлекать дѣвочку и надѣлалъ ей много игрушекъ. Изъ ветловой коры онъ устроилъ ей дудку, изъ липоваго обрубка — кузнецовъ, изъ случайно найденнаго имъ козна — буркало, которое такъ громко гудѣло, что Арапка каждый разъ начиналъ отчаянно лаять. Всѣ трое — они цѣлый день жили на воздухѣ и только спали въ землянкѣ. Уродъ пекъ хлѣбъ, стиралъ Анкѣ посконныя рубашечки, плелъ лапти. Работы у него было по горло. Анка же копалась въ пескѣ или свистѣла въ

ветловую дудку. И когда уродъ смотрѣлъ на катавшуюся по песку Анку, работа въ его рукахъ спорилась живѣе и ему дѣлалось такъ весело, что онъ начиналъ кричать пѣтухомъ. Анка смѣялась въ отвѣтъ уроду, а Арапка, цѣлые дни спавшій на припекѣ, подходилъ къ Егоркѣ, вилялъ хвостомъ и лизалъ его въ носъ. Иногда къ нимъ въ землянку приходила въ гости глухая бабушка Солмонида. Она жаловалась на свою глухоту, а Егорка угощалъ ее ухюю. И тогда между ними происходилъ обыкновенно приблизительно слѣдующій разговоръ. Егорка говорилъ Солмонидѣ:

— И рыбы у насъ, бабушка, въ Талой страсть!

А глухая бабушка Солмонида отвѣчала:

— Да, родимый, рупь съ четвертакомъ, рупь съ четвертакомъ!

— Да ты про что, бабушка? — спрашивалъ, смѣясь, Егорка.

— Про жену, про Елифоркину, про кого же!

— А я про рыбу!

— А — а, спасибо, родимый, спасибо, больше не хочу.

Каждое первое число Егорка ходилъ въ усадьбу Синицына получать мѣсячную: ржаную муку и пшено. Эти дни были для него самыми мучительными; онъ боялся, чтобы въ его отсутствіе съ Анкою чего нибудь не произошло. И когда онъ возвращался къ своей землянкѣ весь потный и усталый, съ почти двухпудовою клажею на своей широкой спинѣ и видѣлъ Анку, беззаботно игравшую въ буркало, а Арапку, неистово около ея ногъ лаявшаго, съ его сердца точно сваливалась тяжесть. И до слѣдующаго перваго числа онъ былъ спокоенъ. Между тѣмъ, Синицынъ, узнавъ, что у урода есть пріемная дочь, объявилъ Егоркѣ, что ему будетъ выдаваться мѣсячная круглый

годъ. А жена Синицына не разъ просила Егорку привести свою приёмную дочку къ ней; она желала ее посмотреть. Однако Егорка желанія Синицыной не исполнялъ. Онъ боялся, что Анка понравится барынѣ и барыня отниметъ у него дѣвочку.

На Казанскую бабушка Солмонида прогостила въ землянкѣ цѣлыя сутки, а Егорка бѣгалъ въ село Дылдово на ярмарку. Тамъ онъ пѣлъ Лазаря и въ сутки набралъ трѣшниками цѣлыхъ полтора рубля. Съ ярмарки онъ принёсъ Анкѣ ситцевый сарафанчикъ и башмаки, а бабушкѣ Солмонидѣ фунтъ кренделей, которыхъ бабушка, къ его сожалѣнію, разгрызть никакъ не могла. И такъ, дни шли за днями; бахча уже поспѣвала; соловьи давно перестали пѣть. По теплымъ ночамъ скрипѣли одни коростели да пронзительно покрикивали цапли. Анка совершенно привыкла къ уроду, но иногда она все-таки скучала. Отъ дверей землянки, гдѣ она возилась по цѣлымъ днямъ, была видна рѣка Талая, узкій переходъ черезъ нее, а дальше — зеленые поймы, съ желтыми цвѣтами на мѣстѣ вышитыхъ солнцемъ и почвою весеннихъ лужъ и, наконецъ, крестъ панкратовской церкви. И когда дѣвочка смотрѣла на этотъ крестъ, личико ея дѣлалось грустнымъ. Порою она начинала даже горько плакать и заявляла, что хочетъ къ мамкѣ. Уродъ въ эти минуты обыкновенно старался всячески разсѣять дѣвочку: онъ возилъ ее на своей спинѣ, кувыркался передъ нею колесомъ или изображалъ ей пѣтушиный бой. Но иногда это не помогало и Анка такъ и засыпала вся въ слезахъ. Въ эти ночи обыкновенно и Егорка долго не могъ заснуть. Онъ безпокойно ворочался на своей лавкѣ и думалъ. Вотъ и у него есть наконецъ дочка, хорошая дочка. Въ сорокъ лѣтъ Богъ послалъ ему дочку. Пока она мала, онъ будетъ много работать. А вырастетъ

дочка, будетъ ему утѣшеніемъ. Онъ выдастъ ее замужъ, и она вмѣстѣ съ мужемъ будутъ величать его по имени и по отчеству Егоромъ, Егоромъ... но какъ уродъ ни напругалъ памяти, онъ не могъ вспомнить, какъ его зовутъ по отчеству. И это его огорчало.

Прошелъ еще мѣсяцъ и еще... Рѣка Талая стала мутною и непривѣтливою. Листья прирѣчныхъ ракушекъ облетѣли. Бахчу уже давно убрали. По ночамъ стало холодно и печку приходилось протапливать. Чтобы закрыть трубу, нужно было лѣзть на крышу землянки и закрывать горло молочнаго горшка доскою, а доску накрывать кирпичемъ, чтобы ее не сшибло рѣзкимъ осеннимъ вѣтромъ. По вечерамъ уродъ плелъ лапти и корзины, Арапка грѣлся у печки, а Анка играла въ голанцы. Отъ скуки и для развлеченія дѣвочки уродъ выучилъ Арапку поноска. Онъ бросалъ свою шапку и Арапка, къ удовольствію дѣвочки, каждый разъ приносилъ ему шапку обратно. Кажется, и Арапка весьма гордился своимъ искусствомъ. Иногда въ землянкѣ всю ночь, не переставая, слышался монотонный шумъ дождя и завыванье вѣтра. Раза два въ лунную и холодную ночь на молочномъ горшкѣ землянки сидѣлъ пробиравшійся на синицынское гумно русакъ и, нюхая воздухъ, прислушивался къ громкому храпу уroda и тихому дыханію дѣвочки. А когда Егорка, наконецъ, взялъ носомъ неизмѣримо высокую ноту, русакъ далъ такого стрекача, что сшибъ и доску и кирпичъ, оберегавшіе тепло землянки. И уроду пришлось лазить на крышу вторично.

Второго октября, въ день святаго священо-мученика Кипріяна, Егорка надумалъ идти въ село Дылдово. Тамъ въ этотъ день храмовой праздникъ и уродъ рассчитывалъ собирать на селѣ весь день Христа ради. Анкѣ нужно было сдѣлать хотя какую нибудь шубенку. Уходя, онъ

строга наказаль «дочкѣ» не отлучаться изъ землянки, а Арапку просилъ оберегать дѣвочку. Анка ласково кивнула головкою на просьбу уroda, а Арапка повиляль хвостомъ: «Знаемъ, дескать, братецъ, сами не маленькіе!» И уродъ пошелъ въ Дылдово совершенно спокойно.

День былъ солнечный и веселый и Анка проиграла у дверей хаты съ Арапкою вплоть до вечера. Но передъ вечеромъ она внезапно увидѣла блеснувшій на солнцѣ крестъ панкратовской церкви и расплакалась. Арапка подбѣжалъ къ ней и лизнулъ ее въ лицо. Дѣвочка проговорила: «Хочу къ мамкѣ, къ мамкѣ хочу!»

И тогда Арапка подбѣжалъ къ переходу, оглянувшись на дѣвочку и завиляль хвостомъ. Анка сквозь слезы потворяла: «Хочу къ мамкѣ!»

Арапка все стоялъ у перехода, глядѣль на дѣвочку и виляль хвостомъ. Казалось, онъ хотѣль сказать Анкѣ: «Да иди же, развѣ я не знаю дороги къ Марьѣ Перфилихѣ?»

Анка точно что-то припомнила. Она вся въ слезахъ поднялась на ноги и пошла къ Арапкѣ. Арапка, очевидно, обрадовался, что его, нахѣнецъ, поняли и, дружелюбно помахивая хвостомъ, пошелъ по переходу. Дѣвочка послѣдовала за нимъ...

Мѣсяцъ уже высоко стоялъ на небѣ, когда уродъ подошелъ къ своей землянкѣ. Въ Дылдовѣ его задержали, онъ сильно запоздалъ и это его беспокоило. Онъ вошелъ въ хату и зажегъ спичку. Его обдало холодомъ: ни Арапки, ни Анки тамъ не было. Егорка опрометью бросился вонъ. На мокромъ берегу Талой онъ крикнулъ: «Анка! Анка!» Ему никто не откликнулся. Онъ оглядѣлся и повторилъ свой крикъ, но его слова снова замерли безъ отклика въ сырѣмъ воздухѣ. Уродъ подбѣжалъ къ землянкѣ и сталъ

разглядывать влажный песокъ. При свѣтѣ мѣсяца онъ увидѣлъ слѣды анкиныхъ башмачковъ; они вели къ переходу. Уродъ съ захоловушимъ сердцемъ, на четверенькахъ, побѣжалъ по слѣду, но на мокрыхъ тесинахъ слѣда не было, да если бы онъ и былъ, его нельзя было бы увидѣть. Мѣсяцъ хотя и свѣтилъ, но тускло. Хмурыя тучки постоянно затаскивали его дискъ. Уродъ выбѣжалъ на противоположный берегъ, но и тамъ на пескѣ слѣдовъ анкиныхъ башмачковъ не было виднѣ. Но за то уродъ увидѣлъ Арапку; онъ лежалъ, свернувшись въ комокъ, на мокромъ берегу рѣчки, нѣсколько влѣво отъ перехода. Уродъ крикнуть: «Арапка, Арапка!»

Собака приподняла голову, ея глаза были мутны. Виногато она подошла къ уроду. И тутъ мѣсяцъ вышелъ изъ-за тучъ и уродъ увидѣлъ башмачекъ Анки; онъ качался на водѣ подъ вѣтками ракиты почти у самаго берега, въ двухъ шагахъ отъ перехода. Рядомъ съ нимъ качалась на водѣ звѣздочка. Это былъ тотъ самый башмачекъ, который уродъ подарилъ своей дочкѣ на Казанскую ярмарку. Уродъ завизжалъ и припалъ лицомъ къ мокрой землѣ. Онъ понялъ все... Въ такомъ положеніи онъ пробылъ нѣсколько минутъ. Сырыя поймы заволакивались туманомъ и слушали вопли, похожіе на крикъ совы. Мѣсяцъ быстро шелъ на встрѣчу сизымъ тучамъ. Нѣсколько дождевыхъ капель упало на землю. Уродъ приподнялся съ земли и однимъ прыжкомъ внезапно бросился въ воду; желалъ ли онъ утонуть или достать тѣло Анки—неизвѣстно; его неуклюжее тѣло тяжело плепнулось на томъ мѣстѣ, гдѣ покачивался башмачекъ Анки. Потомъ все стихло; по рѣчкѣ Талой побѣжали круги и, наконецъ, исчезли. Рядомъ съ крошечнымъ башмачкомъ Анки всплыла тяжелая шапка урода. Арапка все сидѣла

на берегу, смотрѣлъ на шапку и бапмачекъ мутными глазами и дрожать. Его пробирало сыростью. Наконецъ, онъ точно о чемъ-то вспомнилъ, тихонько сошелъ съ берега, подплылъ къ шапкѣ и, захвативъ ее зубами, выволокъ на берегъ. Минуту онъ снова просидѣлъ на берегу, чего-то ожидая, а затѣмъ продѣлать то же самое и съ бапмачкомъ Анки. На разсвѣтѣ Арапка пришелъ въ село Панкратовъ къ тому мѣсту, гдѣ раньше стояла изба Марьи Перфилихи. Но на этомъ мѣстѣ была только яма. Мокрый, онъ улегся на днѣ ямы, свернулся въ комокъ, засунулъ морду подъ хвостъ и закрылъ глаза. Теперь ему нигдѣ не достать хлѣба и, кажется, онъ рѣшился умирать...

ДОБРОЕ ДѢЛО.

Урядникъ Синдяковъ входитъ въ кабинетъ становаго пристава и мрачнымъ басомъ докладываетъ:

— Карней Тихонычъ кончаются-съ.

Становой приставъ Миловидовъ, шершавый и юркій блондинъ, съ негодованіемъ повертываетъ къ уряднику свое лицо. Онъ только что возвратился съ поѣздки по стану и потому находится въ наисквернѣйшемъ расположеніи духа. Нѣкоторое время онъ смотритъ на урядника съ ненавистью, а затѣмъ подскакиваетъ къ нему, выгибаетъ корпусъ впередъ и со злобою на всемъ лицѣ шипитъ:

— Ну, и пусть его кончается! Мнѣ-то какое дѣло? Я вѣдь не докторъ и не священникъ!

Урядникъ пожимаетъ широчайшими плечами.

— Такъ точно-съ, — говоритъ онъ хриповатымъ басомъ, который онъ изъ почтительности къ начальству пытается сократить до баритона: — Такъ точно-съ, но только дохторъ въ селѣхъ Рѣпьевкѣ находится, а отецъ Амвросій къ благочинному за новымъ Филаретомъ уѣхамши.

Лицо пристава снова перекашивается злобою. Ему хо-

чется кричать, кричать на всю квартиру, что нельзя так мучить человека! Онъ усталъ, усталъ до одурѣнія, до того что сталъ похожъ на осиновое полѣно и не способенъ болѣе отличать правыхъ отъ виноватыхъ. Да-съ, онъ измученъ! Мертвыя тѣла, кражи со взломомъ, истязанія женъ, безпатентная торговля виномъ, самовольныя порубки лѣсовъ, недоимки, пьянство, членовредительство, — все это, какъ паукъ, высосало изъ него всѣ соки и теперь въ немъ столько же смысла, сколько его въ дохлой мухѣ!

Однако, приставъ не говоритъ этого; онъ молчитъ, сокрушенно поглядывая на свои сапоги и глубоко засунувъ руки въ карманы форменныхъ шароваръ. Урядникъ тоже безмолвствуетъ.

Въ комнатѣ дѣлается тихо. Мутныя осеннія сумерки глядятъ въ окна кабинета съ выраженіемъ безысходной скуки. За окнами тонко и плаксиво, какъ иззябшая собаченка, воетъ вѣтеръ. Наконецъ, становой приподнимаетъ на урядника свой уже нѣсколько умиротворенный взоръ.

— Ты у него былъ? — спрашиваетъ онъ его.

— У Карнея Тихоныча? — догадывается урядникъ: — быть-съ.

— Что же онъ?

— Хрипятъ-съ. Водку они трое сутокъ кушали и вотъ-съ... — урядникъ вздыхаетъ и пожимаетъ плечами: — А теперь кончаются, — добавляетъ онъ басомъ: — и васъ къ себѣ просятъ-съ. Нѣчто сообщить, по всей видимости, желаютъ-съ.

Когда приставъ надѣваетъ потертое форменное пальто, урядникъ съ сожалѣніемъ на лицѣ сообщаетъ ему:

— Все начальство у насъ въ расходѣ-съ. Просто бѣда. Повивальная бабка и та не въ своемъ видѣ: родить-съ.

Я было къ ней, — не могу, говорить. Я, говорить, пять лѣтъ терѣла, родить времени не было, а теперь, говорить, извините, сама рожу-съ! Просто бѣда, — снова вздыхаетъ урядникъ.

Миловидовъ грязной и липкой улищей насквозь вымокшаго села шлепаетъ къ дому Карнея Тихоныча. Кругомъ мутныя осеннія сумерки, склизкія и затхлыя. Въ ихъ мутномъ свѣтѣ всѣ предметы какъ бы растворились, потеряли форму и смыслъ и стали похожи другъ на друга до скуки, до отвращенія. Приставу дѣлается даже страшно и жутко среди всей этой безтолковщины. Его лицо снова перекашивается въ брезгливую гримасу и онъ съ отвращеніемъ думаетъ:

«Господи, Боже мой, это не жизнь, а каторга. Скоро и дѣтей крестить насъ заставятъ. Сущее наказаніе! Осенью свѣдѣньями одними доѣздили. Предводителю доставъ объ неурожаѣ, въ управу объ урожаѣ, въ полицейское управленіе о недородѣ. Тыфу ты, пропасти на васъ нѣтъ!»

Миловидовъ съ отвращеніемъ плюетъ себѣ подъ ноги и входитъ въ домъ Карнея Тихоныча до того обалдѣлый, что чуть не подаетъ руки кухаркѣ Маланьѣ, которая встрѣчаетъ его въ прихожей. Уже изъ прихожей слышенъ сухой хрипъ умирающаго и, пока Миловидовъ разоблачается Маланья, плаксиво сморкаясь въ фартукъ, докладываетъ ему:

— Кончаются. Винище они трое сутокъ цѣдили; двѣ четверти, Богъ съ ними, выпѣдили. Куда только, подумаешь, влѣзла эдакая уйма!

Миловидовъ, осторожно ступая, бочкомъ входитъ въ полуосвѣщенную спальню.

Въ спальнѣ душно и сумрачно, пахнетъ деревяннымъ

масломъ, богородскою травою и еще чѣмъ-то тяжкимъ, наводящимъ на размышленіе о смерти. У кіота горитъ зеленого стекла лампадка; ея свѣтъ наполняетъ всю комнату тусклымъ сумракомъ и бросаетъ по полу мутно-зеленую, какъ болотная вода, тѣнь. И все это, и тусклый сумракъ и тяжкій запахъ, сочетается въ невозмутимую тишину, прорѣзываемую лишь сухимъ и острымъ хрипомъ умирающаго. По этой тишинѣ и хрипу приставъ сразу догадывается, что въ этой комнатѣ происходитъ борьба жизни и смерти, послѣдняя борьба, въ которой смерть обезпечила уже себѣ выигрышъ; и приставъ медленно подходит къ постели умирающаго.

Карней Тихонычъ лежитъ на высокой деревянной кровати подъ стеганымъ одѣяломъ. Его носъ обострился, голова глубоко ушла въ розовыя ситцевыя подушки, а его борода, длинная и сѣдая, высоко поднимается на тяжело дышащей груди. Его вѣки закрыты.

Миловидовъ съ минуту глядитъ на него, покачивая головой, и затѣмъ говорить, стараясь придать своему голосу какъ можно больше нѣжности.

— Здравствуйте, Карней Тихонычъ! Что это вы налить вздумали, голубчикъ?

Сухой и прозрачный взоръ останавливается на лицѣ станого; одѣяло шевелится и Миловидовъ слышитъ:

— И-з-дыхаю... С-смерть... С-сядь... с-сюда...

Миловидовъ присаживается рядомъ на кончикъ стула и напрягаетъ слухъ.

— Все-сего было, — слышитъ онъ хрипъ Карнея Тихоныча, — былъ я подпас-с-комъ... Поддувай на кузницѣ былъ... Теперь... с-сорокъ тыс-сятъ... Духовное с-сдѣла-но... Племянникъ въ С-сызрани вс-сѣ пропьетъ... С-слушай... Есть у меня... дес-сятъ тысячъ... нигдѣ не пока-

занных... 3-золотомъ набраны... въ с-саду с-схоронены... въ душѣ... въ яблони... у 3-з-забора... Возьми ты ихъ... и доброе дѣло с-сдѣлай... по с-своему разумѣнію... С-самъ не придумаю... На церкву... не н-надо... Ж-жертвовано... С-сдѣлаешь... Богъ наградить...

Карней Тихонычъ умолкаетъ. Миловидовъ уныло думаетъ: «Здравствуйте! еще новое порученіе: доброе дѣло придумывать!»

Онъ хочетъ что-то сказать Карнею Тихонычу, но въ это время стеганое одѣяло усиленно начинается шевелиться и Миловидовъ снова слышитъ сухой хрипъ:

— С-слушай...

Миловидовъ подставляетъ свое ухо вровень съ розовою подушкою и точно замерзаетъ... Въ комнатѣ все тихо и неподвижно. Только за окномъ жалобно, какъ прозябшая собака, завываетъ вѣтеръ, да мутно-зеленая тѣнь плавно бродитъ по полу отъ угла до угла. Миловидовъ напряженно ждетъ. Но вдругъ онъ догадывается и поднимаетъ свой испуганный взоръ на умолкшаго. Карней Тихонычъ неподвиженъ, его взоръ тусклъ, ротъ полуоткрытъ, а все его лицо похоже на маску. Миловидовъ поспѣшно поднимается со стула, крестится мелкимъ крестомъ и идетъ къ Маланѣ на кухню распорядиться, чтобы обмыли новопреставленного.

Черезъ часъ Миловидовъ ходитъ изъ угла въ уголъ по своему кабинету и усиленно думаетъ. Онъ пытается придумать доброе дѣло, возложенное на него Карнеемъ Тихонычемъ. Сначала это кажется ему дѣломъ весьма легкимъ. «Доброе дѣло придумать легче чѣмъ плкнуться!» — думаетъ онъ. — «Доброе дѣло само въ голову влѣзетъ. Богъ дастъ, придумаемъ, не ударимъ передъ покойникомъ лицомъ въ грязь! Вотъ, напримѣръ, открыть въ селѣ Рѣшевкѣ шко-

лу—дѣло доброе. Сельцо это населенное, а школы нѣтъ. Школу, конечно, школу! Просвѣщеніе—важная статья!»

«Впрочемъ, школу ли? — продолжаетъ размышлять Миловидовъ: — не другое ли что? а? Школа-то вѣдь у насъ, пожалуй, бесполезна будетъ? Народъ больно бѣденъ, ребятъ въ подпаски нанимаетъ; жрать нечего; до школы ли тутъ? А кто и кончитъ курсъ, черезъ годъ все пере забудетъ. Хуже неграмотнаго станетъ. Потому, практики у него никакой нѣтъ. Книга-то когда ему въ руки попадетъ? Библіотекъ-то вѣдь у насъ не имѣется. Нѣтъ, школы открывать преждевременно. Придумаемъ-ка еще чтонибудь».

«Вотъ развѣ бібліотеку открыть?» — приходитъ на мысль Милоvidову черезъ минуту, но, однако, онъ сейчасъ же спохватывается.

«Эка я куда хватилъ! бібліотеку! школа не нужна, а бібліотека нужна? Это вѣдь ересь, ерунда съ квасомъ, кавардакъ! Нѣтъ, бібліотека намъ не модель! Съ бібліотекой только мнѣ работы прибавится: за бібліотекаремъ наблюдай, да чего онъ даетъ народу, посматривай. Нѣтъ, бібліотека не резонъ, надо другое чтонибудь. Вотъ развѣ больницу воздвигнуть? Больница вещь великолѣпная. Ребятъ у насъ видимо-невидимо мретъ, народъ больной, чахлый, а здоровье прежде всего. Да, больница въ самый фасонъ выйдетъ!»

Миловидовъ присаживается на стулъ, сосредоточенно глядитъ въ пространство и думаетъ:

«Только вотъ пойдетъ ли кто въ больницу-то? Мужика-то вѣдь туда, пожалуй, на вожжахъ не втащить, боятся мужикъ доктора, въ знахаря вѣрить! Знахарь ему серпомъ въ глаза залѣзетъ и онъ ни-ни, ни въ одномъ глазѣ, не боятся, а хирургическій ножъ съ комариный носъ уви-

дить — трясется. Нѣтъ, больница тоже не мотивъ! Еще подь сердитую руку доктора ухлопають. Хлопотъ не оберешься. Нѣтъ, больницу къ чорту!»

Миловидовъ тихо поднимается съ мѣста и снова сосредоточенно ходить изъ угла въ уголъ.

«Ночлежный домъ для рабочихъ соорудить развѣ? — думаетъ онъ: — рабочихъ у насъ осенью тьмы идутъ; изъ-за Волги идутъ, съ Кубани, съ Дона; другой разъ голодные, ободранные, безъ гроша въ карманѣ, еле ползутъ и на ночь притулиться негдѣ!»

Эта мысль серьезно останавливаетъ на себѣ вниманіе Миловидова, но увы, и съ нею онъ скоро разстается, также какъ и съ предыдущими.

— Опасно это, — шепчетъ онъ себѣ подь носъ: — съ мѣста слетишь. «Либераль», скажутъ, «народникъ, злоумышленникъ!» Себѣ на шею ночлежный-то домъ выйдетъ! Нельзя. Опасно. Богъ съ нимъ!

Пять часовъ ходитъ Миловидовъ изъ угла въ уголъ, усиленно думаетъ, ерошитъ волосы и дергаетъ себя за усы. Но все напрасно. Добраго дѣла онъ не находитъ. Онъ строитъ тысячу плановъ, тысячу предложеній, но тотчасъ же разбиваетъ ихъ наголову. Онъ проэктируетъ при своей квартирѣ великолѣпную каменную «холодную» для высижки, снабженную электрическими звонками, телефономъ и даже ванною. Но онъ сейчасъ же бросаетъ и эту мысль, не безъ основанія предполагая, что его «холодная» выйдетъ теплою, а этого тоже, вѣроятно, нельзя. Затѣмъ онъ освѣщаетъ электрическимъ солнцемъ водостное правленіе, роетъ артезіанскій колодезь, ищетъ на воздушномъ шарѣ пропавшаго безъ вѣсти Андре, устраиваетъ возстаніе въ Герцеговинѣ и, наконецъ, выписываетъ на

всѣ десять тысячъ тараканьяго мору, чтобы истребить всѣхъ таракановъ въ уѣздѣ.

Въ концѣ-концовъ, до нельзя утомленный и обалдѣлый, съ головою, готовою лопнуть, онъ бухается на стулъ, къ письменному столу, противъ тускаго окна.

Лампа погасла. Въ комнатѣ темно; за окномъ неподвижно лежитъ безцвѣтная, вязкая, насквозь промокшая земля, а надъ нею распростерто мутное, какъ бѣльмо, небо. Но и земля и небо глядятъ на него безъ всякаго выраженія, безъ малѣйшаго намека, который сумѣлъ бы толкнуть мысль пристава и онъ съ ненавистью на лицѣ шепчетъ:

— О, проклятая служба!

Ему хочется плакать. Да, это служба вымотала изъ него всѣ соки и убила въ немъ мысль до того, что онъ не способенъ придумать добраго дѣла. Онъ хуже осиноваго полѣна, хуже вымолоченнаго снопа, хуже сумки нищаго, въ которой все-таки хотя что нибудь да есть, а въ немъ нѣтъ ничего, рѣшительно ничего, кромѣ глухихъ служебныхъ обязанностей, которыя ровно никому не нужны.

Миловидовъ быстро вскакиваетъ со стула. При мысли о служебныхъ обязанностяхъ, онъ вспоминаетъ, что завтра въ шесть часовъ утра ему предстоитъ ѣхать въ Рѣшевку, гдѣ онъ будетъ продавать за недоимку скотъ у мужиковъ съ драными локтями. Миловидовъ поспѣшно раздѣвается, комкомъ свертывается въ постели и натягиваетъ одѣяло вплоть до шеи. Однако, ему не спится.

«Что же? — думаетъ онъ; — продавать, такъ продавать!» Это его служебная обязанность. Онъ всюду является, какъ вѣстникъ всевозможныхъ золъ. Его видъ пугаетъ всѣхъ. Когда онъ показывается въ селѣ, мужики прячутся по сѣноваламъ, а бабы тащутъ на огороды свои

ПИСЬМО.

Одинъ изъ блестящихъ адвокатовъ столицы получилъ довольно объемистый и тщательно запечатанный конвертъ. Когда конвертъ былъ вскрытъ имъ, въ немъ оказалась рукопись въ два писчихъ листа; адвокатъ тотчасъ же принялся за чтеніе и по мѣрѣ того, какъ онъ поглощалъ рѣзко написанныя строки рукописи, глаза его раскрывались все шире и шире и все худощавое лицо адвоката принимало выраженіе полнѣйшаго недоумѣнія.

Въ рукописи этой заключалось слѣдующее:

«Помните ли вы меня? Помните ли вы защительную рѣчь, сказанную вами 15 ноября въ залѣ Эскаго окружнаго суда, 12 лѣтъ тому назадъ? Какъ вы хорошо говорили тогда, какія рукоплесканія загремѣли послѣ вашей блестящей рѣчи, а когда представители общественной совѣсти вынесли мнѣ оправдательный приговоръ, поведение дамъ приняло положительно буйный характеръ. А дамъ въ этотъ день въ залѣ суда было больше, чѣмъ много. Еще бы! Интеллигентный убійца, видный общественный дѣятель на скамьѣ подсудимыхъ; дикій ревнивецъ, убившій любовника своей жены. О, здѣсь есть что послушать и на кого посмотреть!

А я былъ безукоризенъ, не правда ли, въ роли убійцы? Я былъ блѣденъ, «демонически» блѣденъ, мой скрутокъ сидѣлъ на мнѣ классически, а мой бѣлый атласный галстукъ и фарфоровая грудь моей сорочки была «бѣлѣ альпійскихъ снѣговъ», какъ поютъ въ оперѣ. Да, я могъ бы имѣть большой успѣхъ среди дамъ послѣ моего процесса, но я усталъ, я очень усталъ, и мнѣ было совсѣмъ не до того...

Впрочемъ, возвращаюсь снова къ моимъ воспоминаньямъ. Помните ли вы выходъ моей жены, тогда свидѣтельница, во всемъ черномъ, съ до нельзя усталымъ видомъ? Какой шепотъ пробѣжалъ среди дамъ при ея появленіи! Какъ она робко говорила, великодушно принимая на себя всю вину! А показаніе моего лакея, Ивана Степашкина, внезапно заявившаго, что въ тотъ моментъ, когда онъ прибѣжалъ въ кабинетъ послѣ выстрѣла, Аркадскій лежалъ на полу съ прострѣленною головою и въ его окоченѣлыхъ рукахъ были зажаты пачки кредитокъ, забрызганныхъ кровью? Какъ заволновалась зала суда послѣ такого показанія! Но я вывернулся, я очень ловко вывернулся. Дѣло оказалось яснымъ; деньги я вручилъ Аркадскому, какъ приданое, такъ какъ онъ по уговору, долженъ былъ жениться на моей женѣ—послѣ ея развода со мною. Онъ былъ босъ и нагъ, и я вручилъ ему деньги. Вручилъ, а потомъ выстрѣлилъ,—потому что аффектъ! Я, видите ли, хотѣлъ поступить, какъ наивеликодушнѣйшій человѣкъ—но аффектъ-съ!

А когда стала говорить старушка въ коричневомъ платьѣ, мать убитаго, подмѣтили ли вы мой полный отчаянія жестъ? Уже тогда мнѣ мучительно хотѣлось крикнуть всю правду, но я сломилъ себя и молчалъ, кусая губы. Да, этотъ жестъ тоже аффектъ! Ахъ, господа, господа, повѣрьте мнѣ, выстрѣлъ не аффектъ и такихъ аф-

фектовъ не бываетъ. Выстрѣлъ, ударъ ножомъ изъ-за угла, измѣна, братоубійство, лицемѣріе, изнасилованіе, — это не аффекты, это кровь и плоть наша, наша суть, наше достоинствіе, которое мы вѣчно таскаемъ за собою, какъ улитка скорлупу. А вотъ жестъ отчаянія убійцы, когда говорить мать убитаго, прыжокъ со скалы къ утопающему, жертва собою, вѣрность, святость, вотъ эти слезы, которые бѣгутъ сейчасъ изъ моихъ глазъ, — это все аффекты, вымученные ради насъ геніями міра, я не знаю для какихъ цѣлей!

Да, господинъ адвокатъ, что, если вы защищали великолѣпнѣйшій экземпляръ негодяя? Что, если я дурачилъ васъ всѣхъ и лгалъ 12 лѣтъ, 12 лѣтъ таская на своей спинѣ это гнусное бремя? Но, увы, теперь моя пѣсенка спѣта, мнѣ не къ чему лгать, я уйду въ тѣ страны, откуда не возвращался еще ни одинъ путешественникъ, и я хочу говорить только правду, одну правду.

Слушайте же меня!

Я любилъ ее горячо, нехорошо любилъ и ревновать мучительно. Были ли у меня поводы къ этому? Осязательныхъ — нѣтъ, ни полъ-повода, а косвенныхъ, психологическихъ, тонкихъ и почти неуловимыхъ — миллиарды. И поэтому я страдалъ. Что такое ревность? Что такое любовь?

Любовь, по моему, есть мучительное стремленіе человѣка разрушать то одиночество, на которое онъ обреченъ на землѣ; результатомъ такого стремленія является желаніе постигнуть душу любимаго человѣка, какъ свою собственную, и слиться съ ней во-едино, а ревность вытекаетъ изъ невозможности достигъ ни того, ни другого. Таковы были причины и моей ревности.

Кто была моя жена? По наружности это была блондинка, высокая женщина средняго роста, тонкая и стройная, съ

блѣднымъ лицомъ и скучающими сѣрыми глазами. Что-же касается до ея содержанія, то о немъ я ничего не зналъ, рѣшительно ничего. Я зналъ только, что ея глаза, скучающіе обыкновенно, заволакивались порою томною влагою и принимали выраженіе, какъ будто она вся изнемогала отъ страсти и вожделѣній подъ чьими-то невѣдомыми поцѣлуями. И это выраженіе, чрезвычайно мимолетное, ея глаза принимали по большей части, когда она слушала музыку или была среди мужчинъ или наслаждалась лѣтнимъ вечеромъ. Въ эти минуты я ревновалъ ее мучительно, бѣшено, ко всему окружающему ее, ко всѣмъ мужчинамъ, къ воздуху, которымъ она дышала, къ собакамъ, которую она ласкала. Я весь трепеталъ и горѣлъ и стремился угадать ея мысли въ тѣ мгновенія, жаждалъ заглянуть въ ея душу и зналъ, что мнѣ никогда не достигъ этого, что тутъ гранитная стѣна, которую мнѣ не разбить никакими усилиями. И я ревновалъ и бѣсновался съ судорогами во всѣхъ членахъ. О — о, что это была за мука!

Передъ моею женитьбою на ней она вдовѣла два года и эти два года были для меня землею неизвѣстною. Какъ жила она это время, чѣмъ увлекалась, что думала, о чемъ грезилъ во снѣ — развѣ я могъ узнать объ этомъ какимъ нибудь способомъ? И я полюбилъ ее неизвѣстную, и женился на ней, и поставилъ себѣ цѣлью, стремленіемъ всей моей жизни постичь ее, заглянуть когда нибудь въ ея душу, хотя бы мнѣ пришлось увидѣть тамъ цѣлый адъ. Послѣ трехлѣтняго супружества она родила сына и когда Аркадскій упалъ въ моемъ кабинетѣ съ прострѣленнымъ вискомъ, ребенку было уже два года. Слѣшу сдѣлать маленькую оговорку. Нѣсколько мѣсяцевъ передъ рожденіемъ ребенка и затѣмъ въ продолженіи полугода я не

стоявшихъ у сарая, и превратила въ серебряную звѣзду валявшійся на крышѣ погребѣ осколокъ жестянки, я упалъ на подушки и уснулъ.

На слѣдующее же утро я выѣхалъ въ Петербургъ, сказавъ женѣ какую-то околесицу.

Маленькая оговорка. Если бы жена сама, первая, сказала мнѣ все, раскрыла свою душу и обнажила тѣхъ бѣсовъ, которые терзали ее, я простилъ бы ей все, клянусь вамъ, и помогалъ бы ей изгнать этихъ бѣсовъ и Аркадскій никогда не запачкалъ бы половъ моего кабинета своею кровью.

По приѣздѣ въ Петербургъ, я тотчасъ же сдалъ объявленіе въ одну изъ распространенныхъ газетъ; въ объявленіи этомъ я прописалъ нижеслѣдующее: нуженъ домашній секретарь, молодой, исполнѣ приличный, за хорошее вознагражденіе, адресъ тамъ-то.

И вотъ, послѣ этого объявленія, въ мою комнату стали являться разнаго рода болѣе или менѣ «приличные» господа. Однако, среди нихъ я не находилъ ни одного подходящаго экземпляра, при помощи котораго я могъ бы привести въ исполненіе свой планъ. И я безъ церемоній выпроваживалъ этихъ господъ подъ разными предлогами за дверь. Признаюсь, я уже начиналъ было отчаиваться. Но вотъ на третій день моихъ поисковъ въ мой номеръ вошелъ худоцавый, средняго роста брюнетъ. Вошелъ онъ какъ-то бочкомъ, шмыгая ногами и какъ бы готовясь протанцовать какой-то неприличный танецъ. Костюмъ его былъ подержанъ, но съ большими претензіями, галстухъ подвязанъ мотылькомъ. Къ доверенію всего, его усы и волосы были подвиты, а усы даже чѣмъ-то подмазаны. Однимъ словомъ, въ этомъ господинѣ все, на-

чиная съ походки и кончая колечкомъ - сувениромъ, блестящимъ на его волосатомъ пальцѣ, было такъ пошло, отдавало такою срамотою, если такъ можно выразиться, что я остался вполне доволенъ его осмотромъ.

«Тебя-то, голубчикъ, мнѣ и надо!» подумалъ я.

Незнакомецъ представился мнѣ: звали его Василій Прокофьевичъ Аркадскій. Проговорилъ онъ мнѣ свое имя съ улыбочкою, и я и улыбкою его и звукомъ голоса остался тоже вполне доволенъ. Я рѣшился остановиться именно на немъ, такъ какъ понялъ, что въ этомъ человѣкѣ нельзя купить только того, чего у него не было. Я пригласилъ его сѣсть и потребовалъ бараньихъ котлетъ, винограду и бутылку вина, намѣреваясь съ нимъ позавтракать, прежде чѣмъ приступить къ дѣлу. Однако, я не притрогивался къ завтраку, но Аркадскій ѣлъ не безъ аппетита и все время болталъ мнѣ о себѣ. Изъ его словъ я узналъ, что сперва онъ служилъ въ какой-то палатѣ, затѣмъ лишился мѣста и пѣлъ теноромъ — сначала въ опереткѣ въ хорѣ, а затѣмъ въ качествѣ куплетиста въ кафе-шантанѣ.

Пѣлъ въ кафе-шантанѣ, — я едва не расхохотался отъ удовольствія; судьба посылала мнѣ сущій кладъ, вѣроятно, сжалившись надъ моею пятилѣтнею пыткою. Когда мы распили бутылку вина, я спросилъ вторую и приступилъ прямо къ дѣлу. Конечно, я принялъ самый беззаботный тонъ и видъ и пересыпалъ свою рѣчь плоскимъ смѣшкомъ и скверными шуточками. Началъ я съ того, что собственно мнѣ нуженъ не домашній секретарь, и вотъ какое дѣло имѣю я къ господину Аркадскому. Жена моя видите ли бабенка вздорная, легонькая и грѣшковая за ней водится не мало, и надоѣла она мнѣ до смертешки. И вотъ, мнѣ хотѣлось бы отвязаться отъ нее, выпрово-

дить какъ нибудь ее изъ дому, конечно, подъ условіемъ выдавать ей ежемѣсячную на прожитокъ пенсію; чело-вѣкъ я богатый и не скупъ, такъ что о деньгахъ тутъ не можеть быть и рѣчи, но гдѣ дѣло въ томъ, что на удаленіе жены изъ дому у меня нѣтъ, такъ сказать, нравствен-ныхъ основаній, основаній, разумѣется для свѣта, такъ какъ жена моя баба хитрая и интрижки ея не разобла-чены. Такъ вотъ, если бы господинъ Аркадскій взялъ на себя трудъ плѣнить эту дамочку и затѣмъ помочь мнѣ разоблачить ея секретъ, давъ въ руки вѣскія доказы-тельства ея измѣны, вотъ тогда бы я имѣлъ въ глазахъ свѣта основаніе выпроводить жену изъ дому, а у меня, къ до-вершенію всего, есть на примѣтѣ дѣвица, свѣженькая, великолѣпнѣйшей конструкціи... Я расхохотался, поцѣ-ловаль кончики своихъ пальцевъ и затѣмъ продолжать, что если бы Аркадскій согласился на это, я былъ бы весьма благодаренъ ему, и за свой трудъ онъ получилъ бы съ меня сто рублей ежемѣсячныхъ и тысячу за дока-зательство. Окончивъ эту тираду, я замолчалъ и глядѣлъ на Аркадскаго съ спертымъ дыханіемъ и ледяною голо-вою. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Аркадскій без-молвствовалъ и, въ свою очередь, глядѣлъ на меня, какъ бы не довѣряя моимъ словамъ. Но затѣмъ сомнѣніе, оче-видно, покинуло его, внезапно онъ пренагло расхохотался и сталъ оживленно болтать, что мой способъ весьма остро-уменъ, что онъ первый разъ въ жизни слышитъ о такомъ способѣ, но что современные дамы безнравственны и и разоблачить одну-другую не грѣхъ, и что онъ, между прочимъ, имѣетъ большой успѣхъ среди дамъ, такъ что даже и мѣста въ палатѣ онъ лишился вотъ именно оттого, что жена начальника отдѣленія, Капито-лина Петровна... Я не слушалъ его болѣе; онъ согласился

и ушелъ, взявъ съ меня авансъ въ 50 рублей. Черезъ два дня я выѣхалъ съ нимъ изъ Петербурга. И такъ, корабли были сожжены, я объявилъ войну лицемѣрю, посмотримъ, чѣмъ-то эта война кончится!

И вотъ Аркадскій два мѣсяца прожилъ у меня въ имѣннѣ; два мѣсяца онъ неотлучно находился при женѣ, катался съ нею въ лодкѣ, гулялъ по лѣсу, шѣлъ съ нею дуэтомъ, сопровождалъ ей. Но, однако, я все же былъ далекъ отъ разоблаченія мучившей меня тайны. Аркадскій ничѣмъ не могъ похвастаться передо мною, хотя это несколько не облегчало моихъ мукъ, не измѣняло сути. Все же я ясно видѣлъ, что живу на кратерѣ вулкана и что катастрофа произойдетъ не нынче, такъ завтра, послѣ завтра, на дняхъ, а если даже и не произойдетъ, то, во всякомъ случаѣ, не потому, что въ насъ нѣтъ элементовъ къ тому, а просто въ силу какой-то глухой случайности, и согласитесь сами, много ли въ этомъ отраднаго? Да и Аркадскій не оспаривалъ моихъ предположеній, такъ какъ и онъ былъ убѣжденъ въ ихъ справедливости. Такъ прошла недѣля, другая, третья. И вотъ, какъ-то въ сумерки Аркадскій вошелъ ко мнѣ въ кабинетъ, когда я сидѣлъ тамъ одинъ съ своими мученіями. Онъ многозначительно покрутилъ свой подвитый усъ волосатыми пальцами и сообщилъ мнѣ, что я долженъ выѣхать на время изъ дому — ради выгоды нашего дѣла, какъ онъ выразился. Онъ былъ взволнованъ и красенъ, когда сообщалъ мнѣ это, я же мучительно поблѣднѣлъ, но Аркадскій не замѣтилъ моей блѣдности, такъ какъ въ кабинетѣ стояли мутныя сумерки. Я поглялъ его; жена колеблется, ее пугаетъ моя близость, но если я удалюсь изъ дома...

У Аркадскаго есть большія надежды!

Я уѣхалъ тотчасъ же въ лѣсъ, на хуторъ, гдѣ не было ни души. Я жаждалъ одиночества.

О, какъ шумѣлъ вѣтеръ въ эту ночь и какія тучи волоклись одна за другою по небу! Я не спалъ эту ночь и до зари просидѣлъ у окна лѣсной хаты, поставивъ локти на подоконникъ и слушая шумъ вѣтра. Шумъ вѣтра и мракъ всегда наводятъ на меня ужасъ, а въ эту ночь они пронизывали все мое существо мучительною болью. И я сидѣлъ и думалъ. Что если бы нашелся смѣльчакъ, нашелся геній, который сдернулъ бы съ небесъ эту грязную пелену тучъ, созданную испареніями земли, и эту синеву и разоблачилъ бы небо такъ же, какъ я пытаюсь разоблачить сердце человѣка? Что, если и тамъ тотъ же ужасъ и ничего, кромѣ ужаса, а это святое сіяніе не болѣе, не менѣе, какъ подмалевка и обманъ?

Передъ зарею одно мучительное предположеніе обдало меня холодомъ. Что если Аркадскій не выдержитъ искуса и выдастъ женѣ мой замыселъ, а та уприситъ его скрыть отъ меня то, что произойдетъ между ними, и онъ солжетъ мнѣ, скрывъ истину? Я готовъ былъ немедля скакать домой, чтобы самому добыть правду. Однако, предположеніе мое оказалось ложнымъ; по утру изъ дому пріѣхалъ рабочій. Аркадскій звалъ меня домой. Въ моемъ отсутствіи уже не было болѣе нужды и я отправился на зовъ.

Все время по дорогѣ домой я думалъ.

Тайна разоблачена, сомнѣній нѣтъ, Аркадскій восторжествовалъ, а жена пала. То роковое и ужасное, которое живетъ въ сердцѣ человѣка, какъ мечта, какъ отвратительный образъ, приняло плоть и кровь; едва я попробовалъ сыграть въ его дудку, потому что оно могучее, а всѣ эти сентиментальныя стремленія и идеальныя любви есть только подмалевка и обманъ, созданные неимовѣр-

ными потугами цѣлыхъ тысячелѣтій. Любви нѣтъ, есть только стремленіе разрушить то одиночество, въ которое мы брошены, такъ какъ мы прозрѣли отчасти и намъ страшно, а страхъ напряженнѣе въ одиночествѣ. Да кромѣ этого стремленія, есть желаніе имѣть побольше самокъ или самцовъ и мѣнять ихъ почаще. Первое недостижимо, а второе достижимо очень. Вся же разница между безнравственными и нравственными людьми заключается только въ томъ, что въ сердцахъ первыхъ отвратительные образы переходятъ въ факты, а въ сердцахъ вторыхъ они всю жизнь остаются мечтою. Но много ли въ этомъ утѣшительнаго? Я связываю себѣ руки, чтобы не убить человѣка, чѣмъ же я лучше заправскаго убійцы?

Платоническая блудница — не правда ли, какъ это красиво звучитъ?

Вмѣстѣ съ Аркадскимъ я прошелъ въ кабинетъ и, по дорогѣ онъ разсказалъ мнѣ обо всемъ, что произошло въ эту ночь. Въ кабинетѣ мы остановились у письменнаго стола, онъ съ одного его бока, я съ другого, оба блѣдные и сосредоточенные; и я спросилъ его, чѣмъ онъ можетъ засвидѣтельствовать, что переданное имъ есть совершившійся фактъ. Онъ отвѣчалъ, что я могу устроить засаду и убѣдиться своими глазами въ его близости къ женѣ. Но я отвергъ это и спросилъ, найдетъ ли онъ въ себѣ мужество подтвердить все имъ сказанное при женѣ; лицо въ лицо, на очной ставкѣ съ нею, если это требуется.

Я былъ увѣренъ, что она будетъ отпираться, и меня мучило любопытство узнать, хватитъ ли у нее наглости отпираться на очной ставкѣ съ Аркадскимъ, посмотрѣть, какой трепетъ пробѣжитъ по ея лицу въ эту минуту; мнѣ хотѣлось унитъ ея позоромъ, я жаждалъ еще чего-то

жуткаго, мучительнаго, нелѣпаго. Однако, Аркадскій колебался. Я общалъ уплатить ему за это еще 300, 500, тысячу рублей и ждалъ отвѣта; и въ эту минуту я увидѣлъ револьверъ, лежавшій на моемъ письменномъ столѣ. Но, клянусь вамъ, въ эту минуту я еще не думалъ сдѣлать того, что я сдѣлалъ послѣ, я только пошутить, скверно пошутить. Дѣло въ томъ, что меня осянила мысль и я весь приковался къ ней. Но Аркадскій вывелъ меня изъ оцѣненія; онъ согласился. Я просилъ его подождать меня нѣсколько минутъ и пошелъ къ женѣ, въ спальню. Мнѣ было мало разоблаченія тайны, мнѣ, до мученія, хотѣлось сказать о ея разоблаченіи женѣ и заглянуть въ ея глаза и видѣть, какъ въ этихъ глазахъ быстро, какъ птицы, промелькнуть выраженія сперва страха, затѣмъ отчаянія и, наконецъ, злобы за это разоблаченіе. А потомъ она будетъ запирается, божиться, поцѣлуетъ икону, быть можетъ. И меня глекло ко всему этому стихійною силою.

Жена сидѣла у окна въ утреннемъ капотѣ, когда я вошелъ къ ней. При моемъ входѣ, она встала и сдѣлала было жестъ, желая двинуться на встрѣчу, но вдругъ она увидала мое лицо и точно окаменѣла на мѣстѣ.

Я подошелъ къ ней близко, коснувшись колѣнями ея платья, и сказать, что она измѣнила мнѣ съ Аркадскимъ, и я знаю это, навѣрное знаю и запирается уже поздно. Я упорно глядѣлъ въ ея глаза и увидѣлъ тѣхъ птицъ, которыхъ такъ давно жаждалъ видѣть: и страхъ, и отчаяніе, и злобу. Но жена не отпиралась и стояла передо мною съ блѣднымъ лицомъ и мучительною улыбкою. Я слышалъ, какъ хрустѣли ея пальцы, теребившіе какое-то рукодѣлье. Наконецъ, она нашла въ себѣ силы прошептать:

— Отпираться смѣшно, суди меня какъ хочешь.

Я отвѣчалъ, что требую ея выѣзда изъ моего дома черезъ день, черезъ два, самое большее. Она кивнула головою и что-то сказала въ отвѣтъ. Мы говорили почти шопотомъ, точно подавленные тою тяжестью, которую взвалила на наши плечи судьба. Затѣмъ жена спросила меня, куда же намъ дѣть ребенка? вѣдь нельзя же его бросить на произволъ? Я отвѣчалъ, что мнѣ все равно, пусть она беретъ его съ собою или оставить у меня, мнѣ все равно; я говорилъ шопотомъ, со спазмами въ горлѣ, что если я и она такіе гнусные самецъ и самка, то пусть гибнутъ волчата, мнѣ нѣтъ до нихъ никакого дѣла. Я медленно двинулся изъ спальни, но на порогѣ снова остановился, услышавъ за спиною ея зовъ. Я подождалъ, но ничего не услышалъ и ушелъ.

Въ кабинетъ Аркадскій ждалъ меня и стоялъ у лѣваго бока стола; я остановился у противоположнаго и сказалъ, что очной ставки не потребуется, но все-таки я готовъ уплатить по уговору. Я досталъ нѣсколько пачекъ денегъ и вручилъ ихъ Аркадскому, прося сосчитать. Въ пачкахъ кажется около трехъ тысячъ, но пусть онъ сосчитаетъ. Онъ аккуратно принялся считать и стоялъ все также бокомъ ко мнѣ. Вокругъ сразу стало тихо и воздухъ кабинета сперся до невозможнаго напряженія. А я глядѣлъ попеременно то на красные и волосатые пальцы Аркадскаго, считавшіе ассигнаціи, то на револьверъ, лежавшій на столѣ. И мою голову снова засверлила давишняя мысль. Я думалъ. Если отвратительные образы живутъ въ нашихъ сердцахъ и воплощенію ихъ мѣшаетъ лишь то идеальное, что привито намъ гениями человѣчества, т. е. вырожденіями его, уродами, такъ сказать, привито насильно, помимо нашего желанія, какъ прививаютъ быкамъ сибирскую язву, то не лучше ли намъ отрѣшиться отъ этого

насиленно привитого, отрѣшиться до послѣдней нитки, безъ всякаго остатка, и смѣло идти вслѣдъ за каждымъ желаніемъ, за каждымъ вожделѣніемъ? А если такъ, то почему бы мнѣ не истребить этого червя съ волосатыми пальцами, чтобы онъ не выболталъ мой тайны гдѣ нибудь въ кабацѣ? Вѣдь это червь, ничтожный червь, и кому нужна его жизнь? Воздухъ кабинета спирался до головокруженія и я удивляюсь, какъ Аркадскій не чувствовалъ этого, какъ онъ могъ не чувствовать, что каждая вещь кабинета уже громко кричала объ убійствѣ. Но онъ ничего не замѣчалъ, считалъ деньги и не глядѣлъ на меня. И вдругъ онъ упалъ съ краснымъ пятномъ на вискѣ, задѣвая за столъ и стулья. Какъ попалъ въ мои руки револьверъ,—я не помню.

Вотъ и вся моя исповѣдь. А потомъ снова началась пытка; а потомъ ко мнѣ пришла старушка въ коричневомъ платьѣ, мать убитаго. Она плакала, сморкалась въ скомканный платочекъ и говорила, что она любила его, этого червя; что онъ былъ хорошій сынъ и присылалъ ей на прожитокъ ежемѣсячно по 15 руб., а послѣдніе мѣсяцы (изъ тѣхъ, стало быть, ужасныхъ денегъ?) по двадцати пяти. Она удивлялась, какъ моя пуля могла поразить его, когда на его груди въ ту минуту висѣла ладонка съ рукавичкою отъ Митрофанія, которую она зашила ему, когда онъ отъ нее уѣзжалъ. И она жалобно вела, какъ маленькая собаченка, и всѣ морщины ея маленькаго лица были полны слезъ. И этотъ вой застрѣлъ въ моихъ ушахъ и цѣлыхъ 12 лѣтъ я всюду носилъ его за собою, не въ силахъ разобраться въ этой удивительной путаницѣ. Но теперь я, кажется, начинаю кое-что понимать и твердо рѣшился, рѣшился»...

На этомъ рукопись обрывалась.

БЛАГОДАТНОЕ НЕБО.

(СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ).

Передъ иконою Владычицы Благодатное Небо горитъ лампада. Это любимая икона въ домѣ сельскаго дьякона Звениградова, да къ тому же сегодня первый день Рождества, а завтра—день Владычицы. Въ спальнѣ тихо. На дворѣ вечеръ — звонкій, зимній вечеръ, когда скрипъ шаговъ слышенъ чуть не за версту. Дѣти—у дьякона ихъ трое—спятъ. Мать дьяконица Марья Константиновна, двадцатилѣтняя, женщина съ ласковыми карими глазами, сидитъ у стола и штопаетъ дѣтскій чулокъ. Порою она отрывается отъ работы и внимательно прислушивается къ тихому посвистыванью трехъ носиковъ. Старшему носику три года; второму—два; оба эти носа спятъ въ кроваткахъ; а третій,—третій пока подвѣшенъ къ потолку, на желѣзный крюкъ, какъ подвѣшиваютъ лампу, но не пугайтесь, читатель, конечно, въ люлькѣ. Этому носу всего два мѣсяца. Средній носъ зовется Назаріемъ, меньшой—Саввушкою. Назарій—любимецъ отца дьякона. Частенько онъ сажаетъ его верхомъ на свою длинную шею и торжественно выноситъ изъ спальни въ слѣдующія ком-

наты къ неописуемой радости младенца. Это путешествіе отецъ дьяконъ называетъ хожденіемъ мученика Назарія въ пустыни аравійскія на верблюдѣ. И дьяконъ правъ, ибо его квартира (за исключеніемъ спальни, конечно) дѣйствительно напоминаетъ своимъ видомъ пустыню. Спальня же въ домѣ дьякона по плотности населенія скорѣе походитъ на Бельгію.

Вспоминая хожденія мученика Назарія, Марья Константиновна улыбается и думаетъ о мужѣ. Мужъ у нее хорошій, добрый, молодой, немножко её побаивается. Сейчасъ его нѣтъ дома, онъ уѣхалъ въ гости къ мельнику Аверьянову и давно уже долженъ быть дома; однако, его всё нѣтъ. Навѣрное, онъ явится домой поздно, немножко съ мухою и будетъ просить у нее прощенье. И она его проститъ, хотя, собственно, отца дьякона прощать не слѣдовало бы. Но у нее такой ужъ характеръ!

Марья Константиновна перекусываетъ красную шерстинку ровными, бѣлыми зубами и продолжаетъ работу. Ея спокойное лицо снова освѣщается думами.

Живутъ они хорошо. Мать-дѣвонца жизнью своею довольна. Немножко бѣдновато, но что же дѣлать? Вотъ если черезъ годъ у нее снова будетъ ребенокъ, тогда придется туго. А ребенокъ, навѣрное, будетъ. Очевидно, Господь благословилъ её дѣтьми. Она четыре года замужемъ и у нея уже трое. Марья Константиновна вновь перекусываетъ нитку и кладѣтъ на столъ заштопанный чулокъ. Она начинаетъ припоминать, нѣтъ ли ещё какой работы, но въ это время изъ средней кровати раздаѣтся горькій плачь; плачетъ Назарій и Марья Константиновна испуганно бросается къ нему. Дѣло оказывается перво-степенной важности: Назарій увидѣлъ во снѣ «стрень-юзу» и не обыкновенную стрекозу, а «съ рогомъ на хво-

стѣ». Увидѣвъ такое чудовище, можно умереть, но Назарій не умираетъ, а только плачетъ. Мать утѣшаетъ его, ласково похлопываетъ рукою по его спинкѣ и говоритъ, точно баюкаетъ:

— П-ш-ш, бай - бай... Будешь умнымъ, поѣдешь съ отцомъ... въ пустыню аравійскую...

При воспоминаніи объ аравійской пустыни лицо младенца внезапно освѣщается; онъ закрываетъ глаза подъ лобъ, снова ставитъ ихъ не безъ труда на подобающее имъ мѣсто, но глаза снова уходятъ въ высь и Назарій спитъ. Марья Константиновна тихонько покрываетъ его горячее тѣлце одѣяломъ, любовно креститъ насупившійся лобикъ и идѣтъ въ прихожую, гдѣ слышится постукиванье чьихъ - то ногъ. Въ прихожей стоитъ дѣвочка въ длинномъ платкѣ, покрывающемъ её до пятъ. Дѣвочка придерживаетъ платокъ подъ самымъ подбородкомъ тонкими пальчиками и говоритъ:

— Матушка, сдѣйте милость, мамынька просила, братецъ Финогеша животомъ помираетъ...

Изъ ея словъ Марья Константиновна понимаетъ, что братецъ Финогеша, которому исполнилось сегодня четыре дня, кричитъ весь вечеръ, не закрывая рта, и что ему нужно какъ нибудь помочь. Она прячетъ въ карманы кой-какія лекарства отъ болей желудка, накидываетъ бѣличью шубку и сперва заходитъ въ кухню сказать кухаркѣ, чтобы та посидѣла въ ея отсутствіи въ спальнѣ. А затѣмъ, въ сопровожденіи дѣвочки, она идѣтъ снѣжною улицею села къ плачущему ребѣнку.

Черезъ мнѹтѹ она стоитъ въ избѣ, изъ каждаго угла которой вѣетъ нуждою. Худая баба съ фіолетовыми бликами подъ глазами показываетъ ей ребѣнка; ребенокъ крутитъ ножками и кричитъ, а баба плаксиво говоритъ:

— Матушка Владычица, какже ему не плакать? Молока у меня званья нѣтъ; молоко, сударушка, пропало. Ребенокъ цѣльный день не ѣмши, не пимши. Пожевала я ему хлѣбца, сдѣлала соску, только возьмётъ онъ, пососѣтъ, пососѣтъ и сейчасъ же назадъ отыгаетъ, душа не принимаетъ...

Марья Константиновна глядитъ на бабу широко раскрытыми глазами. «Господи», думаетъ она: «неужто ребенокъ долженъ умереть съ голода?»

Она смотритъ на ребенка. Маленькое и худенькое тѣлце всё вѣется въ невыносимыхъ страданіяхъ голода и жажды. Голосокъ перехватило отъ натуги, а изъ блѣдныхъ губокъ рвется сиплое взвизгиванье. Онъ корчится, какъ на огнѣ.

«За что такія муки?» думаетъ Марья Константиновна съ болью въ сердцѣ.

— Нѣтъ ли у васъ рожка? — спрашиваетъ она: — можно бы вскипятить коровьяго молока, хотя это и не совсѣмъ хорошо для такого крошки...

— Какіе у насъ рожки, Владычица!.. — стонетъ баба.

У нихъ нѣтъ рожковъ. У нихъ нѣтъ ничего, кромѣ нужды, такой нужды, что брезгуешь присѣсть, да вотъ этого ребячьяго визга, который сверлитъ уши, какъ буравомъ. «Ахъ, Финогеша, Финогеша», думаетъ дѣконица съ влагою на глазахъ.

— Вотъ что, — поспѣшно говорить она: — я его сейчасъ покормлю грудью.

— Ой? — съ недоумѣніемъ вскрикиваетъ баба.

— Да конечно же! Вѣдь этого же нельзя, чтобъ ребенокъ умеръ съ голода. А у меня молока, слава Богу, Саввушкѣ хватить...

Она поспѣшно разстегиваетъ ситцевый лифчикъ, при-

вычнымъ движеніемъ плеча высвобождаетъ грудь и, прикрывъ её шубкою беретъ къ себѣ плачущаго Финогешу.

Въ избѣ дѣлается тихо. Крики не сверлятъ больше ушей, тѣльце ребенка не содрагается отъ болей. У полной и бѣлой груди слышится счастливое посапыванье, видны отуманенные глазки и свёрнутый въ трубочку розовый язычекъ. Финогеша зарываетъ свое личико въ грудь. Марья Константиновна сидитъ, притихшая и склонивъ голову, глядитъ на ребенка, а всё ея лицо освѣщено тихимъ и безмятежнымъ счастьемъ. Она слегка покачиваетъ его почти инстинктивными движеніями.

— У меня молока ужасъ сколько, — попотомъ сообщаетъ она бабѣ съ фіолетовыми подглазниками: — ежели я съ часъ не покормлю, въ рубашку стекаетъ. Видишь, сытѣхонекъ!

И она съ ласковою гордостью киваетъ головою на Финогешу.

Когда нужно уходить, дьяконица долго не находитъ своего платка и ещё чего-то. Она заглядываетъ во всё углы и совсѣмъ не глядитъ на Финогешу. Наконецъ, она говоритъ:

— А я вотъ что нѣдумала. Я Финогешу къ себѣ на ночь возьму. Его надо будетъ ещё покормить ночью.

— Ой? — вскрикиваетъ съ недоумѣніемъ баба.

— Да конечно же. Я своему четыре раза въ ночь грудь даю. Меньше этого нельзя.

И она уноситъ съ собою Финогешу, прикрытаго у ея благодатной груди бѣличьею шубкою. На улицѣ её догоняетъ баба; она плаксиво хнычетъ носомъ, припадаетъ лбомъ къ снѣгу и долго бормочетъ что-то непонятное на

неизвѣстномъ нарѣчїи. Кажется, она благодарить Марью Константиновну.

Между тѣмъ, дьяконица приноситъ Финогешу къ себѣ въ теплую спальню. Дьякона все еще нѣтъ. Она кладетъ ребенка къ себѣ на постель и думаетъ:

— Какже я возвращу Финогешу завтра? Развѣ завтра у его матери появится молоко? Нужно будетъ кормить его до тѣхъ поръ, пока его мать не поправится. Да конечно же, — шепчетъ Марья Константиновна, поглядывая на ребенка: — вѣдь у меня же молока славу Богу!

Финогеша сладко посапливаетъ на ея постели, а она снова садится къ столу за работу. Теперь у нее прибавилось заботы и ей не надо лѣниться. Притомъ шаровары Назарїя оказываются сильно потрепанными, вѣроятно отъ частой ѣзды верхомъ на верблюдѣ, и ихъ нужно зачинить. Однако, ея работа клеится плохо: то просыпается богатырь Саввушка, который баситъ, какъ протодьяконъ, то плаксиво хнычетъ Финогеша. Въ концѣ концовъ, до нельзя измученная, она хочетъ помолиться, чтобы ложиться затѣмъ спать, и не можетъ; языкъ не повинуется ей; она дремлетъ здѣсь же у стола, на стулѣ, свѣсивъ руки и выронивъ шаровары Назарїя. Во снѣ она видитъ, что у ея груди лежатъ Финогеша и Саввушка, первенецъ Никодимъ и Назарїй и еще какія-то вѣроятно, будущія ея дѣти; и всѣхъ она кормитъ своею грудью и чувствуетъ, какъ, вмѣстѣ съ молокомъ, изъ ея груди течетъ что-то благодатное и теплое, что насыщаетъ жадно раскрытые роты и доставляетъ ей неизъяснимое блаженство. И она улыбается сквозь сонъ.

Въ спальнѣ тихо. Передъ образомъ Владычицы Благодатное Небо горитъ лампада и она вся сіяетъ сверху до

низу. Въ кивотѣ тоже тихо. Угодники, окружающіе Владычицу, безмолвствуютъ. Свѣтъ лампы бродитъ по строгимъ лицамъ, мѣняя ихъ выраженіе, и они глядятъ то строго, то ласково, то уныло...

Когда отецъ дьяконъ, наконецъ, является домой, онъ долго стоитъ въ пустыни аравійской, не рѣшаясь идти въ спальню. Онъ чувствуетъ за собою вину, большую вину; сегодня онъ проштрафился больше чѣмъ всегда. Однако, онъ набирается мужества, осторожно, на цыпочкахъ крадется къ двери спальни и припадаетъ къ щели глазомъ. По его лицу ползетъ улыбка. Мать-дьяконица спитъ. Это хорошо. Но что это тамъ бѣлѣется на постели? Сладчайшій Іисусе, это младенецъ, новорожденный младенецъ!

Дьяконъ въ испугѣ отскакиваетъ отъ двери, но тотчасъ же снова припадаетъ къ ней глазомъ.

Да, это не Саввушка, это новорожденный младенецъ. Ужели? ужели мать-дьяконица стала родить уже черезъ два мѣсяца? Сколько же у него будетъ дѣтей лѣтъ черезъ двадцать, если она и впредь будетъ поступать также? Дьяконъ выпрямляется во весь ростъ и, сосредоточенно приставивъ палецъ ко лбу, погружается въ математическія вычисленія.

И вдругъ палецъ дьякона отскакиваетъ ото лба, какъ отъ раскаленнаго желѣза. Онъ сообразилъ. Черезъ двадцать лѣтъ у него будетъ 124 человѣка дѣтей.

И дьяконъ въ ужасѣ шепчетъ:

— О, Іисусе, о, Сладчайшій! Чѣмъ же я насыщу утробы сего песка морскаго?..

ОПТИМИСТЪ И ПЕССИМИСТЪ.

Зной невыносимый. Плоская равнина у Колтуевских колодцевъ вся выжжена солнцемъ. Три колодца высоко торчатъ въ воздухъ своими долговыми журавлями и издали напоминаютъ собою трехъ пасущихся жирафовъ, основательно высушенныхъ голодомъ. Тишина вокругъ мертвая. Кажется, что все живое сгорѣло въ лучахъ солнца и превратилось въ блескъ и зной. Изъ тощихъ кустиковъ красного тальника, торчащаго у пыльной дороги, столбомъ вымахнетъ порою грачъ, но, сдѣлавъ въ горячемъ воздухѣ нѣсколько неловкихъ алюровъ, снова комкомъ падаетъ въ кустъ, точно опаливъ себѣ крылья. Въ полѣ вся рожь свернулась клубками и, согнувъ стебель, какъ горбатую спину, прячетъ отъ солнца колось. А овесъ безпомощно растопырилъ жидкую кисть и напоминаетъ своимъ взъерошеннымъ видомъ обнищавшаго мужиченка. Сразу видно, что ему приходится до-нельзя туго.

И вся эта плоская равнина, свалившаяся въ клубки рожь и взъерошенный овесъ—совершенно неподвижна и безмолвна. Только у трехъ колодцевъ замѣтно нѣкоторое оживленіе. Здѣсь, у этихъ колодцевъ, гдѣ скрещиваются двѣ дороги, вѣчно ютятся прохожіе странники и богомолки,

«путешествующіе и недугующіе», и земля около ихъ полусгнившихъ срубовъ, вся выбитая сапогомъ и лаптемъ, безжизненна, какъ камень.

Въ настоящую минуту у колодца въ сидятъ, завтракая изъ деревянныхъ чашечекъ, два человѣчка. Одинъ изъ нихъ точильщикъ, другой — книгоноша. Это видно по точильному станку и по коробу съ книгами, которые каждый изъ нихъ принесъ съ собою. Точильщикъ зоветъ книгоношу Пономаремъ, а книгоноша точильщика — Костенигоу. Познакомились они тутъ же у колодца всего нѣсколько минутъ тому назадъ и теперь за завтракомъ ведутъ бесѣду. По выраженію ихъ лицъ, по разговоръ и даже по ихъ позамъ сразу видно, что Пономарь отчаянный пессимистъ, а Костенига, напротивъ, ярый оптимистъ.

Костенига расположился съ нѣкоторымъ комфортомъ, подстеливъ подъ себя свернутый кафтанъ и привалившись спиною къ своему станку. Ростомъ онъ не высокъ, но преземистъ и видимо пользуется присутіемъ цѣловья.

Пономарь же принадлежитъ къ разряду техъ людей, которыхъ обыкновенно называютъ «караулинами». Онъ долговъ и тонокъ; лицо его, землистаго цвѣта и худощавое, скошено въ брезгливую гримасу, точно онъ страдаетъ катаромъ. И сѣлъ онъ на углы своего короба въ самой неудобной позѣ, какъ будто нарочно желая доставить себѣ нѣсколько неприятныхъ минутъ. Даже свой несложный завтракъ они приготавливали каждый по своему, такъ что уже по однимъ этимъ приготовленіямъ можно было догадаться о міровоззрѣніи того и другого. Костенига готовился къ ѣдѣ не безъ удовольствія. Онъ аккуратно сполоснулъ свою чашечку, зачерпнулъ воды сколько нужно, ни больше, ни меньше, аккуратно накрошилъ по

жичкомъ хлѣба и лучку, а всю эту смѣсь полить коноплянымъ масломъ, расплывшимся по водѣ зелеными звѣздами. Пономарь же чашки своей не споласкивалъ, воды зачерпнулъ срыву, сколько попало, и, вырвавъ изъ своего каравая одинъ мякишъ, сердито швырнулъ его на дно чашки. Вообще, всѣми движеніями онъ какъ будто хотѣлъ сказать:

— А, чертъ его побери, какъ бы не ѣсть, лишь бы ѣсть!

Улыбаются они тоже каждый по своему. Костенига хочетъ всѣмъ лицомъ и даже носомъ, который у него отъ улыбки весь какъ-то вывертывается кверху. А Пономарь улыбается криво, только одною половиною губъ, между тѣмъ какъ другая половина совершенно не сочувствуетъ первой и даже какъ будто въ сильной на нее претензіи за это.

Пономарь ѣсть почти съ отвращеніемъ и съ отвращеніемъ говорить:

— И бабъ и мужиковъ я, Костенига, презираю; отъ бѣлаго свѣта у меня съ души претъ, а когда я мальчишку или дѣвчонку вижу, такъ у меня руки чешутся за вихры ихъ отодрать. Знаю я, Костенига, что изъ кажнаго мальчишки либо жуликъ либо шалопай выйдетъ, а изъ дѣвчонки потаскушка или дурья голова.

Пономарь болѣзненно кривитъ губы. Его носъ тоже кривится и кажется, что онъ хочетъ понюхать, чѣмъ пахнетъ его лѣвая щека.

— Господи, до чего въ тебѣ горечи! — вскрикиваетъ Костенига и вылизываетъ съ ложки зеленныя звѣзды масла.

— Вонъ онъ бѣлый свѣтъ-то, — продолжаетъ Пономарь, криво улыбаясь: — погляди на него, полюбуйся!

Очень хорошгъ! Солнце всю траву съѣло, поля плѣшивыя стоятъ, по дорогамъ пыль въ носъ лѣзетъ. Живописно!

Пономарь сердито суетъ себѣ подъ усы ложку, Костенига со вкусомъ хлебаетъ свою тюрю.

— Что-жъ, если и пыль? — наконецъ выговариваетъ онъ: — отъ пыли-то бываетъ, какъ отъ табаку — прочи-хаешься. Оно даже пріятно другой разъ!

— Пріятно, — передразниваетъ его Пономарь: — пріятно! Солнце весь хлѣбъ сожретъ, голодъ зимой будетъ, помни ты мое слово! Ребятишки съ голода синѣть станутъ, бабы рады будутъ младенцевъ своихъ жрать, мужиковъ перемретъ видимо-невидимо! Вотъ тебѣ и пріятно будетъ. Пріятно! — снова гримасничаетъ онъ.

Голосъ Пономаря звучить торжественно. По лицу Костениги проходить темное облако; онъ испуганно поднимаетъ голову къ небу и минуту молчить, точно окаменѣвъ. Но внезапно его лицо какъ бы освѣщается.

— Голоду не будетъ, — авторитетно заявляетъ онъ: — завтра дождь упадетъ. Рожъ самъ-двадцать уродится, овесъ въ избу ростомъ вымахнетъ и, глядишь, мужики зимой себѣ еще золотые часы покупать станутъ. Пермяки же покупали!

Пономарь слушаетъ его и улыбается одною половиною губъ, между тѣмъ какъ другая ихъ половина какъ будто даже хочетъ укусить первую.

— Часы мужикамъ не нужны, — возражаетъ онъ: — воровать ночью ходятъ, а ночью все равно: который часъ — не разглядишь!

Онъ сердито выплескиваетъ изъ своей чашки воду и остатокъ мякиша. Костенига тоже прячетъ чашку, ложку и каравай хлѣба въ мѣшокъ.

Между тѣмъ, временами зной умѣряется; свѣтлый дискъ

солнца закрывается порою легкой как паръ тучкой. Въ полѣ сразу дѣлается прохладнѣе; рожь какъ будто нѣсколько выпрямляется; кое-гдѣ неувѣренно и робко выглядываетъ колосокъ, кое-гдѣ скрипнеть кузнечикъ. Но тучка быстро сгораетъ въ огнѣ солнца и зной попрежнему начинаетъ накаливать землю. Рожь снова прячетъ свой колосъ и кузнечикъ умолкаетъ.

Эти перемены настроеній походятъ на нѣкоторую борьбу. Природа какъ будто попеременно принимаетъ то сторону Пономаря, то сторону Костениги.

— Золъ ты, охъ, какъ золъ! — вздыхаетъ Костенига, обращая свое курносое лицо къ Пономарю.

Тотъ небрежно свертываетъ цыгарку.

— Не отъ чего мнѣ добрымъ-то быть, — говоритъ онъ съ гримасою. — Прожилъ я на свѣтѣ сорокъ годовъ и всѣ сорокъ годовъ меня людишки и вдоль и поперекъ, такъ ихъ растакъ, шпыняли. Всего, собаки, изъѣздили! Ребенкомъ родители меня сроду никогда пальцемъ не тронули, уму-разуму отродясь не учили, точно я имъ чужой былъ. А во мнѣ разумъ-то можетъ какъ въ другомъ камергерѣ былъ. Женился я по своей доброй волѣ на голой дурѣ, прельстившись на ея харю. А родители мои тутъ какъ тутъ: «Съ радостью васъ, сыночекъ, благословляемъ и всего наилучшаго вамъ, сыночекъ милый, желаемъ!»! Женился я и жена мнѣ на другой же мѣсяцъ хуже горькой рѣдьки опостылѣла, потому что она только всего и дѣлала, что въ глаза мнѣ какъ собака глядѣла. Пробовалъ я съ нею и такъ и эдакъ. Лежу, бывало, цѣлую недѣлю на печкѣ, а она хоть бы что, за двоихъ одна въ полѣ управляется и ни словечка не скажетъ, словно ей работа чистый сахаръ. Пробовалъ я по цѣльнымъ ночамъ по кабакамъ прогуливать и тутъ ничего не вышло. Молчитъ моя

женушка, какъ аспидъ! Приду я изъ кабака домой, она и не взглянетъ косо, а знай свои холсты какъ дура ткеть. И ни словечка! Пропадалъ я изъ дому на годъ, а то на два,—она на чужихъ мужиковъ и не взглянетъ ласково. Однимъ словомъ, камень безчувственный, а не человѣкъ! Пропилъ я тутъ съ горя все, что послѣ моихъ родителей мнѣ осталось, и нанялся къ камеръ-юнкеру Ашметьеву въ приказчики на 120 рублей въ годъ жалованья и его харчъ. Жить я у него, смотри, года два. Вижу я только, баринъ совсѣмъ неподходящій, въ хозяйскихъ дѣлахъ ни уха, ни рыла не смыслить и началъ я у него жалованье все впередъ и впередъ забирать. Чувствую, баринъ не нынче завтра въ банкроты выйдетъ, такъ лучше, думаю, себя за раньше времени обезпечить, чтобы отъ него какого обмана не произошло. И продалъ я у него тихомолкомъ 25 шкирдъ оржаного хлѣба прямо изъ поля. Все равно, думаю, пропадутъ за нимъ мои денежки рано поздно. Только спохватился тутъ баринъ и на меня въ судъ. Однако, судьи меня, такъ ихъ растакъ, оправдали. Занялся я послѣ этого книгами, но только, конечно, дуракамъ книги не нужны и теперь у меня въ карманѣ единственный гривенникъ!

Пономарь съ отвращеніемъ плюетъ на окуркъ, далеко зашвыриваетъ его въ кусты и съ кривою усмѣшкою умоляетъ. Говорить начинаетъ Костенига. Говоритъ онъ съ восхищеніемъ, захлебываясь и вздергивая вверхъ свой носъ, а иногда даже брызжетъ слюною.

— Ая отъ людей окромѣ хорошаго ничего не видалъ,—говоритъ онъ. — Нужно сказать правду. Родители мои, царство имъ небесное, меня, можно сказать, ежеминутно драли, уму-разуму наставляли, меня блюли! Не покладая рукъ, можно сказать, др-р-али, за что имъ отъ меня по

гробъ жизни моя сыновняя бла-а-дарность и вѣчный поминъ.

Костенига набожно снимаетъ промасленную фуражечку, набожно крестится и продолжаетъ:

— Женили они меня силкомъ и я отъ жены моей спервоначалу цѣльный мѣсяцъ въ старый овинъ прятался. Конечно, глупъ былъ и счастья своего не понималъ. Жена моя личикомъ не совсѣмъ аккуратна вышла: работата она и носикъ у нея манѣхонько на лѣвую сторону фальшитъ. Однако, прожили мы съ нею годъ, два, стерпѣлись, съюбились. Баба она хоть и лѣнивая, но добрая. Конечно, и она, признаться, не безъ грѣха. Случится мнѣ когда надолго уйтить, такъ у нее тамъ свои бабы дѣта съ парнями бывають; трое ребятокъ у меня, признаться, кто ее знаетъ—отъ кого. Хотя пожаловаться грѣхъ, ребятки изъ себя крѣпенькіе. Только прожили мы съ ней и бѣднѣе стали. Работалъ я, можно сказать, какъ волъ, да пожары насъ обездолжили. Что ни годъ,—горимъ, милый ты человекъ! подумалъ я, подумалъ и нанялся къ купцу Проскудину въ рабочіе за сорокъ за пять рублей въ годъ. Въ первый же годъ не додалъ мнѣ Проскудинъ десять рублей. Нанялся я къ нему на другой годъ за тридцать за восемь. Очень ужъ онъ уступить просилъ, да и я думаю, все равно онъ мнѣ не додать сколько ему хочется можетъ, такъ чего же мнѣ самого-то себя зря обманывать. Не додалъ онъ мнѣ, дѣйствительно, за второй годъ всего на всего рупь сорокъ. Нанялся я къ нему на третій годъ. И случись тутъ грѣхъ. Пропали изъ табуна изъ Проскудинскаго двѣ лошади, что ни на есть лучше, и какъ-то тамъ вышло, что я кругомъ виноватъ оказался. Подаль на меня Проскудинъ въ судъ. Конечно, ему со стороны-то не видно, я ли виноватъ или кто дру-

гой, но только, милый ты человекъ, не трогай я лошадей Проскудинскихъ даже пальцемъ. Осудили меня въ судѣ на шесть мѣсяцевъ въ острогъ. Въ судѣ-то тоже, конечно, не разобрать, я ли виноватъ или другой кто. Отсидѣлъ я, голубъ ты мой, въ острогѣ пять мѣсяцевъ и вдругъ дезорюція: «Костенигу ослобонить — настоящий воръ объявился!»

— Вотъ она правда-то матушка, — добавляетъ Костенига съ восхищеніемъ на всемъ лицѣ: — и въ огнѣ не горитъ и въ водѣ не тонетъ! Рано ли, поздно, а свое скажетъ! Да! скажетъ!

Глаза Костениги глядятъ восторженно, все его лицо сіяетъ и даже какъ-то хорошеетъ. Съ минуту онъ молчитъ, подавленный величіемъ правды, и затѣмъ продолжаетъ:

— Въ скорости послѣ этого началъ я по деревнямъ ходить, точить у добрыхъ людей ножи, ножницы. На судьбу свою мнѣ пожаловаться нельзя, сытъ я и обутъ, всякое довольствіе имѣю, и по сейчасъ у меня въ кошнѣ, ни много, ни мало, десять рублей конейка въ копеечку!

— Такъ-то, голубъ, — добавляетъ Костенига и хлопаетъ рукою по лѣвому карману.

Пономарь косится на его карманъ съ ненавистью.

Они умолкаютъ и долго сидятъ въ неподвижныхъ позахъ, каждый со своею думою. Наконецъ, Пономарь слѣзаетъ съ короба и ложится соснуть прямо на землю, только слегка отвернувъ отъ солнца лицо. Костенига слѣдуетъ его примѣру и укладывается въ тѣнь своего то-та. Черезъ минуту они оба какъ будто забываются. Вокругъ дѣлается тихо.

Между тѣмъ, изъ красныхъ прутьевъ тальника не-ловко вылетаетъ грачъ и садится недалеко отъ того

мѣста, гдѣ валяется выброшенный Пономаремъ мякишъ. Мякишъ, очевидно, нравится грачу; грачъ косится на него однимъ глазомъ и начинаетъ тихонько приближаться къ нему, припрыгивая бокомъ.

— Кшишъ, подлый! — кричитъ Пономарь, открывая глаза, и отпугиваетъ птицу рукою.

Его лицо перекашивается отъ гнѣва и боли. Видъ у него положительно страдающій.

— Кшишъ, подлюга! — кричитъ онъ: — Воры, знаемы! Готовники, такъ васъ растакъ!

Грачъ взлетаетъ и садится на пыльную дорогу, косясь на мякишъ. Костенига поднимается со своего мѣста, подходитъ къ мякишу и отшвыриваетъ его носкомъ сапога поближе къ грачу.

— Кушай, сердяга! — угощаетъ онъ грача.

Грачъ торопливо схватываетъ мякишъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ въ красныхъ прутьяхъ тальника.

Костенига снова укладывается въ тѣнь своего точила и говоритъ, укоризненно крутя головою:

— Сколько въ тебѣ горечи, Пономарь, сколько горечи. Птица — и та тебѣ мѣшаетъ!

Пономарь возится на солнцепекѣ.

— Да на что онъ нуженъ, грачъ-то твой? И подохнетъ, такъ никто не почешется.

— Грачъ нуженъ, — авторитетно заявляетъ Костенига: — грачъ вреднаго червя ѣстъ.

— Ну, а вредный червь на что нуженъ? — позѣвываетъ Пономарь и кривитъ губы.

— И вредный червь нуженъ, — говоритъ Костенига и на минуту умолкаетъ: — вредный червь нуженъ, чтобъ его грачъ ѣлъ!

И они оба снова умолкаютъ, утомленные зноемъ. Солнце

попрежнему накаливает безмолвную равнину. Костенига вскорѣ начинает весело посвистывать носомъ. Пономарь приподнимаетъ землистое лицо и долго глядитъ на спящаго. Затѣмъ онъ неловко встаетъ на долговязыя ноги, подходитъ къ спящему, осторожно лѣзетъ рукою въ его лѣвый карманъ и вытаскиваетъ оттуда кошелекъ Костениги. Костенига улыбается сквозь сонъ и Пономарь, съ ненавистью оглядывая его улыбку, думаетъ:

— У него деньгѣ воруютъ, а онъ, тля паршивая, улыбается еще! Эхъ, ты! Кабы знать, что не проснешься, дажь бы я тебѣ тумака въ рыло! У меня посмѣялся бы тогда!

Пономарь сердито считаетъ деньгѣ въ кошелекъ Костениги и прячетъ кошелекъ въ свой карманъ. Затѣмъ онъ беретъ коробъ и мрачно удаляется пыльною дорогою. Когда Костенига открываетъ глаза, Пономарь уже далеко, но его еще видно. Костенигѣ и онъ весело кричитъ ему вслѣдъ:

— Проща-а-й, дру-у-гъ! Когда нибудь може свидимся, голу-у-бъ!

Пономарь оборачивается къ нему и машетъ рукою, какъ будто желая сказать:

— Ну, тебя, провались ты совсѣмъ, анаеема!

А Костенига, желая закурить на дорогу, лѣзетъ въ карманъ и не находитъ тамъ кошелька. На лицѣ его отражается безпокойство. Онъ мечется туда и сюда, но кошелекка нѣтъ, какъ нѣтъ. Наконецъ, онъ заглядываетъ въ колодець и думаетъ:

— Смотри, въ колодець кошелекъ обронилъ, когда воду черпалъ!

Однако, онъ обезкураженъ; нѣсколько минутъ онъ грустно чешетъ въ затылкѣ, чмокаетъ губами и глядитъ

Коська стоялъ, глядѣлъ на востокъ и улыбался. Собственно улыбались одни только его сочныя и крупныя губы, потому что въ его узенькихъ и сѣрыхъ глазахъ было такъ же много выраженія, сколько его бываетъ обыкновенно въ оловянныхъ пуговицахъ. Коська—дуракъ. Поэтому-то этого здороваго, сложенного, какъ геркулесъ, парня, не смотря на его двадцать пять лѣтъ, называютъ во всемъ околodкѣ по просту Коською, а иногда съ добавленіемъ дуракъ—Коська-дуракъ. Онъ все еще смотрѣлъ на востокъ. Солнце играло на его рыжеватыхъ волосахъ, отыскивая въ нихъ совершенно золотыя нити, и освѣщало все его хорошо выкормленное лицо со множествомъ веснушекъ, походившими на пятна, какія бываютъ на вороньихъ яйцахъ. Коська смотрѣлъ на ветловую рощицу. И вдругъ онъ громко заржалъ и весело подпрыгнулъ на мѣстѣ. По его лицу прошло выраженіе полнѣйшаго удовольствія. Даже въ его оловянныхъ глазахъ мелькнуло что-то похожее на мысль. Онъ снова весело подпрыгнулъ, замахалъ рукою и глухо расхохотался. Смѣхъ у него былъ громкій, но глухой, точно онъ смѣялся не грудью, а животомъ. При этомъ онъ скалилъ свои крѣпкіе и ровные, но низкіе, какъ у травояднаго животного, зубы и дѣлалъ ртомъ «гы-гы-гы!»

Онъ хохоталъ и смотрѣлъ на востокъ. Тамъ у ветловой рощицы стояла женщина, насколько позволяло разсмотрѣть разстояніе, молодая и красивая. Она сдѣлала Коськѣ ручкою и кивнула головою на рощицу. Коська увидѣлъ это и совершенно обезумѣлъ отъ радости. Онъ упалъ на землю, сталъ кататься и кувыркаться по травѣ, хохоталъ и дѣлалъ ртомъ «гы-гы-гы». Двѣ курицы, сосредоточенно взгребавшія у его ногъ землю, съ неистовыми вскрикиваньями, вытянувъ шеи и хлопая крыльями

понесли прочь. А Коська все катался по землѣ и гоготалъ. Наконецъ, онъ какъ бы утомился и поднялся на ноги. Затѣмъ, всё еще рыча отъ удовольствія, онъ — посмотрѣлъ на ветловую рощицу. Женщина все стояла тамъ; она снова сдѣлала ручкою и снова кивнула ему головою. Коська замахалъ ей рукою, какъ бы въ знакъ того, что сейчасъ придетъ, и затѣмъ, припрыгивая, бросился къ домику. Въ кухнѣ онъ едва не спибъ съ ногъ кухарку Лукерью, тонкую и долговязую бабу съ коричневою шеєю, крѣпкою какъ дубовая вѣтка. Пробѣжавъ кухню, онъ ринулся въ сосѣднюю комнату, опрокидывая на бѣгу стулья. Тамъ онъ набросился на конторку. Онъ хотѣлъ отпереть ее, но ключъ куда-то запропастился и не подвертывался подъ руку. Тогда онъ просто на просто выломалъ ея покату ю крышку, занозивъ и ободравъ свои руки. Изъ конторки онъ выгребъ всё имѣвшіяся тамъ деньги, серебро, мѣдъ и бумажки, и разсовавъ ихъ по карманамъ своихъ нанковыхъ панталонъ, съ радостнымъ ворчаніемъ, похожимъ на рычаніе поѣдающей мясо собаки, бросился вонъ изъ дому. Въ кухнѣ онъ снова едва не спибъ съ ногъ Лукерью, которая треснула скалкою по жирной спинѣ дурака и бросила ему въ догонку:

— Донской жеребецъ, право, донской жеребецъ!

И она еще долго не могла успокоиться.

Между тѣмъ, Тюринъ, или по просту Коська-дуракъ, бѣжалъ, размахивая руками, къ ветловой рощѣ.

Константинъ Тюринъ — единственный сынъ мелкопомѣстнаго землевладѣльца изъ бывшихъ одноворцевъ Феофана Тюрина. Отецъ его, кромѣ земледѣлія, занимавшійся мелкою торговлею, уѣхалъ позавчера въ село Хрищи на ярмарку, гдѣ намѣревался пробыть всё четыре дня. И Коська воспользовался его отсутствіемъ, чтобы взло-

мать и до чиста ограбить отцовскую конторку. Всѣ добытыя имъ такимъ образомъ деньги онъ намѣревался отдать солдаткѣ Грушѣ, служившей на сосѣднемъ тоже однодворческомъ хуторкѣ простою работницею. Солдатка уже давно овладѣла всѣмъ существомъ Коськи и когда она, звеня бусами, приближалась къ нему, онъ начиналъ гоготать, а все его лицо краснѣло, какъ кумачъ, отъ удовольствія. Солдатка знала о своемъ вліяніи на этого дурака и иногда, лукаво скаля зубки, острые и бѣлые, какъ у кошки, она спрашивала его:

— Коська, хочешь жениться?

Послѣ этихъ словъ Коська начиналъ гоготать еще неистовѣе; онъ толкалъ солдатку руками, гоготалъ, краснѣлъ, изъяснялъ всѣмъ своимъ существомъ необычайное удовольствіе, между тѣмъ, какъ въ его глазахъ загоралось чувство жадное и жестокое. Его глаза походили въ эту минуту на глаза голодной собаки, которой показали кость.

Вчера онъ встрѣтилъ солдатку случайно около ветловой рощи. Та знала, что старикъ Тюринъ на ярмаркѣ, и внезапно спросила Коську, хочетъ ли онъ ее цѣловать и обнимать? Она говорила, позванивая на груди бусами, что если онъ принесетъ ей завтра сюда, въ ветловую рощу, много-много денегъ, всѣ, которыя есть у отца въ конторкѣ, она позволитъ ему цѣловать ея губы, глядѣть въ ея глаза, класть на ея колѣни голову. Пока она говорила это, Коська неистово гоготалъ, толкалъ солдатку руками, краснѣлъ, какъ кумачъ, и конфузливо опускалъ долу хищные и жестокіе глаза. И вотъ теперь онъ несъ для нее деньги. Онъ бѣжалъ, припрыгивая и ликуя, между тѣмъ, какъ серебро весело позвякивало въ карманахъ его широкихъ панталонъ. Солдатка уже была отъ него въ

двухъ шагахъ. Она стояла около ветловой рошцы и, подперевъ кулаками талию, улыбалась на встрѣчу Коськѣ. Онъ остановился, еле переводя духъ отъ усталости, такъ какъ пробѣжалъ безъ передышки около полуверсты. Можетъ быть, впрочемъ, онъ тяжело дышалъ отъ волненія. Онъ заглянулъ въ глаза солдатки и вдругъ въ звѣриномъ восторгѣ началъ кататься и кувыркаться по землѣ, рыча и мыча, какъ буйволъ, и слегка дотрогиваясь руками до грубыхъ башмаковъ на ея ногахъ.

— Есть ли у тебя деньги?—спросила его солдатка, когда онъ нѣсколько успокоился и привсталъ съ земли.

Вмѣсто отвѣта Коська съ хохотомъ похлопалъ по карманамъ своихъ панталонъ. Красивое лицо солдатки просіяло. Ей было ужасно смѣшно.

— Ну, такъ идемъ!—сказала она и вошла въ рощу.

Дуракъ послѣдовалъ за нею. Въ рощѣ было свѣжо и пахло травою. Ветлы стояли, прямые какъ стрѣла, зеленые и веселые. Онъ не шевелился и ихъ листья висѣли книзу, какъ серьги въ ухахъ женщинъ. Коська слѣдовалъ за Грушею. Ему казалось, что благоуханіе всей земли совмѣщалось въ ней одной. Онъ по крайней мѣрѣ не видѣлъ и не слышалъ ничего кромѣ нея. Онъ радостно ворчалъ, какъ бы тихо смѣясь, и это ворчанье не лишено было нѣкоторой музыки. Солдатка остановилась на небольшой полянкѣ.

— Давай деньги, — сказала она Коськѣ, улыбаясь всѣмъ своимъ красивымъ лицомъ.

Тотъ безпрекословно исполнилъ ея приказаніе и опорожнилъ карманы панталонъ. Груша приняла деньги и припрятала ихъ себѣ на грудь за пазуху, въ нарочно принесенный для этого случая ситцевый кисетъ, соображая, что теперь у нее около полутора ста рублей вѣроятно.

— Ну а теперь цѣлуй меня въ губы, — сказала она дураку, вытягивая шею и выставляя впередъ лицо.

Ея каріе, продолговатые глаза лукаво свѣтились. Коська не сводилъ глазъ съ ея кошачьихъ зубовъ, острыхъ и влажныхъ, съ ея розовыхъ губъ, съ ея позвякивавшей бусами груди. Онъ тихо смѣялся и краснѣлъ, какъ бы конфузясь и робѣя, а въ его глазахъ горѣло что-то жадное голодное и эгоистическое, не знающее ни пощады, ни жалости, но вмѣстѣ съ тѣмъ исполненное блаженства. Онъ прильнулъ къ губамъ солдатки. Ему ударило въ голову. Ему показалось, что онъ сталъ пить сразу всѣ соки, земли, всѣ ея радости и блаженства. Онъ зарычалъ, какъ раненное на смерть животное, зализывающее рану. Ему хотѣлось схватить эту женщину руками и стиснуть такъ, чтобъ выжать все, что въ ней заключается, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, его удерживало какое-то благоговѣніе къ этому источнику жизни; онъ боялся сдѣлать ей больно и напугать всѣ силы, чтобы воздержаться отъ бурныхъ порывовъ. Женщина казалась ему такою слабою, хрупкою и беззащитной. Солдатка внезапно вырвалась изъ объятій Коськи и побѣжала по роцѣ. Она бѣжала прямо, перепрыгивая, какъ коза, черезъ рытвины, затѣмъ повернула направо и на минуту остановилась на поворотѣ.

— Больше тебѣ, дуракъ, ничего не будетъ. Лучше и не жди! Ищи вѣтра въ полѣ, поминай меня, какъ звали! Довольно съ тебя, дуракъ, и этого!

Она въ послѣдній разъ сверкнула дураку глазами, захохотала и исчезла за поворотомъ. Коська слышалъ только, какъ хрустѣли сухія вѣтки подъ ея рѣзвыми и сильными ногами.

Груша вышла въ опушку по ту сторону роци. Тамъ ожидалъ ее молодой и бѣлобрысый парень, кудрявый и

кряжистый. Это былъ работникъ съ того же хуторка, гдѣ служила и солдатка.

— Ну, что, какъ?—спросилъ онъ Грушу.

Та вмѣсто отвѣта ударила рукою по пазухѣ.

— Да ну?—переспросилъ парень.

— Ей Господи, — отвѣчала солдатка и расхохоталась.

Потомъ она сѣла тутъ же въ опухкѣ на траву и извлекла изъ-за пазухи кисеть. Вмѣстѣ съ парнемъ они пересчитали деньги. Всего съ серебромъ и мѣдью оказалось 187 р. 93 коп. 180 рублей парень забралъ себѣ, а 7 руб. 93 коп. онъ великодушно передалъ Грушѣ и сказалъ, улыбаясь отъ сознанія своего великодушія:

— Это тебѣ, Грушатка, полакомься, позабавься!

Груша приняла деньги съ благодарностью и разцѣловала Никитку (парня звали Никиткою) и въ губы, и въ глаза и въ лобъ.

Парень снисходительно потрепалъ женщину рукою по гладкой спинѣ и, поднимаясь съ травы, весело улыбнулся и замѣтилъ:

— А и шустрая ты, Грушатка. Не миновать тебѣ, Грушатка, острога!

Солдатка просіяла всѣмъ лицомъ, захохотала блаженнымъ смѣхомъ и отвѣчала:

— Коль съ мальчишкой хорошимъ, такъ съ полъ-горя!

Никитка встряхнулъ кудрями. Они направились къ хуторку, стоявшему не болѣе какъ въ сорока саженьяхъ отъ ветловой рощи.

Между тѣмъ, Коська все еще стоялъ на той полянкѣ, на которой оставила его солдатка. Ея внезапное бѣгство сперва ошеломило, а затѣмъ обозлило дурака, но, въ концѣ концовъ, въ немъ улеглось даже чувство злобы и не

удовлетворенныхъ желаній. Ему казалось все еще, что любимая имъ женщина съ нимъ, возлѣ, и онъ какъ бы чувствовалъ ея присутствіе здѣсь повсюду на землѣ, въ травѣ, въ листьяхъ, въ деревьяхъ, въ свѣтѣ, въ воздухѣ, въ собственномъ сердцѣ. Она, казалось, только перемѣнила обликъ, какъ мѣняетъ его ледъ, превращаясь въ воду. Она какъ будто вотъ также расплылась, растаяла и благоухала, сіяла свѣтила тутъ же рядомъ, наполняя сердце Коськи неизъяснимымъ блаженствомъ. Онъ присѣлъ на полянѣ, не имѣя силъ уйти отсюда, какъ прикованная на цѣпь собака. Онъ сидѣлъ, улыбаясь, грѣясь, на солнцѣ, слушая, дыша и нѣжась, преисполненный счастья, поглядывая на все и, въ то же время, ничего не видя и ни о чемъ не думая. Онъ сидѣлъ, не замѣчая уходящаго времени, не замѣчая прохлады наступавшаго вечера, сидѣлъ, блаженно улыбаясь и что-то напевывая. Казалось, онъ далъ обѣтъ скорѣе умереть съ голоду, чѣмъ покинуть эту поляну, которая благоухала любимую женщиной. Можетъ быть, онъ все еще надѣялся, что женщина одумается и придетъ сюда на зовъ его сердца. И онъ не уходилъ. Насталъ вечеръ, заря потемнѣла, въ роцѣ мелькнула ночная птица, трава задымилась росой, а онъ все сидѣлъ, обнявъ сильными и длинными руками свои колѣни, глядѣлъ безъ мысли передъ собою и ждалъ съ громко-бьющимся сердцемъ. Онъ даже не хохоталъ, не рычалъ, и неподвижно сидѣлъ на землѣ, какъ каменное изваяніе.

И вдругъ онъ услышалъ хрустъ шаговъ и тихій разговоръ. Онъ всталъ и прислушался. Его сердце упало и замерло. По роцѣ шли люди. По звуку шаговъ дуракъ убѣдился, что ихъ двое. Потомъ шаги смолкли; люди сѣли. Дуракъ услышалъ мужской голосъ. Одинъ изъ сидѣвшихъ говорилъ:

— Отрабатываемъ мы, Грушатка, здѣсь свой срокъ и маханемъ съ тобой въ Астрахань аль за Волгу въ Оренбургскія степи на свое продовольствіе. Деньги у насъ, Грушатка, есть, а съ деньгами каждый человѣкъ самъ себѣ баринъ!

Говорившій зѣвнулъ, потянулся и замолчалъ. Дуракъ полюбопытствовать, его потянуло какимъ-то инстинктомъ туда, къ говорившимъ людямъ. Онъ пересѣкъ полянку, ступая какъ кошка, и пошелъ между деревьями, затаивъ дыханіе и блѣднѣя. И тутъ онъ услышалъ Грушу. Она сказала:

— А, ну что же, въ Астрахань, такъ въ Астрахань, только бы съ тобой.

Дуракъ сразу узналъ ея голосъ. Онъ ударилъ его по сердцу, застучалъ въ его вискахъ, зазвенѣлъ въ ушахъ и все его существо откликнулось, зазвучало въ унисонъ и затрепетало на встрѣчу этому звуку, какъ гармонично настроенная струна. Его охватило желаніе броситься на зовъ этого голоса безъ размышленія, не разбирая преградъ, какъ ручей, низверженный скатомъ, какъ молнія, брошенная тучею, какъ пуля, выкинутая взорвавшимся порохомъ. Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ. Передъ нимъ была полянка. И то, что онъ увидѣлъ на этой полянкѣ, какъ обухомъ ударило его по головѣ. Тамъ, въ двухъ шагахъ отъ Коськи, спиною къ нему, сидѣли Груша и Никитка. Никитка цѣловалъ Грушу, обнималъ ея талію и что-то нашептывалъ ей на ухо.

Лицо Коськи побѣлѣло. Даже веснушки, казалось, исчезли съ его жирнаго лица. Онъ понялъ, что у него отнимаютъ то, безъ чего ему нельзя жить, что необходимо для него, какъ пища и воздухъ, и всѣмъ существомъ всталъ на защиту своей собственности. Онъ во что бы то ни стало желалъ отвоевать свой поцѣлуй. Въ

одинъ моментъ онъ выломалъ здоровую, чуть ли не съ цѣлое дерево вѣтку и ринулся съ нею къ счастливой парочкѣ. Прежде чѣмъ Никитка успѣлъ опомниться, онъ, какъ сидѣлъ, свалился на землю съ расколотою головою.

Груша вскрикнула, въ минуту сообразила все и опрометью бросилась вонъ изъ рощи къ хутору, призывая на помощь людей.

— Братцы, рѣжутъ!.. Господи!—кричала она, трясясь всѣмъ тѣломъ.

А Коська, рыча, какъ звѣрь, продолжалъ бить своею дубиною распростертаго на землѣ Никитку. Его мозгъ уже былъ смѣшанъ съ землею въ бурю грязь, а дуракъ, тяжело дыша, все еще работалъ своею дубиною, точно хотѣлъ уничтожить безъ остатка соперника.

Его глаза горѣли голодною злобою и остервененіемъ, не знающимъ никакой пощады и никакой жалости. Онъ осатанѣлъ.

Когда съ хутора прибѣжали вызванные Грушею мужики, дуракъ все еще работалъ. Увидѣвъ, что къ его сопернику пришла подмога, онъ ринулся съ дубиною въ толпу, потерявъ отъ бѣшенства голову. Казалось, онъ готовъ былъ перебить всѣхъ на землѣ мужчинъ, чтобы отвоевать себѣ женщину. Десять здоровыхъ мужиковъ едва справились съ нимъ и, скрутивъ кушаками его руки и ноги, поволокли на хуторъ, хотя онъ все еще пытался кусаться и царапаться.

Груша не передавала мужикамъ о причинѣ необыкновеннаго гнѣва этого дурака и тѣ объяснили себѣ это тѣмъ, что его укусила бѣшеная собака и онъ взбѣсился.

Но они ошибались. Его поцѣловала женщина.

ПОЛЪНО.

Капитанъ Шустровъ пристально черезъ очки смотреть на рядового Степанова, который стоитъ передъ нимъ въ его кабинетѣ. Рядовой Степановъ — весь вниманіе, а капитанъ Шустровъ вертитъ въ рукахъ гранату и съ разстановкою говорить:

— Граната отлита изъ чугуна; внутри она имѣетъ пустоту, въ которую насыпанъ черезъ очко порохъ. Верхъ гранаты называется головной частью, низъ — дномъ. Понялъ? Повтори!

Рядовой Степановъ, молодой солдатъ съ бѣлобрысымъ лицомъ, ежится подъ его взглядомъ. Глаза его глядятъ, не моргая. Долго онъ крутитъ шею, точно воротникъ мундира давитъ его, какъ петля. Наконецъ, онъ съ усиленіемъ говорить:

— Гранату дѣлаютъ изъ котла; внутри къ ей кладутъ... онъ умолкаетъ и крутитъ шею.

— Ай-ай-ай! — качаетъ головою капитанъ Шустровъ.

— Вершину у ей зовутъ задней частью, — быстро договариваетъ Степановъ плаксивымъ голосомъ.

— Ай-ай, — вздыхаетъ Шустровъ. — Ты вѣдь опять околесицу несешь, голубъ. Мнѣ даже стыдно за тебя. Ты

говоришь, гранату дѣлаютъ изъ котла. Изъ какого котла? Какой тамъ еще котелъ? Гдѣ ты его нашелъ?

— Котелъ на кухнѣ, ваше...

— А-а, да я не объ этомъ! Гранату отливаютъ изъ чугуна. Это во-первыхъ. А во-вторыхъ, какимъ образомъ верхъ можетъ называться задней частью? Это нелѣпость, мой другъ. Это чертъ знаетъ что такое! Слушай. Будь внимателенъ, вдумывайся въ каждое слово и повтори мнѣ то, о чемъ я тебя прошу. Можешь?

— Могу, ваше благородіе.

— Ну и отлично. Изъ чего отливаютъ гранату?

— Я лучше сначала, ваше благородіе.

— Ну, сначала. Гранату отливаютъ...

— Гранату отливаютъ, — повторяетъ солдатъ, — и умолкаетъ.

Лицо его покрывается легкою испариною.

— Гранату отливаютъ... изъ чего?—чуть повышаетъ голосъ капитанъ Шустровъ.

— Гранату отливаютъ изъ чего, — повторяетъ солдатъ.

Лобъ его мокнетъ, взоръ тускнѣетъ и дѣлается тупымъ, рыбьимъ, а носъ начинаетъ блестѣть.

— Фу, ты, Боже мой, — вздыхаетъ Шустровъ. — Довольно. Повтори за мной: на полу сидятъ двѣ мушки.

— На полу сидятъ двѣ пушки, — повторяетъ солдатъ съ лицомъ удушенника.

— Довольно. Скажи мнѣ, сколько въ этой комнатѣ человѣкъ?

— Два, ваше благородіе.

— Неправда. Одинъ: капитанъ Шустровъ; рядовой Степановъ — полѣно. Онъ не хочетъ быть человѣкомъ! — повышаетъ голосъ капитанъ Шустровъ.

Онъ закладываетъ пальцы въ пальцы и долго съ сожалѣнiемъ глядитъ на солдата.

— Ты даже не обижаешься? — наконецъ, говоритъ онъ ему виновато: — я вѣдь тебя полѣномъ назвалъ, мнѣ стыдно, а тебѣ хоть бы что! Нехорошо!

Солдатъ не моргаетъ. Капитанъ дѣлаетъ по комнатѣ кругъ и снова останавливается передъ нимъ.

— Слушай, — говоритъ онъ: — что мнѣ съ тобой дѣлать? Вѣдь если и я съ тобой не сломаю, кто же тебя обучитъ? Обучать тебя, братецъ, будетъ некому. Развѣ ты ничего не слышалъ отъ сослуживцевъ о капитанѣ Шустровѣ? Капитанъ Шустровъ служить 20 лѣтъ; къ нему посылаютъ солдата съ безнадежно плохимъ содержанiемъ вотъ здѣсь, — хлопаетъ онъ себя по лбу: — капитанъ Шустровъ занимается съ нимъ на дому и въ нѣсколько приемовъ дѣлаетъ изъ полѣна орла. Клянусь картечью. А съ тобой я бьюсь вотъ уже цѣлый часъ и ты не можешь повторить за мной двухъ словъ. Мнѣ стыдно, Степановъ, и за тебя и за себя.

Капитанъ Шустровъ снова дѣлаетъ кругъ по комнатѣ и снова останавливается передъ солдатомъ.

— Можетъ быть ты боишься меня? — спрашиваетъ онъ его: — а? и развѣ ты опять-таки ничего не слышалъ о капитанѣ Шустровѣ отъ сослуживцевъ? Капитанъ Шустровъ служить 20 лѣтъ и за все время службы онъ пальцемъ не тронулъ ни одного солдата. Капитанъ Шустровъ смотритъ на солдата, какъ на сослуживца, какъ на товарища по оружию, съ которымъ онъ, въ случаѣ невзгоды, будетъ бокъ-о-бокъ защищать отечество и можетъ быть отдать свою кровь. И онъ хочетъ, чтобы этотъ сослуживецъ уважалъ и любилъ капитана Шустрова.

Въ голосѣ капитана звучать задушевные нотки, онъ воодушевленъ.

— Батюшки, — внезапно восклицаетъ онъ, взглянувъ на солдата: — Что съ тобой? Что ты? У тебя въ глазахъ слезы? О чемъ ты? Ай-ай, какъ это не хорошо! Какъ это стыдно! Солдатъ, — и плачетъ! Ну, слушай, будь умницей, слушай. Иди на кухню и попей съ деньщикомъ чаю. А за чаемъ старайся ни о чемъ не думать. Разговаривай съ деньщикомъ о пустякахъ, смѣйся, кувыркайся, хоть на головѣ ходи. А потомъ приди сюда и расскажи то, о чемъ я тебя прошу. Будь умницей. Я знаю, ты расскажешь; будь увѣренъ, расскажешь. Иди...

Спустя нѣкоторое время рядовой Стенановъ сидитъ на кухнѣ съ деньщикомъ Шустрова, жадно хлебываетъ съ блюдечка жидкій чай и говоритъ:

— И ничего я послѣ этого, братецъ ты мой, понимать не могу, потому что у меня одна картофъ на умѣ. Пенекъ, какъ есть пенекъ! А что ты будешь дѣлать, когда у меня на картофъ вся надежда была, а теперь взамѣнъ того вонъ что!

— Что?

— Снѣгъ! А изъ-подъ снѣга можно картошку достать? Можно? Вотъ то-то и оно! А если теперь картошка подъ снѣгъ пойдетъ, чего же дома ѣсть будутъ, скажи ты мнѣ? Разберись самъ: ржи 37 пудовъ съ батманомъ, яровины — ни Боже мой и картофъ подъ снѣгомъ. Резонно?

— Да-а.

— А что въ насъ въ семьѣ: батюшка, мать, сестренка, жена, да ребеночекъ трехъ постовъ. Это сколько? Пять? А ребенокъ трехъ постовъ можетъ хлѣбъ съ лебедой глотать? Можетъ?

— Да-а.

— Вотъ то-то и оно. Ребенку съ лебеды не прозимовать! Крышка ребенку будетъ. Аминь! А развѣ онъ не сынъ мнѣ? Какъ я себя теперь долженъ понимать? Вотъ оно дѣло-то куда пошло. Какъ же я послѣ этого гранату могу превзойти? Какой я результатъ въ себѣ окажу? А? Я гляжу на гранату, а вижу картофь. Капитану-то хорошо говорить, у него въ головѣ мозги, а у меня картофь. А капитанъ осердился—просто бѣда! Я, говоритъ, 20 лѣтъ служилъ, нѣкого пальцемъ не тронулъ, а тебя, говоритъ, сейчасъ помереть, полѣномъ шарахну.

— Ну?

— Сейчасъ помереть. Я, говоритъ, свое отечество защищаю, а ты, говоритъ, полѣно стоеросовое, на меня позоръ наводишь? Тебѣ бы, говоритъ, только чай глотить да по полу кувыряться. Ужъ онъ меня, ужъ онъ меня, мылъ, мылъ, ай-ай! А, самъ изъ себя страшный сдѣлался, сейчасъ помереть!

Степановъ со вздохомъ умолкаетъ; говорить начинаетъ деньщикъ.

— А ты это, землякъ, вотъ что, — говоритъ онъ ему внушительно: — ты это напрасно на счетъ картофи огорчаешься. Картофь достать можно будетъ.

— Ну?

— Помни мое слово. Дождь упадетъ и снѣгъ согонитъ. Ты замѣчай: туча съ третьеводни откуда пошла?

— Откуда?

— Съ Казанскаго моста. А какъ туча съ Казанскаго моста пошла, то и дождь тутъ. Это ужъ какъ по командѣ.

— Ну?

— Помни мое слово. Дождь безпрѣмѣнно не нынче—

завтра хляснетъ. У меня другой день лѣвая пятка чешется, стра-а-сть!

Онъ говоритъ вразумительно, безъ малѣйшаго сомнѣнія, и съ каждымъ его словомъ лицо Степанова оживаетъ; въ его глазахъ загорается мысль и надежда. Они продолжаютъ разговоръ.

Лица одушевляются, бесѣда льется, слышатся возгласы:

— Мнѣ-бы только картофы!

— Вотъ бы только просо обмолотить!

— Просо что! Просо тѣфу! Просо и въ сѣняхъ вальками обмолотить можно. Вотъ картофы бы!

Если бы капитанъ Шустровъ заглянулъ на кухню, онъ не узналъ бы Степанова.

Его рѣчь плавная, образная; жесты смѣлы и выразительны, въ глазахъ мысль.

Онъ уже не полѣно, онъ орелъ.

Но капитану Шустрову не до этого. Вотъ уже полчаса какъ онъ стоитъ въ кабинетѣ, у стѣны, передъ портретомъ молодой женщины. Это его покойная жена, умершая десять лѣтъ тому назадъ. Лицо капитана сосредоточенно, на губахъ грустная и ласковая улыбка. Онъ глядитъ на портретъ, вздыхаетъ, шевелитъ усами, слегка жестикулируетъ и съ тоской думаетъ:

— Эхъ, Настѣкъ, Настѣкъ! И тебѣ не стыдно? Не жалко меня? И году со мной не прожила, ушла, меня одного съ солдатами оставила! Скучно мнѣ безъ тебя, Настекъ! Солдаты, солдаты и солдаты... Тоска! Хотъ бы тебѣ годъ со мной пожить, хотъ бы десять! А ты и наглядѣться на себя не дала. Скупая ты, Настекъ, злая, безжалостная! Помнишь, какъ мнѣ весело съ тобой было? Бывало, одни весь вечеръ сидимъ, а сколько смѣху! Пом-

нишь, въ французскіе дураки съ тобой дулись и я 15 разъ дурнемъ сидѣлъ? Я, вѣдь, нарочно тогда поддавался. Очень ужъ ты мнѣ постѣ каждой игры ручками хлопала! Голубка моя! Горlinkка!

Капитанъ Шустровъ протягиваетъ обѣ руки къ портрету, но мгновенно хватается себя за виски, отходитъ къ письменному столу и съ тоской думаетъ:

— Не разговаривай ты со мной, Настекъ; а то вѣдь опять пойдешь на всю ночь эта музыка... А завтра мигрень, кали-бромати... Клянусь картечью...

Онъ тихонько повертывается лицомъ въ уголъ, тихонько достаетъ платокъ и долго третъ подъ очками свои глаза. И въ эту минуту въ кабинетъ появляется рядовой Степановъ.

— Ну, что? какъ? а?—спрашиваетъ его Шустровъ.

— Выучилъ, ваше благородье.

И не дожидаясь приглашенія, Степановъ бойко, смѣло, безъ запинки, докладываетъ урокъ.

— Хорошо. Прекрасно, — говоритъ Шустровъ. — но чтобъ ты не забылъ урока, я тебѣ повторю его въ послѣдній разъ. Слушай.

Онъ глядитъ въ пространство тусклымъ, безцвѣтнымъ, ничего не видящимъ взглядомъ и дѣловито говоритъ:

— Гранату отливаютъ изъ пустоты; внутри она имѣетъ Настекъ, въ который насыпаютъ это... Низъ гранаты называется верхомъ, а верхъ—дномъ...

Б Р А Т Ь Я.

I.

Иона Валтасаровъ подъѣхалъ къ рѣкѣ Чечорѣ, когда мѣсяцъ уже всталъ на востокъ и глядѣлъ сквозь сизую тучу какъ красный фонарь. Валтасаровъ остановилъ лошадь около самой рѣки и сидѣлъ въ сѣдлѣ, задумчиво глядя на разстилавшуюся за Чечорою долину. Ночь была бурная и непогодная, Чечора пѣнилась и шумѣла. Ея мутныя съ бѣлымъ гребешкомъ волны бѣжали къ берегу, какъ маленькіе, но яростные звѣрки, и Валтасарову казалось, что онѣ сидятъ выпрыгнуть на берегъ, чтобы стащить его съ сѣдла и увлечь на тѣнистое дно. И Валтасаровъ продолжалъ смотрѣть за рѣку.

Валтасаровъ — молодой человѣкъ, коренастый и крѣпкій, съ короткою темнорукою бородкою, съ упрямымъ и непріятнымъ выраженіемъ большихъ сѣрыхъ глазъ. Онъ одѣтъ въ коротенькій, черной дубки полшубчикъ, черныхъ каракулей шапку и высокіе сапоги. Передъ его глазами разстилалась долина рѣки Чечоры, замкнутая съ трехъ сторонъ цѣпью невысокихъ холмиковъ, а съ четвертой отрѣзанная рѣчкою. На одномъ изъ холмовъ выс-

лась богатая Валтасаровская усадьба, огни которой сверкали изъ-за вѣтокъ уже снабженныхъ осенью деревьевъ, какъ волчьи глаза. Въ полѣ шумѣлъ вѣтеръ, а долина лежала мокрая и холодная, какъ выброшенная на берегъ утопленница. Это сравненіе пришло Валтасарову въ голову неожиданно и взбѣсило его. Онъ нерѣшительно шевельнулся въ сѣдлѣ. Вхвать домой въ объѣздъ на мостъ ему не хотѣлось, а пускаться черезъ Чечору въ бродъ не безопасно. Здѣсь не глубоко, но бѣшеная рѣчонка вырыла тутъ же рядомъ глубокой омутъ. Бѣда, если лошадь оступится! Иона Петровичъ уже хотѣлъ было двинуться въ объѣздъ, но рѣчонка плеснула волною къ самымъ ногамъ его лошади и это обозлило Валтасарова. Рѣчонка показала ему до нельзя похожею на обозлившуюся старушонку, и онъ подумалъ: «Да не боюсь же я тебя»!

Онъ взмахнулъ нагайкою. Лошадь сдѣлала прыжокъ и вошла въ воду, фыркая и испуганно поводя ушами. Вода доходила лошади по брюхо и Валтасаровъ, высвободивъ пзъ стремянъ ноги, вытягивалъ ихъ въ уровень лошадиной морды. Рѣчонка продолжала шумѣть и плескать волнами; лошадь, фыркая, разсѣкала воду; противоположный берегъ былъ уже въ нѣсколькихъ шагахъ. И тутъ Валтасаровъ позеленѣлъ отъ злобы. Непокорная рѣчонка плеснула на этотъ разъ такъ удачно, что обрызгала все лицо Валтасарова. И въ ту же минуту она снова показала ему до нельзя похожей на обозлившуюся старуху. «Да не боюсь же я тебя!» подумалъ Валтасаровъ съ перекосившимся лицомъ. Онъ взмахнулъ нагайкою и, слегка перекинувшись на бокъ, стегнулъ ею по мутнозеленымъ, какъ бутылочное стекло, волнамъ. Лошадь, приложивъ уши, сдѣлала почти невѣроятный прыжокъ и вынесла Иону Петровича на берегъ. Валтасаровъ поправилъ шанку и са-

модовольно оглянулся на рѣчонку. Чечора шумѣла еще яростнѣе, точно негодуя, что выпустила изъ своихъ холмныхъ рукъ такую богатую добычу.

«Не сладишь, вѣдьма!»! подумалъ Балтасаровъ и легонько приподнялъ нагайку. Лошадь застучала кованными ногами по глинистому берегу Чечоры. Балтасаровъ направился къ усадьбѣ, слегка покачиваясь въ покойномъ казачьемъ сѣдлѣ и какъ бы погруженный въ глубокія думы.

Балтасаровъ—владѣлецъ пяти тысячъ десятинъ прекрасной земли. Его имѣнье считается самымъ богатымъ во всемъ уѣздѣ, а самъ онъ слыветъ кулакомъ и скрягою. Онъ незаконный сынъ кушца Ожогина, умершаго восемь мѣсяцевъ тому назадъ скоропостижно отъ воспаления легкихъ и оставившаго по духовному завѣщанію все свое имущество, помимо законнаго сына Дмитрія, незаконному—Іонѣ. Дмитрія старикъ Ожогинъ выгналъ изъ дому, когда тому было 20 лѣтъ, давъ ему на дорогу три тысячи рублей. Но Дмитрій не пропалъ. Ловкій и предприимчивый, онъ вынырнулъ въ люди, арендуетъ теперь въ Оренбургской губерніи богатое имѣніе и, говорятъ, ловко зашибаетъ деньги.

II.

Іона Петровичъ шагомъ ѣхалъ долиною. Вѣтеръ носился по полю, съ шумомъ срывая послѣдніе листья низкорослаго ветлянника и высоко взметая ихъ вверхъ. Казалось, онъ не знаетъ, къ чему приложить свои богатырскія силы, и безцѣльно куражился и буянилъ. Долина рѣки Чечоры лежала попрежнему холодная и мокрая, какъ выброшенная на берегъ утопленница.

Между тѣмъ, Валтасаровъ оглянулся налѣво, гдѣ рѣка дѣлала загибъ, и едва не выронилъ поводъ. По рѣкѣ что-то плыло. Чечора голочила на своихъ волнахъ что-то тяжелое, съ трудомъ переворачивая свою жертву и постепенно подкатывая ее къ берегу. Мутнозеленыя съ бѣлымъ гребешкомъ волны прыгали, какъ бы ликуя, что наконецъ нашли себѣ забаву. Вѣтеръ порывисто бросался на жертву рѣчонки и тогда разступавшіяся волны обнаруживали какъ бы мокрыя лохмотья, трепетавшія и хлопавшія истлѣвшими языками, какъ птица подбитымъ крыломъ.

Иона Петровичъ догадался: Чечора несла трупъ чело-вѣка. Онъ тронулъ поводья и съ упавшимъ сердцемъ повернулъ лошадь туда, гдѣ ликующія волны подкатывали къ берегу свою жертву. Онъ извлекли ее со дна тихого омута, изъ-подъ цѣпкихъ корягъ, гдѣ она лежала распухшая и молчаливая, жертва сѣрозеленыхъ раковъ и бархатныхъ шявокъ. Волны извлекли ее оттуда и понесли, смѣясь и ликуя, на утрашеніе Ионы Петровича.

«Я это зналъ,—думалъ Валтасаровъ, шагомъ направляясь къ жертвѣ злобной рѣчонки:—я это зналъ!»

Онъ прекрасно зналъ это и сообразилъ о возможности подобной шутки еще въ ту минуту, когда Чечора ловила его за стремя, какъ назойливая собачонка.

— Разбѣсилась,—прошепталъ Валтасаровъ, съ ненавистью оглядывая ликующую Чечору:—разыгралась!

Онъ остановилъ лошадь въ нѣсколькихъ шагахъ отъ рѣки и, наклонясь надъ лукою и вытянувъ шею, глядѣлъ на то, что съ трудомъ волокла къ берегу мелководная, слабосильная, но дерзкая и злая рѣчонка. Между тѣмъ, вѣтеръ и Чечора совокупными усиліями приподняли влекомую ими жертву, перевернули ее разъ и другой, затѣмъ

погрузили въ воду и, наконецъ, съ шумомъ и плескомъ выкинули ее на отлогій берегъ песчанаго откоса.

—Аксинья,—прошепталъ Валтасаровъ съ жалкою улыбкою на губахъ.

Онъ усталъ на старуху пронизывающимъ взглядомъ. Она лежала на мокромъ пескѣ, въ истлѣвшихъ лохмотьяхъ, съ вытекившими глазами и распухшимъ лицомъ. Ея переполненный водою животъ былъ обнаженъ и вздутъ. Мѣсяцъ глядѣлъ на безобразное лицо старухи холодно и спокойно, а злорадная рѣчонка прыгала и ликовала у ея тонкихъ ногъ, обутыхъ въ истлѣвшіе шерстяные чулки. Валтасаровъ съ негодованіемъ смотрѣлъ на рѣку и думалъ.

«Ну что же, что ты ее выбросила? Ну, и пусть ее лежить здѣсь! Мнѣ, то что за дѣло? Я вѣдь тутъ не-причемъ!»

Онъ круто повернулъ косившуюся на трушъ лошадь и поѣхалъ впередъ къ своей раскинутой на холмѣ усадьбѣ. Онъ ѣхалъ, прислушивался къ шуму вѣтра и думалъ:

«Кажется, это ничего, что Аксиньюшка выплыла; пусть ее лежитъ тамъ; завтра кто нибудь найдетъ ее и мнѣ скажетъ, а я становому донесу. Да. Вотъ и все. И никому ничего не будетъ!»

Онъ сосчиталъ по пальцамъ. «Іюнь, іюль, августъ, сентябрь. Да. Четыре мѣсяца тому назадъ утонула. Шла въ бродъ черезъ рѣчку и остушилась въ омутъ. Очень просто. Я вѣдь тутъ въ самомъ дѣлѣ не причемъ!»

Іона Петровичъ повелъ плечами, какъ бы ежась отъ холода. «А братецъ,—пришло ему въ голову:—и руками и ногами за Аксиньюшку уцѣпится, въ душегубы меня прозвести захочетъ; онъ этого случая не упуститъ, свое вернуть захочется; небось, по начальству съ задняго

крыльца забѣгать; рукопожатія тамъ разныя, подарочки, комплиментики, анъ, глядь, человѣку судьбу и испортили. Знаемъ мы ихняго брата!»

Валтасаровъ остановилъ лошадь. Оставлять Аксиньюшку на берегу показалось ему въ высшей степени неосторожнымъ.

«Кто знаетъ, что изъ этого можетъ выйти? — подумалъ онъ: — ты не виновать, да вѣдь люди-то на это не посмотрятъ, имъ бы только тебя, пуще всего, скушать! Скажутъ: ты ее въ омутъ столкнулъ. Ты душегубъ, скажутъ».

Іона Петровичъ повернулъ лошадь обратно. Онъ рѣшилъ оттолкнуть Аксиньюшку отъ берега. Пусть ее выплыветъ гдѣ нибудь пониже, подальше отъ его усадьбы. Это все-таки будетъ лучше и безопаснѣе.

Онъ снова подѣхалъ къ берегу, остановилъ лошадь у пѣрившихся водъ Чечоры и широко раскрылъ отъ изумленія глаза. Аксиньюшки на берегу не было. Въмѣсто ея распухшаго трупа на берегу лежалъ слегка вѣдренный въ влажный песокъ тяжелый дубовый обрубокъ. Его передняя виллообразно-раздвоенная и погруженная въ воду часть покачивалась, подпрыгивала на волнахъ и похлопывала кое-гдѣ уцѣлѣвшими на бокахъ листьями.

«Что же это такое? — думалъ, ежась отъ холода, Валтасаровъ: — Неужли Чечора подмѣнила Аксиньюшку и уволокла ее дальше, или же все это мнѣ только показалось?»

Это было бы всего хуже, потому что это значить, что его начинаютъ припираеть къ стѣнѣ.

«Кольцомъ стягиваютъ», подумалъ Іона Петровичъ, сно а повернулъ къ усадьбѣ лошадь и вздрогнулъ. За его спиною со стороны Чечоры раздался пронзительный крикъ, дикий, негодующій и вмѣстѣ съ тѣмъ жалобный. Это крикнулъ филинъ въ лѣсу за рѣкою, но Валтасаровъ повер-

нулъ къ Чечорѣ свое перекосившееся отъ бѣшенства лицо.

— А ты меня не запугивай!—крикнулъ онъ:—Слышишь: не запугивай! А то я тебя за десять верстъ отъ усадьбы тремя плотинами перехвачу, водокачками на берегъ выкачаю, капли въ тебѣ не оставлю!

Валтасаровъ дрожалъ отъ негодованія и хотѣлъ было даже погрозиться нагайкою, но воздержался, сообразивъ, что разговаривать съ рѣкою нелѣпо.

— Преподлѣйшая рѣчонка!—прошепталъ онъ, какъ бы извиняясь передъ самимъ собою и снова шагомъ двинулся къ усадьбѣ.

Онъ проѣхалъ нѣсколько сажень и снова остановилъ лошадь. Онъ слышалъ позвякиванье колокольчика. По большой дорогѣ, огибавшей поймы, кто-то ѣхалъ въ телѣжкѣ на тройкѣ. «Кто бы это могъ быть? Ужъ не ко мнѣ ли онъ пробирается?» подумалъ Валтасаровъ и вдругъ почувствовалъ приступъ необычайнаго волненія, даже какъ будто страха. Ему пришло на умъ, что это опять ѣдетъ господинъ въ высокой папахѣ, тотъ самый, который ѣздилъ мимо его усадьбы вотъ уже два дня—вчера и позавчера—и проѣхалъ равнымъ счетомъ пять разъ.

«Неужто это опять онъ?» подумалъ Иона Петровичъ и сталъ соображать, кто бы это могъ быть. Это не здѣшній, такихъ высокихъ папахъ здѣсь не носятъ. Онъ напрягъ зрѣніе и глядѣлъ на дорогу, скупо озаренную блѣднымъ свѣтомъ мѣсяца. Онъ не ошибся: въ телѣжкѣ сидѣлъ господинъ въ высокой папахѣ.

«Ага,—подумалъ Валтасаровъ:—въ шестой разъ мимо ѣдетъ! Ну, что же, скатертью дорога! Завтра не забудь въ седьмой проѣхать! Мнѣ-то вѣдь, голубчикъ, рѣшительно все равно, только смотри, ямскихъ лошадей не

загоняй! Ямская лошадь избѣзженная, ямская лошадь такой высокой папахи долго возить не можетъ!»!

Валтасаровъ хотѣлъ было улыбнуться, но не смогъ: телѣжка повернула къ нему въ усадьбу. Онъ видѣлъ, какъ ямщикъ неистово задергалъ локтями, очевидно намѣреваясь подкатить къ крыльцу съ форсомъ. Колокольчикъ зазвенѣлъ пронзительно. Телѣжка скрылась въ широкихъ воротахъ усадьбы.

«Кто бы это могъ быть»? думалъ Валтасаровъ, шагомъ направляясь къ усадьбѣ, между тѣмъ какъ его сердце то замирало, то снова сильно колотилось въ груди.

— Однако, чего же я такъ волнуюсь, — прошепталъ онъ: — ишь, даже въ ухахъ зашумѣло! Экій подлый характерецъ!

Онъ сдвинулъ шапку на бекрень и, подобравъ поводья, послалъ лошадь рысью.

Когда Юна Петровичъ въѣхалъ въ ворота усадьбы, телѣжка неизвѣстнаго гостя уже стояла около каретнаго сарая и ямщикъ отпрягалъ лошадей.

— Кого привезъ? — крикнулъ Валтасаровъ ямщику.

Тотъ гремѣлъ сбруею, побрякивалъ и поругивался.

— Не знаю, не здѣшній. Ишь завертѣла, купчиха, задомъ!

И ямщикъ толкнулъ пристяжную сапогомъ подъ животъ.

— А зачѣмъ ты лошадей отпрягаешь?

— Ночевать у васъ будемъ.

«Ночевать! подумалъ Валтасаровъ. — Кто еще вамъ ночевать-то позволить?»!

— Кто пріѣхалъ? — спросилъ онъ караульщика, прибѣжавшаго къ нему, чтобы взять лошадь.

— Не знаю; должно не здѣшній, въ шапкѣ высокой.

Валтасаровъ прошелъ черезъ заднее крыльцо въ домъ.

— Кто пріѣхалъ?—спросилъ онъ возившуюся за самоваромъ служанку, толстую и рябую какъ вафельная доска.

Та отдувалась, вытирая испачканныя углями руки о толстыя бедра.

— Не знаю, только они въ шапкѣ очень высокой.

— Очень высокой, очень высокой,—передразнилъ Валтасаровъ съ бѣшенствомъ, но тотчасъ же овладѣлъ собою и добавилъ:— А гдѣ онъ?

— Въ кабинетѣ у васъ.

— Въ кабинетѣ? Зачѣмъ ты его въ кабинетъ пустила?

— Да они сами вошли.

— Сами вошли! Такъ и зналъ: дура!

Валтасаровъ быстро сдернулъ съ себя полушубокъ и шапку и, оправивъ нанковый пиджакъ, пошелъ въ кабинетъ въ сильномъ волненіи, но вполне владѣя собою. На порогѣ онъ остановился. На его письменномъ столѣ горѣла маленькая жестяная лампочка съ самодѣльнымъ абажуромъ изъ стараго конторскаго счета, а на диванѣ сидѣлъ, полулежа, плотный и высокій мужчина, курчавый и румяный бронецъ въ щегольской поддевкѣ. Его глаза глядѣли весело и жизнерадостно.

Валтасарову казалось его лицо знакомымъ, но онъ тщетно напрягалъ память и въ замѣшательствѣ продолжалъ стоять на порогѣ.

— Не узнаешь?—заговорилъ между тѣмъ гость, принимаясь съ дивана и брякая толстѣйшею золотою цѣпочкою.

Валтасаровъ стоялъ столбомъ.

— Да неужели же не узнаешь?

Гость весело расхохотался, сверкая великолѣпными зубами.

Валтасарова точно что оѣбло. Онъ вспомнилъ эти зубы, необыкновенно ровные и бѣлые.

— Братецъ!—воскликнулъ онъ съ радостною улыбкою, раскрывая объятія и двигаясь на встрѣчу гостю.

— Да, конечно же, онъ самый,—произнесъ гость съ хохотомъ.

Братья облобызались.

III.

Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи.

— Ну, что, каковъ я сталъ?—наконецъ спросилъ Дмитрій Семенычъ, сия глазами и не безъ кокетства закладывая руки въ карманы щегольской поддевки.

— Красавчикъ, одно слово красавчикъ,—заговорилъ Валтасаровъ, захлебываясь:—да и какой же румяненькій да полненькій!

Онъ ласково трогалъ брата за локти и заглядывалъ ему въ глаза съ такимъ выраженіемъ, точно сознаніе, что его братъ румяненькій красавчикъ, наполняетъ его сердце восторгомъ и весельемъ.

Братья облобызались снова.

Служанка внесла въ комнату шипящій самоваръ и поставила его на свободный столъ; затѣмъ она поставила туда же чайный приборъ на двоихъ, чайникъ съ отбитымъ носомъ и блюдечко съ щепоткою чаю и четырьмя кусочками сахара.

Валтасаровъ суетился, помогая служанкѣ и говорилъ:

— Ты намъ, Оршенька, и калачика принеси; калачикъ-то тамъ въ буфетъ, на верхней полкѣ.

Служанка, топая башмаками, вышла изъ комнаты. Дмитрій Семеновичъ смотрѣлъ на дымящійся самоваръ, на блѣдное лицо брата, на свои сапоги и улыбался. Валтасаровъ молча заваривалъ чай, сосредоточенно сдвигая брови. Въ то же время служанка принесла на тарелкѣ ломоть черстваго калача, пальца въ два толщиною.

— Присаживайся къ столу, братецъ, — пригласилъ Валтасаровъ брата, когда служанка вышла изъ комнаты.

Дмитрій Семеновичъ пресвесело расхохотался.

— Братецъ, голубчикъ, что это вы какимъ скаредомъ живете? Четыре кусочка сахару, черствый калачъ и нанковый пиджачокъ! Это отъ пяти тысячъ десятинъ земли-то! Ахъ, братецъ, ахъ, забавникъ!

Ожогинъ, продолжая смѣяться, вынулъ изъ кармана тяжелый серебряный портсигаръ и вертѣлъ его передъ носомъ брата, какъ бы щеголяя имъ.

— Нѣтъ, я живу не такъ, — добавилъ онъ, вынимая папиросу.

— А деньгу все-таки зашибаете? — спросилъ Иона Петровичъ, наливая себѣ и брату чай.

— Зашибаю и порядочно.

— А потомъ транжирите? Да?

Дмитрій Семенычъ усмѣхнулся.

— Да, а потомъ транжирю. Разумѣется, благоразумно, нѣкоторую часть.

— Вина-закуски да маперочки тамъ небось разныя? Да? — говорилъ Валтасаровъ, подвигая брату стаканъ на уголъ стола.

— А какъ бы ты думалъ?

Дмитрій Семенычъ стоялъ, сіяя всѣмъ лицомъ, раскидывалъ станомъ и, заложивъ руки въ карманы, весело поглядывалъ на свои щегольскіе лаковые сапоги.

— А вы какъ, братецъ, поживаете? Неужели же безъ машерокъ обходитесь?

Братья говорили другъ другу то «ты», то «вы», постоянно сбиваясь.

— Неужли же безъ машерокъ?—повторилъ Дмитрій Семеновичъ, намѣреваясь снова расхотаться.

Валтасаровъ всталъ со стула и, потирая руки, заходилъ по комнатѣ.

— Да, я безъ машерокъ, — заговорилъ онъ съ усмѣшкою и какъ бы впадая въ игривый тонъ: — я, братецъ, не женолюбъ. Видали у меня прислужницу-то? Объ личико хоть сейчасъ свеклу три! Я, братецъ, въ деньгу вѣлся, миллиончикомъ быть хочу, власти алчу!

Валтасаровъ смотрѣлъ на брата, слегка посмѣиваясь и въ то же время вздрагивая отъ нервнаго волненія.

— А на что тебѣ деньги?—спросилъ Дмитрій Семеновичъ, улыбаясь: — На нанковый пиджакъ?

— Власти я алчу, — шопотомъ отвѣчалъ Валтасаровъ и въ его глазахъ загорѣлся огонекъ: — Деньги, да вѣдь это власть непомѣрная! Да. А нанковый пиджачокъ я, братецъ, для вашего же пущаго приниженія надѣлъ. Вѣдь вы все равно передо мной на колѣняхъ еловить будете! Такъ вотъ я и не хочу, чтобы вы передъ парчевымъ кафтаномъ лбами своими стукали. Поползайте, голубчики, и передъ нанковымъ пиджачишкомъ. Поняли, братецъ?

Дмитрій Семенычъ прихлебнулъ изъ своего стакана.

— Нѣтъ, ничего не понялъ!

Валтасаровъ тоже присѣлъ къ столу.

— Да ты не хочешь ли, братецъ, поужинать?—внезапно переимѣнилъ онъ разговоръ: — Я-то самъ на ночь ничего не ѣмъ, а у рабочихъ изъ застольной пшенной каши спросить можно; пшенной каши у меня вволю.

на родину, и пропала. А вы, братецъ, «утонула»! Этакое вѣдь слово дикое вывернули!

— Это мое предположеніе, — отвѣчалъ Валтасаровъ, прихлебнувъ изъ стакана: — А вы и у станowego справлялись? — добавилъ онъ, съ улыбкою глядя на брата, между тѣмъ какъ его губы слегка дрогнули.

Ожогинъ молчалъ. Онъ снова опустился на стулъ.

— А вы отъ Аксиньюшки въ этомъ году письма не получали? — спросилъ Валтасаровъ и подумалъ: «Видно сразу, что гусь-то чернобровый обо всемъ Аксиньюшкой предувѣдомлень!»

— А вы отъ Аксиньюшки письма не получали? — повторилъ онъ.

Ожогинъ молчалъ какъ бы въ глубокой задумчивости. Валтасаровъ смотрѣлъ на брата пронизывающимъ взоромъ.

Въ комнатѣ снова стало тихо. Только акаціи шумѣли за окномъ, вздрагивая и силиясь достать до окошка своими тонкими вѣтками.

— Вотъ что, — внезапно прервалъ молчаніе Ожогинъ и его глаза, какъ показалось Валтасарову, приняли загадочное выраженіе.

Иона Петровичъ насторожился, приготовясь выслушать отъ брата нѣчто весьма для себя любопытное.

— Вотъ что, — продолжалъ Дмитрій Семенычъ: — а налей-ка мнѣ, братецъ, еще стаканчикъ чаю!

Валтасаровъ даже рассердился.

— А вы, братецъ, со мной какъ кошка съ мышкой не играйте! Если вы хотите сказать что либо на счетъ Аксиньюшкина къ вамъ письма, такъ говорите прямо. Прямая дорога самая лучшая! Да. А я готовъ отъ васъ выслушать обвиненія самыя тяжкія. Я знаю, вы чело-

вѣкъ весьма подозрительный и жестокосердный. Говорите же, братецъ, со мной по душѣ!

Іона Петровичъ сталъ наливать брату чай и косился на курчавую голову Дмитрія Семеновича.

Тотъ молчалъ.

Валтасаровъ придвинулъ ему налитый стаканъ.

— Получали ли вы отъ Аксиньюшки письмо? — спросилъ онъ.

— Отъ Аксиньюшки письмо? — переспросилъ Ожогинъ и сталъ пить чай большими глотками, такъ что кадыкъ быстро ходилъ взадъ и впередъ подъ его короткою бородкою: — А въ Оренбургской губерніи, — замѣтилъ онъ, на минуту отрываясь отъ стакана: — ужасъ какъ лошади дешевы!

— Дешевы? — переспросилъ Валтасаровъ съ перекосившимся лицомъ и тотчасъ же вздохнулъ съ сожалѣніемъ: — Не хорошій вы человѣкъ, братецъ, зловредный человѣкъ!

V.

Дмитрій Семеновичъ всталъ со стула.

— Вотъ что, Іона Петровичъ, — сказалъ онъ съ нѣкоторою какъ будто торжественностью: — покажите-ка мнѣ комнату, гдѣ батюшка скончался!

Валтасаровъ заметался по комнатѣ, отыскивая спички и свѣчку. Вскорѣ онъ зажегъ стеариновый огарокъ и двинулся вонъ изъ комнаты. Но на порогъ онъ остановился и обернулся къ брату.

Дмитрій Семеновичъ задумчиво смотрѣлъ въ окно, на трепетавшіе кусты акаціи, и пощипывалъ бородку.

— Идти же, — позвалъ его Валтасаровъ: — чего вы на акаціи-то уставились? Не бойтесь, теперь онъ до окна не

достанутъ! Я же вамъ говорилъ, что подстригъ имъ ноготки-то!

Ожогинъ продолжалъ смотрѣть въ окно.

— Да идите же! — крикнулъ Валтасаровъ съ раздраженіемъ.

Дмитрій Семеновичъ медленно двинулся къ порогу. Братья прошли двѣ комнаты и остановились у порога третьей.

— Вотъ эта и есть та комната, гдѣ скончался батюшка, — прошепталъ Іона Петровичъ.

Онъ постороился и пропустилъ впередъ Ожогина. Тотъ переступилъ порогъ и, внезапно поблѣднѣвъ, сталъ торопливо креститься. Валтасаровъ стоялъ рядомъ съ нимъ блѣдный и подавленный. Его глаза безпокойно перебѣгали съ предмета на предметъ, точно опасаясь, что всѣ эти наполнявшіе комнату вещи: стулья, кровать, столикъ и бюро, крикнуть ему: «убійца»!

Онъ шопотомъ докладывалъ брату:

— Вотъ тутъ батюшкина кровать стояла, а здѣсь вотъ въ этомъ окнѣ форточка-то та самая была!

— А теперь ее нѣтъ, форточки-то? — шопотомъ же спросилъ Ожогинъ, оглядывая окно.

По губамъ Валтасарова судорогою прошла улыбка.

— Да я же ее, братецъ, задѣлалъ; вскорѣ послѣ кончины батюшки задѣлалъ. Развѣ ее можно было такъ оставить?

— Это почему?

Ожогинъ поблѣднѣлъ еще больше. Въ комнатѣ было тихо, даже какъ будто торжественно тихо, какъ въ храмѣ передъ началомъ службы или въ могильномъ склепѣ.

— Это почему ты форточку-то задѣлалъ? — переспросилъ Дмитрій Семеновичъ.

Валтасаровъ придвинулся къ брату.

— А потому, — отвѣчалъ онъ, заглядывая въ глаза брата упорно и многозначительно: — а потому, что она послѣ батюшкиной кончины стучала по ночамъ шибко!

— Стучала? — сказалъ Ожогинъ, слегка пятясь назадъ. Ему показалось, что стеариновый огарокъ задрожалъ въ рукѣ Валтасарова.

— Стучала; въ бурныя ночи шибко стучала! — Валтасаровъ почувствовалъ приступъ сильнаго озноба; онъ боялся, что его зубы начнутъ пристукивать: — Такъ стучала, — продолжалъ онъ, не имѣя силъ остановиться и упорно заглядывая въ глаза брата: — такъ стучала, точно она въ сердце мое стучалась, словно она въ набатъ била, словно она совѣсть разбудить хотѣла. Да!

Валтасаровъ передохнулъ. Онъ почувствовалъ, что аппаратъ, управлявшій имъ, регулировавшій его поступки и придававшій ему болѣе или менѣе опредѣленную физиономію, внезапно поломался и прекратилъ свою работу. Валтасарову внезапно безъ всякаго смысла и повода хотѣлось плакать и смѣяться, ругаться, кривляться, рыдать и бушевать, бушевать безъ конца. Онъ понялъ, что это уже есть изступленіе и испугался, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, отдалъ всего себя во власть мгновенно, какъ ураганъ, зарождавшихся желаній, даже какъ будто не безъ удовольствія.

— Да, — прошепталъ онъ, пристукивая зубами: — форточка-то стучала, а акаціи-то въ окно ко мнѣ, какъ вѣдьмы царапались, на разговоръ меня нѣкій вызывали. Да!.. А я, — крикнулъ Валтасаровъ на всю комнату: — разговаривать на этотъ сюжетецъ не желаю! Слышишь ли ты, румяная мордочка, не желаю!

Валтасаровъ замахнулся, намѣреваясь ударить кула-

комъ по наклонной крышѣ стоявшаго рядомъ съ нимъ бюро.

Стеариновый огарокъ выпалъ изъ его руки, въ комнатѣ стало темно, но Валтасаровъ видѣлъ, какъ злобно сверкали во тьмѣ глаза Дмитрія Семеновича. Валтасаровъ ждалъ. Онъ чувствовалъ, что сейчасъ братъ скажетъ ему самое главное. Онъ даже какъ будто желалъ этого.

Между тѣмъ, Ожогинъ прошелъ на цыпочкахъ два шага, поймалъ руку Іоны Петровича и, приблизивъ къ нему свое поблѣднѣвшее лицо, прошепталъ внятно и съ разстановкою:

— Отцеубійца! Змѣенышъ! Вѣдь я знаю, что ты нарочно, когда батюшка лежалъ въ испаринѣ, отворилъ форточку, чтобы уморить его! Душегубъ, отцеубійца, змѣенышъ!

Дмитрій Семеновичъ, какъ клещами, стиснулъ руку Іоны Петровича и смотрѣлъ въ его глаза съ ненавистью и злобою.

VI.

Валтасаровъ вырвалъ свою руку изъ руки Ожогина; онъ весь съежился, накренивъ на одинъ бокъ плечи, придавленный и уничтоженный, но, въ тоже время, исполненный дикаго желанія бросить въ лицо брата отвратительное ругательство, чтобы подавить, высмѣять и оплевывать то чувство, которое внезапно зашевелилось въ его сердцѣ. Однако, онъ не произнесъ ни слова и, потупивъ глаза и натываясь на предметы, поспѣшно вышелъ изъ комнаты. Онъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, къ потухшему самовару, и долго стоялъ тамъ, глядя на самоваръ, на стаканы, на курносый чайникъ, на кусокъ черстваго

калача, блѣдный и потерянный, съ жалкою улыбкою на губахъ.

«И вотъ для чего я совершилъ все это, — думалъ онъ: — для курносаго чайника, для черстватаго калача, для нанковаго пиджачишки? Гдѣ же Дмитрію Семеновичу понять это?»

Іона Петровичъ налилъ себѣ стаканъ холоднаго чая и залпомъ выпилъ его.

Въ кабинетъ вошелъ Дмитрій Семеновичъ. Онъ глядѣлъ на брата совершенно равнодушно, точно между ними не произошло ничего необыкновеннаго и заходилъ по комнатѣ, позвякивая массивною золотою цѣпью на щегольской поддевкѣ. Валтасаровъ опустился на стулъ и машинально придвинулъ къ себѣ пустой стаканъ.

— Братецъ, — сказалъ онъ: — это вамъ Аксиньюшка о форточкѣ-то прописала?

— О какой форточкѣ? — переспросилъ Дмитрій Семеновичъ, останавливаясь передъ братомъ.

— О форточкѣ въ батюшкиномъ кабинетѣ? Помните, вы еще мнѣ тогда о змѣенышѣ-то намекнули? — Валтасаровъ смѣшался.

Ожогинъ снова заходилъ по комнатѣ.

— Ничего я тебѣ о форточкѣ не говорилъ. Это тебѣ померещилось.

— Померещилось?

— Померещилось! — глаза Дмитрія Семеновича опять блеснули весело и лукаво.

— Негодяй вы, братецъ, и подлецъ 96-ой пробы, — прошепталъ Іона Петровичъ и тотчасъ же добавилъ: — Я вамъ сейчасъ ничего обиднаго не сказалъ, братецъ. Это вамъ померещилось!

Глаза Валтасарова загорѣлись ненавистью. Ожогинъ равнодушно зѣвнулъ и потянулся.

— Ну да, это мнѣ померещилось. А ты вотъ собери ка мнѣ перышко, чернильцевъ да бумаги. Да проводи меня въ комнату, гдѣ бы я могъ переждать зорьку. Съ зарей я отъ тебя уѣду, а мнѣ написать кое-что надо, письма нѣкія. Да еще вотъ что: приготовь мнѣ водицы стаканчикъ туда же. Я иногда пью ночью: со мной иногда ночью конвульсіи случаются, ескрикиваю я, путаюсь всего, съ акаціями въ разговоръ пускаюсь. Такъ вотъ приготовь все это, пожалуйста.

Валтасаровъ заметался по комнатѣ, разыскивая бумагу, чернила и перо.

— Комнатка вамъ, братецъ, готова, — говорилъ онъ: — я заранѣе распорядился; и водицы вамъ тамъ поставили. Служанка-то у меня непонятливая, да я позаботился. Я, братецъ, до всего самъ дохожу.

Онъ собралъ все, что требовалъ Дмитрій Семеновичъ и, вставивъ въ подсвѣчникъ новый стеариновый огарокъ, пригласилъ брата:

— Пожалуйста за мною. Въ комнаткѣ вамъ удобно будетъ; справите, что нужно, и почивайте съ Богомъ.

Братъ прошелъ въ отведенную для Дмитрія Семеновича комнату. Ожогинъ сѣлъ на оправленную для него постель, а Валтасаровъ поставилъ на столъ свѣчу и пузырекъ съ чернилами, положилъ бумагу и перо и со вздохомъ опустился на сосѣднее съ постелью кресло.

— Братецъ, — прошепталъ онъ, заискивающе взглядывая на Ожигина: — скажите по божески, получали ли вы отъ Аксиньюшки письмо?

Ожогинъ зѣвнулъ, раскидывая локти, и потянулся, выгибая спину.

— А въ Оренбургской губерніи, — отвѣчалъ онъ, — ужасъ какъ лошади дешевы!

«Негодяй», подумалъ Валтасаровъ.

Дмитрій Семеновичъ продолжалъ:

— Вотъ, что, братецъ, мнѣ бумаги нѣкія написать нужно... — онъ подмигнувъ брату идобавилъ: — Такъ вы будьте любезны оставить меня одного.

Валтасаровъ поднялся, съ ненавистью оглядывая брата. «Какъ вѣдь ломается - то надо мной, какъ вѣдь издѣвается, культяпочка - то эта!» подумалъ онъ и прошепталъ:

— Въ такомъ случаѣ, покойной, братецъ, ночи!

Онъ вышелъ изъ комнаты.

VII.

Ожогинъ съ улыбкою вынулъ изъ кармана поддевки пачку старыхъ писемъ въ истлѣвшихъ по краямъ конвертахъ, какіе-то документы и бумаги. Затѣмъ онъ улыбнулся, покосился на дверь и, даже прицелкнувъ пальцами, прошепталъ:

— Великолѣпная, чертъ возьми, канифоль!

Послѣ этого онъ разбавилъ въ пузырькѣ чернила, прибавивъ къ нимъ воды, и, оторвавъ отъ стараго письма чистый полулистикъ, сталъ, положивъ локти на столъ, выводить каракулями, съ невозможными ошибками, какъ малограмотный:

«Милое и нинаклятное мае детища».

Онъ долго писалъ такъ, старательно выводилъ каракули и еле удерживаясь отъ душившаго его смѣха. Порою онъ даже бросалъ перо, откидываясь назадъ, трясая головою и дрожа всѣмъ тѣломъ, между тѣмъ какъ его лицо дѣла-

лось пунцовымъ отъ пожиравшаго его хохота. А Балтасаровъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ подѣ окномъ, глядѣлъ на дрожавшія вѣтки акацій и думалъ, точно разговаривалъ съ неизвѣстнымъ собесѣдникомъ. Эту манеру думать, какъ бы разговаривая съ кѣмъ-то, онъ приобрѣлъ вскорѣ послѣ смерти его отца, когда онъ сталъ чуждаться людей и избѣгать разговора съ ними.

«Да-съ,—думалъ, какъ бы разговаривая съ кѣмъ-то, Балтасаровъ:—это вѣдь я напрасно братцу сказалъ, что на этотъ сюжетецъ разговаривать не желаю. Я на этотъ сюжетецъ очень разговаривать люблю; и обозлился-то я именно потому, что братецъ сразу во мнѣ эту черточку подмѣтилъ!» Балтасаровъ пристально глядѣлъ на трепетавшіе кусты акацій. Онъ усмѣхнулся. «А относительно форточки братецъ ошибся,—продолжалъ онъ свои похожія на разговоръ размышленія:—форточку-то не я открылъ, а вѣтеръ. Я только видѣлъ это да такъ открытой ее и оставилъ. Закрѣпить ее мнѣ никакъ нельзя было! Какъ же я могъ закрыть ее, если батюшка передъ болѣзнью духовную-то передѣлать хотѣлъ? Сдѣлалъ на мое имя да и покался, видно, снова къ сыну своему законному любовью воспылалъ. Онъ вѣдь его изъ дому то изъ-за ревности выгналъ; къ любовницѣ своей сына-то приревновалъ да и выгналъ. А потомъ и покался. И я зналъ все это. Только тутъ болѣзнь съ батюшкою приключилась и я надѣялся, что духовная моей останется. Не встанетъ, думалъ, батюшка съ постели. Анъ, оказывается, болѣзнь-то на убыль пошла. Тутъ вѣтеръ форточку-то и отворилъ. Духовной-то батюшка и не передѣлалъ. Вѣтеръ-то его въ могилку сдунулъ. Вотъ оно вышло-то все какъ. Ну, а въ Аксиньюшкиной кончинѣ я ужъ совсѣмъ не причесть, пальца не приложилъ даже. Все это само собой вышло

Пошла она на побывку на родину и Чечору въ бродъ захотѣла перейти, да въ омутъ-то и оступилась и утонула. А я это потому хорошо знаю, что она разъ выплывала ужъ, да я ее опять туда съ камнемъ пустилъ. Боязно мнѣ. Тѣнь на мнѣ есть! И думается мнѣ, кромѣ того, что Аксиныюшка видѣла, какъ я въ батюшкиной комнатѣ при открытой форточкѣ стоялъ. Видѣла—и братцу обо всемъ этомъ отписала!»!

Валтасаровъ пришелъ въ сильное раздраженіе. Онъ уже стоялъ передъ окошкомъ блѣдный какъ полотно, съ вздрагивающимъ подбородкомъ, слегка жестикулируя и шевеля губами. Наконецъ, онъ опомнился, подошелъ къ самовару и, нацѣдивъ себѣ стаканъ холоднаго чаю, залпомъ выпилъ его. Затѣмъ онъ опустился на стулъ и, поставивъ на столъ локти, подперъ руками голову.

— Не могу, не могу я больше владѣть собою, ребятушки,—простоналъ онъ съ тоскою.

Онъ всхлипнулъ. Онъ чувствовалъ, что какая-то какъ бы посторонняя сила, властная и могучая, толкала его въ комнату къ брату, понуждая рассказать ему все. И онъ боролся съ этимъ желаніемъ, какъ всадникъ съ понесшимъ конемъ. Эта борьба продолжалась не долго, но она отняла у него всю волю. Онъ поплелся къ комнатѣ брата, блѣдный, еле волоча ноги. Онъ тронулъ рукою дверь; она пронзительно, какъ ему показалось, скрипнула.

— Кто тамъ?—услышалъ онъ недовольный голосъ Дмитрія Семеновича и потянулъ къ себѣ дверь съ усиленіемъ, точно она была чугунная.

VIII.

Валтасаровъ переступилъ порогъ. Его внезапный приходъ, казалось, смутилъ Дмитрія Семеновича Тотъ смотрѣлъ на него строго и сурово и язвительно замѣтилъ:

— Если вы, братецъ, рассчитываете спереть у меня Аксиньюшкино письмо, то напрасно надѣетесь, играйте-съ назадъ! Атанде-съ муа! Вамъ это не удастся!

Дмитрій Семеновичъ говорилъ это и попрежнему одѣтый сидѣлъ на постели, положивъ на столъ локти.

Стеариновый огарокъ горѣлъ тускло.

— Я не за письмомъ пришелъ, братецъ, а за лаской,—прошепталъ Валтасаровъ и Ожогина поразилъ его измученный видъ.

«И вовсе не за лаской,—подумалъ Валтасаровъ:—а я и самъ не знаю зачѣмъ».

— Я не за письмомъ пришелъ,—настойчиво повторилъ онъ:— а вотъ зачѣмъ... — онъ передохнулъ, сверкнулъ глазами и началъ:—Помнишь ли ты меня, братецъ, когда я крапивничкомъ паршивымъ у васъ на заднемъ дворѣ росъ? Помнишь ли ты мать мою, просвирнину дочку честную, но отцомъ твоимъ соблазненную и изъ боязни въ блудъ съ нимъ вступившую, помнишь ли ты ее, когда отецъ твой ее со двора безъ вины поганой шемелой выгналъ? Слышалъ ли ты, братецъ, что она, просвирнина дочка честная, въ городѣ съ горя да бѣдности въ пьянство и развратъ впала, извозчикъей дѣвкой стала, а я, младенецъ невинный, ей на пропой Христа ради на улицѣ копеечки у прохожихъ просилъ, по ея наущенію сыномъ дворянскимъ себя называлъ? Холодны вечера осенніе, а я босикомъ, бывало по улицѣ бѣгалъ, въ рученкѣ крошеч-

ной, коченѣющей нищенскіе семишники зажимая! Знаешь ли ты, купеческій сынъ, что это значитъ, когда младенца завѣдомо, ради выгоды копеечной, лгать учать? Вѣдь въ каждомъ сердцѣ младенческомъ ангелъ живетъ, такъ каково же ангелу-то этому, когда его алтарь поганять? Да, я лгалъ! Всѣ младенческіе годы лгалъ! Лгалъ и притворялся. Плакалъ и лгалъ, кулачкомъ слезы вытиралъ и притворялся. И все мое тѣло младенческое въ синякахъ и болячкахъ было. Такъ-то Дмитрій Семенычъ! — Валтасаровъ на минуту замолчалъ, передохнулъ и продолжалъ снова:— Ни отецъ, ни мать меня не любили, потому что они зачали меня не въ любви, а въ блудѣ. И они проклинали рожденіе мое. И я зналъ это. Я зналъ это и бѣгалъ босикомъ въ церковь за нихъ Богу молиться. Много младенческое сердце прощать можетъ, потому что ангелъ святой ручкой своей его осѣняетъ и благословляетъ. Да. Я прощалъ и въ церковь босикомъ бѣгалъ, а изъ церкви иду, матушкѣ — царство ей небесное — на пропой семишники у прохожихъ собираю. И такъ все мое дѣтство прошло. Да. А потомъ послѣ смерти матушки отецъ твой въ городъ меня розыскалъ, въ духовное училище опредѣлилъ и на каникулы въ домъ свой взялъ. Я подошелъ къ нему, дичась и робѣя, но глазенками своими о любви его молилъ. А онъ за подбородокъ меня взялъ и брови сурово сдвинулъ. И понялъ я, что онъ проклинаетъ рожденіе мое, а въ домъ свой меня взялъ потому, что старость къ нему подошла и онъ ада испугался. Для себя самого, для ради спасенія души своей изъять онъ меня въ домъ свой, а не болячекъ моихъ младенческихъ пожалѣлъ! Онъ тебя изъ дому выгналъ и по ночамъ о тебѣ плакалъ, а меня въ домъ взялъ и никогда на кровати моей не посидѣлъ! Ты много богаче меня, Дмитрій

Семенычъ!—Валтасаровъ передохнулъ снова:— Да, Дмитрій Семеновичъ, продолжалъ онъ, повышая голосъ:— въ младенчествѣ своемъ я Голгофу принялъ, а теперь хочу въ міръ кесаремъ войти! Да, кесаремъ, потому что миліонъ—кесарь! Такъ вотъ что, Дмитрій Семенычъ! Вотъ откуда у меня жестокость-то эта явилась! Нѣтъ черствѣе людей, единому кесарю служащихъ, и даже евѣтые угодники, передъ тѣмъ какъ идти на служеніе своему кесарю, отъ родителей отрекались. Да-съ! И еще вотъ что я скажу вамъ, Дмитрій Семенычъ. Теперь я пока твердо стою на своемъ мѣстѣ, а ужъ если такъ выйдетъ, что меня къ стѣнѣ припрутъ, то вамъ-то, во всякомъ случаѣ, имѣнья моего какъ ушей своихъ не видать. Ибо я прежде, чѣмъ сдать ся окончательно, всѣ капиталы мои въ единую ночь размотаю. И тогда ужъ босикомъ на Валаамъ спасаться пойду!

Валтасаровъ замолчалъ и стоялъ передъ братомъ блѣдный и взволнованный. Дмитрій Семеновичъ какъ бы продолжалъ слушать его. Въ комнатѣ было тихо. Только за окномъ уныло вылъ вѣтеръ.

IX.

Наконецъ, Валтасаровъ какъ бы оправился и встряхнулъ русыми волосами. На его губахъ появилась насмѣшливая улыбка.

— А теперь, Дмитрій Семенычъ,—сказалъ онъ:— не уступите ли вы мнѣ Аксиньюшкина письма, и если уступите, то сколько вы за него съ меня возьмете?

Дмитрій Семеновичъ долго смотрѣлъ на брата, точно ничего не понимая; но наконецъ, онъ опомнился и его глаза снова приняли веселое и лукавое выраженіе. Онъ

закурилъ папиросу, сунулъ ее подъ усы, въ уголь розовыхъ губъ, и процѣдилъ:

— А въ Оренбургской губерніи...

Онъ замолчалъ. Онъ хотѣлъ было снова сказать, что въ Оренбургской губерніи ужасъ какъ лошади дешевы, но передумалъ и добавилъ:

— А что же, я не прочь. Я даже, признаться, только за этимъ къ тебѣ и прѣхалъ!

Валтасаровъ повеселѣлъ.

— Сколько же вы за него возьмете?

— Тридцать тысячъ.

Ожогинъ поднялъ на брата глаза.

Іона Петровичъ всплеснулъ руками.

— Братецъ, голубчикъ, да вы, извините меня, съ ума сошли! За кокой нибудь полулистикъ исписанной бумажки—и вдругъ тридцать тысячъ! Да вѣдь это дороже Пушкина, братецъ!

Дмитрій Семеновичъ улыбнулся.

— Ну, двадцать пять.

— Пятнадцать,—предложилъ Іона Петровичъ.

Дмитрій Семеновичъ покачалъ головою.

— Ну, двадцать. Двадцать, братецъ, кругленькая сумма!

Іона Петровичъ съ умиленіемъ глядѣлъ на брата.

— Ну, ладно, двадцать, такъ двадцать,—внезапно согласился тотъ и зѣвнулъ, раскинувъ крестомъ локти и потягиваясь.

Ему хотѣлось спать, его голова отяжелѣла, а въ виски постукивало.

— Вотъ и отлично,—сказалъ Валтасаровъ и тоже зѣвнулъ:—Вотъ и отлично, я приготовлю вамъ сейчасъ че-

тыре векселя по пяти тысячъ каждый. Ладно? А то я при себѣ такихъ денегъ не держу. Ладно, братецъ?

— Великолѣпно,—отвѣчалъ Ожогинъ:—да прикажи мнѣ подать лошадей. Я сейчасъ и поѣду. Вонъ уже и заря занимается.

Дмитрій Семеновичъ кивнулъ въ окошко. Съ неба глядѣлъ бѣлесоватый разсвѣтъ.

Валтасаровъ вышелъ.

— Ловко!—прошепталъ Ожогинъ, улыбаясь, и шелкнулъ пальцами. Онъ снова зѣвнулъ и извлекъ изъ кармана поддевки письмо, начинавшееся словами: «Милое и нинаклятное мае детища».

Черезъ полчаса Валтасаровъ принесъ брату четыре векселя. Братья обмѣнялись документами, наскоро пробѣжавъ ихъ и спрятавъ по карманамъ.

— Ну, вотъ теперь дѣло въ шляпѣ,—съ улыбкою сказалъ Валтасаровъ, присаживаясь на стулъ:—Собственно говоря, продолжалъ онъ, Аксиньюшкино письмо яйца вышленнаго не стоитъ. Это вѣдь не документъ и даже не косвенная улика. Я больше для васъ, братецъ, его приобрьлъ. Нужно же и вамъ что нибудь послѣ смерти батюшки получить!

Валтасаровъ подмигнулъ Ожогину и подумалъ: «Ахъ, ты, культипочка! Здорово продешевилъ письмо-то!» Его душилъ смѣхъ. Дмитрій Семеновичъ тоже улыбался.

— Ну, положимъ,—отвѣчалъ онъ:—письмо это для тебя необходимо. Вѣдь я-же все-таки могъ его кое-кому показывать, читать, возбуждать, такъ сказать, молву.

Дмитрій Семеновичъ зѣвнулъ. Валтасаровъ тоже скривилъ ротъ.

— Это отчасти правда,—сказалъ онъ.

Между тѣмъ, на дворѣ звякнулъ колокольчикъ. Ожогину подавали лошадей; онъ всталъ и протянулъ брату руку.

— Ну, до свиданія, братецъ! Богъ знаетъ, когда мы свидимся!

Валтасаровъ поймалъ его за локоть, притянулъ къ себѣ и поцѣловалъ прямо въ губы. Послѣ этого онъ проводилъ его въ переднюю. Ожогинъ надѣлъ лисій полушубокъ и высокую папаху.

Они вышли на крыльцо.

Х.

Уже свѣтало. Розовая полоска зари свѣтилась на востокъ; мѣсяцъ стоялъ надъ степью блѣдный, какъ покойникъ. Въ кустахъ акаціи, нахохлившись, сидѣли озлябіе воробы. Деревья стояли мокрыя и печальныя, точно ихъ разставили по саду для наказанія. Все было задернуто бѣлесоватою дымкою грустнаго осенняго разсвѣта. Пахло сыростью, гнилью, смертью.

Ожогинъ сѣлъ въ телѣжку и приподнял папаху. Колокольчикъ загалдѣлъ подъ дугою, пугая галокъ. Но у воротъ лошади остановились. Ожогинъ звалъ Валтасарова, дѣлая ему рукою. Валтасаровъ подбѣжалъ къ нему.

— А знаешь что, — прошепталъ Дмитрій Семеновичъ, наклоняясь изъ экипажа и лукаво сверкая глазами: — а знаешь что? Никакого Аксиньюшкинаго письма у меня не было. Я написалъ его самъ въ твоёмъ домѣ; для этого и чернилъ у тебя спросилъ; а чернила-то я водицей разбавилъ; оно и вышло на старое письмо похоже!

Дмитрій Семеновичъ расхохотался, сверкнувъ зубами, и легонько тронулъ ямщика за плечо. Колокольчикъ

снова загладѣлъ подъ дугою. Валтасаровъ стоялъ, опѣшивъ. Онъ думалъ: «щенокъ, мальчишка, кулѣтянка»!

И вдругъ онъ побѣжалъ за телѣжкой. Ему тоже захотѣлось поломаться, побахвалиться, покуражиться, открыть свои карты.

— Братецъ,—кричалъ онъ:—Дмитрій Семеновичъ!

Телѣжка остановилась снова. Иона Петровичъ, улыбаясь, подошелъ къ брату, подмигнулъ ему и сказалъ, выпуская для пущаго эффекта простонародный жаргонъ:

— И неужли вы думали, братецъ, что я послѣ эндакихъ-то дѣловъ моихъ уступлю вамъ хошь единый семишничекъ? Никакъ это, братецъ, невозможно! Вѣдь я,—добавилъ онъ, понижая голосъ и хватаясь за переплетъ телѣжки:—вѣдь я приказчикомъ у батюшкиной души состою! Поняли-съ? Такъ-то-съ! И вы смѣли, думать, что я вамъ 20 тысячъ за глупѣйшую бумажонку отваяю? Я отъ своихъ кровныхъ, понимаете ли, крро-о-вныхъ денегъ и вдругъ 20 тысячъ! Вотъ что, милый братецъ Дмитрій Семеновичъ: на всѣхъ моихъ, вамъ выданныхъ векселяхъ годокъ не проставленъ и вамъ за нихъ ни одинъ дуракъ гроша мѣднаго не дастъ. Поняли-съ? Ошибка съ моей стороны произошла! Вы-то проглядѣли, баиньки вамъ крѣпко захотѣлось, а я-то тутъ какъ тутъ. Извергъ я рода человѣческаго! Плодъ я любви несчастной!

Валтасаровъ расхохотался.

Дмитрій Семеновичъ долго смотрѣлъ въ глаза брата, поблѣднѣвъ и какъ бы плохо понимая то, о чемъ ему говорили. Наконецъ, онъ сердито крикнулъ ямщику:

— Трогай!

Лошади скрылись за косогоромъ.

«Кулѣтянка, розовенькая мордочка!» хотѣлось кричать Валтасарову, но онъ не могъ и хохоталъ какъ въ исте-

рикѣ. И вдругъ онъ замолчалъ. Долина рѣки Чечоры лежала мертвая, холодная и безгласная, какъ выброшенная на берегъ утопленница, и онъ вспомнилъ Аксиньюшку.

Да, такихъ, какъ Дмитрій Семеновичъ, культяпокъ онъ проведетъ, обойдетъ и выведетъ тысячи. Но отъ себя самого, отъ своихъ воспоминаній онъ не уйдетъ никуда и никогда. И онъ будетъ вѣчно подстригать вѣтки акацій, царапающія по стеклу, какъ старческія руки.

А не выкорчевать ли акаціи совсѣмъ вонъ изъ сада?

Валтасаровъ повуро пошелся къ себѣ въ усадьбу.

НА ПУТИ.

Когда я вошелъ къ нимъ, она сидѣла у окна трепещущая и возбужденная. Все ея молодое, красивое и выразительное лицо было въ красныхъ пятнахъ. Ея темные глаза горѣли негодованіемъ, а яркія, рѣзко очерченныя губы вздрагивали. Въ ту минуту, когда я отворялъ дверь, она что-то громко кричала мужу, энергичнымъ жестомъ повернувъ къ нему голову, такъ что синія жилы надулись на ея бѣлой шеѣ, какъ бичевки. Мужъ, сидѣвшій на диванѣ полуодѣтый, блѣдный и худой, съ втянутыми щеками, изъ которыхъ болѣзнь высосала всю кровь, покашливая, отвѣчалъ ей:

— Царство мое не отъ міра сего! кха-кха... Помнишь ли ты это? Я уже слышу... кха-кха... однимъ ухомъ погребальный звонъ надъ собою.

Я вошелъ и прервалъ ихъ ссору. Мужъ, очевидно, обрадовался мнѣ отъ души, но жена взглянула на меня косо и сказала мнѣ «здравствуйте» такимъ тономъ, точно обругала. Она вся еще дышала ссорою. Ея грудь тяжело приподнималась, а глаза горѣли. Это были небогатые землевладѣльцы изъ бывшихъ однодворцевъ—Свиридовы. Ихъ хуторокъ съ 40 десятинами земли стоялъ въ полѣ, у глу-

бокаго оврага, въ двухъ верстахъ отъ села Широкаго, тамъ, гдѣ вьется дорога черезъ это село въ городъ Энскъ.

Путешествуя изъ этого городка въ тѣ мѣста, гдѣ я жилъ, я нерѣдко заѣзжалъ къ Свиридовымъ. На этотъ разъ я заѣхалъ къ нимъ вечеромъ наканунѣ Пасхи, въ красивую субботу. Мнѣ предстояло провести у нихъ ночь, такъ какъ я узналъ, что переправа черезъ рѣчку Мылву не безопасна, а путешествовать по этой безпокойной рѣченкѣ ночью мнѣ не хотѣлось.

Я сидѣлъ въ горенкѣ Свиридова, докладывая ему обо всемъ этомъ. Стоявшая на столѣ лампа освѣщала хорошо вымытую и принарядившуюся ради праздника комнату. Даже листья воскового плюща лоснились совершенно по праздничному. Въ кивотѣ, озаренномъ голубоватымъ свѣтомъ лампадки, Пантелеймонъ-Цѣлитель воздѣвалъ къ небу свои высохшія отъ поста и желтыя, какъ воскъ, руки. Рядомъ, на стѣнѣ, въ натертой деревяннымъ масломъ рамѣ помѣщался князь Барятинскій, кутаясь въ косматую бурку. Два таракана разглядывали ордена генерала съ такою любознательностью, точно они и сами состояли на государственной службѣ. Въ комнатѣ пахло воскомъ, деревяннымъ масломъ и тяжело больнымъ.

Свиридовъ, слушая меня, сидѣлъ неподвижно на своемъ диванѣ и учащенно съ хрипомъ дышалъ. Я зналъ, что онъ умираетъ вотъ уже четвертый годъ.

— А мы вотъ все съ Настенькой ссоримся, — говорилъ онъ мнѣ, покашливая, немного спустя: — не поѣхала она къ заутрени-то. Работницу отпустила, а сама со мною, лядащимъ, осталась. Кха-кха... Добрая она-то!

Настасья Петровна круто повернула къ мужу свое лицо. Ея глаза все еще были полны негодованія. Казалось, она хотѣла изрыгнуть по адресу мужа что нибудь очень гру-

бое, но воздержалась не безъ усилія. И тогда она съ искривленнымъ лицомъ сказала мнѣ:

— А у насъ вамъ плохо ночевать будетъ. Клоповъ у насъ видимо-невидимо.

Я просилъ ее не беспокоиться.

— И Илья Ивановичъ по ночамъ капляетъ тяжко,— добавила она:—проѣхать бы вамъ лучше двѣ версты къ Сорокинымъ; Сорокины много чище насъ живутъ.

Я снова попросилъ ее не беспокоиться.

— Да съ чего вы взяли, что я беспокоюсь-то?—сердито сказала она и встала.

— Настя,—перебилъ ее мужъ, укоризненно качая головою:—ахъ, Настя, Настя!

— И сама знаю, что Настя,—огрызнулась та и добавила, обращаясь ко мнѣ:

— Я на кухню иду, а вы хотите—спать ложитесь, а хотите—съ нимъ хоть до вторыхъ пѣтуховъ балясничайте!—и указавъ рѣзкимъ жестомъ на мужа, она вышла, сердито хлопнувъ дверью.

Поговоривъ около часа со Свиридовымъ, мы, наконецъ, улеглись спать, онъ за перегородкою, я въ передней комнате на диванѣ.

Однако, мнѣ не спалось. Я не привыкъ спать въ эту ночь и, тщетно проворочавшись съ боку на бокъ, я, наконецъ, надѣлъ пальто и вышелъ въ прилегавшій къ дому садъ.

Въ саду было тихо и темно. На небѣ яркими группами, точно собравшись на совѣщаніе, горѣли звѣзды, пошевеливая лучами. Оттаявшая земля наполняла воздухъ тѣми благоуханіями ранней весны, которыя такъ бодрятъ челоуѣка и сообщаютъ ему столько новыхъ силъ и надеждъ. Я люблю этотъ запахъ оттаявшей почвы и пробудившейся

жизни. Онъ такъ густъ и тягучъ, что его пьешь, какъ воду.

Я сѣлъ между двумя кустами сирени на покосившуюся скамейку. Отсюда я видѣлъ за садомъ пѣнившуюся и бурлившую полосу рѣки Мылвы, несшей на своемъ хребтѣ истаявшія льдины своихъ притоковъ. За Мылвою на холмѣ горѣли огни села Широкаго. Бѣлый профиль церкви съ фонаремъ на колокольнѣ въздымался среди темныхъ избенокъ, какъ остроконечный маякъ. Я сидѣлъ и думалъ, о чемъ думается обыкновенно въ вѣшнюю ночь, среди невозмутимой тишины, подъ сіяніе звѣздъ. Эти думы бываютъ похожи на пѣсню. И вдругъ я услышалъ неподалеку отъ себя шопотъ. Я оглянулся. За кустомъ орѣшника, въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ меня, стояли мужчина и женщина. Не смотря на мракъ, я сразу узналъ ихъ. Это были Настасья Петровна и мелкій торговецъ хлѣбомъ Тарасовъ, принадлежавшій, какъ мнѣ было извѣстно, къ какой-то безпоповской сектѣ. Средняго роста и курчавый брюнетъ, онъ стоялъ передъ нею, молодцовато упершись лѣвою рукою въ бокъ.

— Такъ придешь?—проговорилъ онъ, поглядывая то на свои щегольскіе сапоги, то на Настасью Петровну.

Онъ, очевидно, рисовался.

— Только свисните, — отвѣчала та, кутаясь въ темный платокъ и вздрагивая. Свой разговоръ они вели въ полголоса.

— То-то-съ, — продолжалъ, рисуясь и покачиваясь на каблучкахъ, Тарасовъ.

— Главное дѣло, помни: придешь, буду жить съ тобой, какъ съ женою, и на тятеньку не посмотрю. А не придешь, на Красную горку повѣнчаюсь. Невѣста го-

това: двѣ тысячи деньгами и домъ съ мезониномъ. Мезонинъ докторъ подъ квартиру снимаетъ.

— Слушаю, Григорій Пахомычъ, — прошептала Свиридова.

Тарасовъ недовольно махнулъ рукою, какъ бы останавливая ее.

— А ты не трещи, какъ сорока.

Онъ опять закачался на каблукахъ и сталъ разсматривать на своей рукѣ золотой перстень.

— Мы теперь отъ тятеньки выдѣлъ полностью получили, — продолжалъ онъ — и теперь на жительство въ городъ Энскъ ѣдемъ. Завтра утромъ съ 12-ти-часовымъ. Помни это!

— Я, Григорій Пахомычъ... — прошептала Свиридова и не кончила.

— Не трещи, — перебилъ ее Тарасовъ.

И, подбоченившись фертонъ, онъ продолжалъ:

— Тятенька передъ выдѣломъ насъ обекрыжить хотѣли, но только мы имъ въ руки не дались. И сами скользки и увертливы. Черезъ адвоката тятенькѣ напомнили, что капиталы не ихніе, а нашей покойной маменьки, и этимъ тятенькѣ ротъ замазали. А нужно тебѣ сказать, что тятенька свои капиталы на маменькино имя перевелъ, когда маменька покойная еще живы были, а тятенька обанкрутиться задумали.

Тарасовъ тихо разсмѣялся. Свиридова смотрѣла на него съ умиленіемъ. Я зналъ, что она по своимъ воззрѣніямъ женщина честная, но, очевидно, всякая мерзость, выходящая изъ устъ Тарасова, казалась ей верхомъ добродѣтели.

Между тѣмъ, Тарасовъ продолжалъ:

— Такъ помни! Завтра, какъ десять часовъ пробьеть, ты вонъ изъ дверей и бѣги на мельницу къ Перфилихѣ. Да съ собой ничего не бери, я тебя и голую возьму. Поняла?

— Поняла, Григорій Пахомычъ,—прошептала Настасья Петровна, вздрагивая.

— На мельницу прибѣжишь, тамъ теперь никого нѣтъ, поверни къ старому-каузу и тамъ Василя кликни. Василий тебя на вокзалъ доставить. Помни, поѣздъ въ 12 часовъ отходитъ. Опоздаешь, пеняй на себя. На Красную горку женюсь. Такъ вотъ тебѣ мой наказъ. А за тѣмъ до свиданья!

Тарасовъ молодцовато приподнял съ курчавой головы шапку и двинулся прочь.

— Пойдите, Григорій Пахомычъ, миленькій,—прошептала Свиридова, трепеща всѣмъ тѣломъ.

Она бросилась къ нему.

— Завтра я буду на мельницѣ, вы только свисните, и я, какъ собака, прибѣгу!—шептала она, захлебываясь и трепеща:—Мужъ изобьеть, я на карачкахъ приползу, но только вы скажите, скажите ради Господа, любите ли вы меня вотъ хоть столечко?—и она показала на ноготь своего мизинца.

Она ждала его отвѣта и смотрѣла на него глазами, полными слезъ. Ея взоръ выражалъ и безграничную любовь, и жажду рабства, и безконечную преданность и испугъ. Такъ глядитъ собака въ глаза хозяина, только что исполосовавшаго ее тяжелою плетью. Въ глазахъ чловѣка я никогда не видалъ подобнаго выраженія.

Тарасовъ размѣялся и сказалъ:

— А тебѣ на что это знать?

Она повисла у него на шеѣ и замерла. И въ эту минуту

гудкій ударъ церковнаго колокола прилетѣлъ въ садъ и упалъ рядомъ съ ними. Это произошло такъ неожиданно, что они отскочили другъ отъ друга чуть не на сажень, точно между ними упалъ не звукъ, а бомба. Свиридова глазами, полными слезъ, заглянула вдаль. Мнѣ казалось, что ея лицо выражало гнѣвъ на этотъ звукъ, оторвавшій ее отъ любимаго человѣка. Я тоже смотрѣлъ за рѣку.

Тамъ въ селѣ, мимо бѣлѣвшаго профиля церкви, среди мрака и тумана, двигались тысячи огненныхъ точекъ. Можно было подуматъ, что рои свѣтящихся наѣкомыхъ блуждаютъ тамъ среди мрака и холода, отыскивая путь къ свѣту.

— О-о-съ е-е-се изъ ме-е-ыхъ!—прилетѣло въ садъ.

Я понялъ, что это поютъ «Христосъ Воскресе».

Тарасовъ молчаливо удаллся, исчезнувъ во мракѣ. Настасья Петровна скрылась тоже. Колокольный звонъ, торжественно колеблясь, неся по саду. Темные силуэты деревьевъ стояли притихшіе и оцѣпенѣлые, испуская сильный запахъ раскрывшихся къ жизни почекъ.

Я вернулся въ горенку и легъ на диванъ. За перегородку слышался страстный шопотъ молившагося Свиридова. Слышно было, какъ онъ то опускался на колѣни, то поднимался снова, крестясь и покашливая. Наконецъ, онъ улегся, пожелавъ покойной ночи женѣ. Та отвѣчала ему нехотя откуда-то изъ угла.

Я все лежалъ на диванѣ съ открытыми глазами. Голубоватое пятно бродило по потолку отъ горѣвшей передъ иконами лампадки. Князь Барятинскій по прежнему хмурился въ своей рамѣ. Святой Пантелеймонъ все также въ молитвенномъ экстазѣ воздѣвалъ къ небу свои высохшія отъ поста руки; и вдругъ все лицо князя сморщилось,

точно слясъ улынуться; онъ выдвинулся изъ рамы и зашепталъ мнѣ въ самое лицо:

— Чавчавадзе, Чавчавадзе!..

По всей вѣроятности, это жеваль въ просонкахъ губами Свиридовъ, но я уже не могъ сообразить этого. Я заснулъ. Въ комнатѣ сразу стало тихо, какъ въ могилѣ. Пантелей-нонъ-Цѣлитель внезапно горько и подавленно разрыдался.

Вѣроятно, это рыдала въ своей постели Настасья Петровна.

Когда я проснулся, было уже 10 часовъ. Свиридовъ покашливалъ за перегородкою. Я вспомнилъ происшествія этой ночи и, поспѣшно одѣвшись, вышелъ на дворъ. Мнѣ хотѣлось узнать, ушла ли Настасья Петровна на мельницу. Солнечное утро сильно пригрѣвало землю. По лицу земли, по пашнямъ и саду шло веселое ликование. Сильный запахъ пробудившейся жизни разливался повсюду отъ земли, отъ воздуха, отъ рѣки и деревянныхъ построекъ. Даже на старыхъ сосновыхъ доскахъ забора янтарными каплями выступила вытопленная солнцемъ смола.

Я стоялъ въ воротахъ, прислушиваясь къ внешнему говору.

И тутъ я увидѣлъ Настасью Петровну.

Она быстро шла по направленію къ оврагу, подобравъ сбоку платье и перепрыгивая черезъ сверкающія, какъ стекло, лужи. Я понялъ, что она идетъ на мельницу и смотрѣлъ на ея спину, волнообразно колыхавшуюся отъ сильныхъ движеній. Вскорѣ она скрылась подъ скатомъ оврага и затѣмъ снова появилась въ руслѣ, загибая вправо.

И въ эту минуту по дорогѣ отъ мельницы показались несшіе образа крестьяне, «богоносцы», какъ ихъ называютъ по деревнямъ. Ихъ было человѣкъ десять. Безъ

шапокъ, въ яркихъ рубахахъ и темныхъ кафтанахъ, они мѣрно вышагивали по грязной дорогѣ подъ пѣніе «Христосъ воскресъ». Высокій парень несъ впереди икону Божіей Матери, водруженную на длинное древко. Вѣлая съ золотымъ крестомъ хоругвь развѣвалась по вѣтру. Но одну сторону Божіей Матери несли темное, закапанное воскомъ Распятіе, по другую Евангеліе въ лиловомъ переплетѣ. На его серебряныхъ застежкахъ мигало солнце.

Шествіе медленно подвигалось среди яснаго утра. Божья Матерь точно плыла по воздуху, показывая міру Своего Ребенка и благословляя Имъ землю. Между тѣмъ, Настасья Петровна, выкарабкавшись на противоположный скатъ оврага, увидѣла это шествіе, преградившее ей дорогу къ мельницѣ. На минуту она остановилась какъ бы ошеломленная и затѣмъ, круто повернувшись и слегка согнувшись, она снова сбѣжала въ русло. Все также пригибаясь, она пробѣжала русломъ нѣсколько десятковъ сажень и снова выскочила на скатъ.

Но и отсюда она увидѣла преграждавшее ей дорогу шествіе. Божья Матерь точно благословляла ее Своимъ Ребенкомъ.

Настасья Петровна, пригнувшись чуть не къ самой землѣ, снова сбѣжала въ русло. Тутъ она заметалась направо и на лѣво съ искаженнымъ лицомъ, точно застигнутая врасплохъ тѣмъ-то ужаснымъ. Ясно было, что въ ней происходила мучительная борьба; было видно, что у нее не хватаетъ силъ пройти мимо крестнаго шествія, а между тѣмъ, все ея существо зоветъ ее туда, на мельницу, къ двѣнадцати-часовому поѣзду. И она продолжала беспорядочно метаться. Тѣмъ временемъ, крестный ходъ уже приблизился къ самому скату оврага и Настасья Петровна увидѣла это. Ее точно что ударило. Она опустилась

на землю и вцѣпилась пальцами въ свой волосы. Борьба, очевидно, окончилась.

До моего слуха долетѣлъ пронзительный вошь. Въ немъ было столько страданія, что мнѣ хотѣлось бѣжать туда, къ ней на помощь.

Когда Настасья Петровна, пошатываясь, проходила мимо меня вслѣдъ за образами въ ворота своего хутора, въ лицѣ ея не было ни кровинки. Ея глаза потухли. На всегда ли, не умѣю сказать. Черезъ часъ я уже переѣзжалъ Мыльву.

ЖЕНИХИ.

Мытищевъ прѣхалъ въ усадьбу Сукноваловой на велосипедѣ. Отъ его имѣнья до усадьбы Сукноваловой всего 15 верстъ и Мытищевъ любитъ ѣздить туда такимъ образомъ. И скоро и весело, да и человѣка брать не нужно; велосипедъ можно безъ всякихъ предосторожностей бросить у крыльца.

Мытищевъ такъ и сдѣлалъ. И, щури глаза, онъ оглядывалъ всю щеголеватую, недавно выстроенную усадьбу Сукноваловой, обильно освѣщенную лучами заходящаго солнца. Усадьба по истинѣ была великолѣпная. Всѣ ея постройки, начиная съ помѣстительнаго о двухъ атажахъ дома, были возведены изъ камня и крыты желѣзомъ. Видѣлся даже кое-какой стиль. Дворъ, обширный и ровный, былъ тщательно выметенъ и посыпанъ желтымъ пескомъ. Все поражало здѣсь блескомъ и чистотою. Усадьба эта выстроена три года тому назадъ, подъ надзоромъ Сукноваловой, жестоко скучавшей въ то время отъ бездѣлья и развлекавшей себя постройками. Это имѣнье приноситъ ей доходу до девяти тысячъ въ годъ, сама же Сукновалова считается въ миллионѣ. Она единственная дочь теперь уже умершаго купца Пвана Сукновалова, суконнаго

фабриканта, мельника и землевладельца. По происхождению онъ былъ крестьянинъ, но одѣвался европейцемъ. Свои толстые пальцы онъ любилъ украшать дорогими перстнями, а на лѣвой рукѣ носилъ даже браслетъ, память по своей рано умершей женѣ. Кромѣ того, на носу онъ носилъ синіе очки, впрочемъ, по необходимости. Однажды, разглядывая въ несовсѣмъ трезвомъ видѣ устройство револьвера, онъ нечаянно спустил курокъ; пуля, по счастью, прошла мимо его носа и ему только опалило вѣки. Послѣ этого онъ и надѣлъ на носъ синіе очки и его почему-то прозвали въ уѣздѣ Бисмаркомъ, хотя онъ ничего общаго съ желѣзнымъ канцлеромъ не имѣлъ. Впрочемъ, Бисмаркъ этотъ далъ дочери хорошее образованіе. Теперь ей 25 лѣтъ, она еще дѣвушка и живетъ со старухой теткою Аграфеною Михайловною, которую зоветъ «тетенькой незнайкой», такъ какъ она почти каждую свою фразу начинаетъ словами: «Не знаю ужъ какъ, Аксющенька». Тетушка эта бездѣтная вдова, дама очень полная и рыхлая. Она очень любитъ баню и чай пьетъ съ медомъ, увѣряя, что сахаръ перегоняютъ черезъ собачью кость. Кромѣ этого, она любитъ послушать хорошаго дѣдушку и ведетъ переписку съ однимъ монахомъ изъ Аѳонскаго монастыря.

Мытищевъ припомнилъ все это, оглядывая Сукноваловскую усадьбу. И тутъ онъ услышалъ веселый хохотъ на балконѣ. Онъ сразу узналъ голосъ Ксеніи Ивановны и торопливо пошелъ въ садъ, рассчитывая, что вся ихъ компанія уже въ сборѣ и пьетъ на балконѣ чай. У Ксеніи Ивановны Сукноваловой бывали преимущественно мужчины и притомъ неженатые, иначе сказать женихи, такъ какъ она считалась самою богатою невѣстою въ уѣздѣ. Мытищевъ шелъ къ балкону. Ему 28 лѣтъ, лицо у него

худощавое и красивое, лобъ выпуклый и блѣдный, русые волосы слегка выкостя. Сразу видно, что онъ изнѣженъ, избалованъ и... весь въ долгу. И въ походкѣ, и въ костюмѣ и во всѣхъ его движеніяхъ сквозитъ небрежность, пожалуй, даже кокетливая. И его усы небрежно опущены книзу, хотя подбородокъ тщательно выбритъ. Пожалуй, и концы усовъ онъ растрепалъ умышленно передъ зеркаломъ.

Мытищевъ вошелъ на балконъ. Тамъ уже было нѣсколько человѣкъ—люди, хорошо извѣстные Мытищеву. Всѣ группировались вокругъ стола, на которомъ, пуская изъ-подъ крышки кудравый паръ, кипѣлъ самоваръ. Ксенія Ивановна ѣла съ блюдечка земляничное варенье и ея губы были ярче, чѣмъ всегда. Тетушка Аграфена Михайловна пила съ медомъ чай, посматривая на всѣхъ своими смѣющимися глазами. Глаза у нее смѣялись постоянно и что-то ужъ очень добродушно. Кромѣ хозяйки и ея тетушки, за столомъ сидѣли Борисоглѣбскій, Пальчикъ и Потягаевъ. Всѣ они ближайшіе сосѣди Ксеніи Ивановны. Борисоглѣбскій, высокій брюнетъ, молодой и видный. По всему видно, что онъ не дурно поетъ баритономъ и весьма этимъ гордится. И бороду свою онъ подстригаетъ, какъ и всѣ баритоны: не такъ коротко, какъ тенора; Пальчикъ—юноша лѣтъ двадцати двухъ, безъ усовъ и безъ бороды, блѣлокурый и хорошенькій, съ глазами молодой дѣвушки. Одѣтъ онъ во все пестрое. А Потягаевъ человѣкъ лѣтъ сорока; онъ очень молчаливъ и въ уѣздѣ его зовутъ «дудакомъ». Говорятъ, рѣдко кто слышалъ крикъ этой птицы. Наружностью онъ, что называется, ни то, ни се, и о немъ забываютъ тотчасъ же, какъ онъ является. Одѣвается онъ бѣдно, на выборахъ

всѣмъ кладесть направо, а Ксенія Ивановна зоветъ его «гіероглифомъ».

Всѣ гости попивали чай. Ксенія Ивановна, увидѣвъ Мытищева, встала къ нему на встрѣчу. Она очень красивая дѣвушка, нѣсколько полная блондинка съ ясными сѣрыми глазами.

— А я васъ ждалась, Михайло Сергѣичъ, — сказала она съ улыбкою: — мы собираемся кататься на лодкѣ, а я и думаю: неужто безъ Михайлы Сергѣича ѣхать?

Она, улыбаясь, подала Мытищеву руку. Голосъ у нее лѣнивый и пѣвучій, а улыбка сердечная и хорошая.

Мытищевъ сталъ здороваться со всѣми, а Ксенія Ивановна опустилась на стулъ доѣдать варенье.

— Что вы такъ долго къ намъ не заглядывали? — спросила она Мытищева, когда тотъ принялъ отъ Аграфены Михайловны свой стаканъ чаю.

— Дѣла-съ; — отвѣчалъ Мытищевъ: — все выгоднаго дѣла искалъ, деньги нужны до зарѣзу.

— Какъ такъ?

— Да развѣ вы не слыхали, что мое имѣнье назначено въ продажу? Да-съ. Я вотъ сижу съ вами да балясничаю, а между тѣмъ у меня — «на лбу роковыя слова: продается съ публичнаго торгога»!

Борисоглѣбскій, ходившій въ это время по балкону, заложивъ въ карманы руки, пропѣлъ баритономъ:

А на лбу роковыя слова:
Продается съ публичнаго торгога!

— Какая жалость! — вздохнула Сукновалова и, обратившись къ Борисоглѣбскому, замѣтила:

— Да будетъ вамъ дудѣть-то!

Борисоглѣбскій, вытянувъ шею, пропѣлъ:

— Do, do, mi, fa...

— Неужто это правда? — съ участіемъ спросила Ксенія Ивановна Мытищева.

— Во истину, — отвѣчалъ тотъ и, махнувъ рукою, добавилъ:

— Да будетъ говорить объ этомъ; я же всегда зналъ, что этимъ окончу свои дни. Скажите-ка лучше, надъ чѣмъ вы тутъ смѣялись?

Ксенія Ивановна поставила на столъ локти и глянула на Мытищева. Она была въ простомъ холстинковомъ платьѣ и ея тяжелая золотистая коса лежала просто и красиво на головѣ. Внезапно она показалась Мытищеву похожею на сестру милосердія.

— А смѣялись мы вотъ надъ чѣмъ, — отвѣчала она: — Спросила я ради шутки Андрюшу Пальчика, для чего онъ ко мнѣ каждый день ѣздитъ. Неужто, говорю, вы думаете, что я за васъ замужъ пойду? А у него вдругъ слезы въ глазахъ. Я бы, говорить, и радъ не ѣздить, да меня мамаша посылаетъ.

Всѣ разсмѣялись. Пальчикъ покраснѣлъ и его глаза стали влажны. Мытищевъ принялся за свой чай.

Между тѣмъ, совершенно темнѣло и въ липовыхъ аллеяхъ сада ложились на ночлегъ липовыя тѣни. Западъ гасъ; одинокая тучка, слегка растягиваясь и извиваясь, перекочевывала съ сѣвера на югъ, какъ стая перелетныхъ птицъ. Говоръ жизни стихалъ и нѣмая тишина уже коснулась земли, завороживъ и поля, и луга и лѣсъ. Только разбросанныя тамъ и сямъ деревушки да извивавшіяся между полями сѣрыя ленты проселочныхъ дорогъ еще не подчинялись ея обаятельной власти. Оттуда доносилось порою то протяжное мычаніе затеряшагося теленка, то громыханіе крестьянской телѣги, то скрипъ

затворяемыхъ воротъ. И одинокій мужичій голосъ уныло выводилъ гдѣ-то ноту за ноту:

Се-дѣсь пырам-ча-а-лся
Вы-оръ бы-ра-дя-га-а...

Черезъ часъ вся компанія уже сидѣла въ лодкѣ и приближалась къ противоположному берегу. Ксенія Ивановна правила рулемъ и напѣвала:

Андрюша Пальчикъ,
Хорошій мальчикъ.

Пороку она посматривала на Мытищева и думала: «Я знаю, что онъ злой и нехорошій, почему же онъ мнѣ нравится? Развѣ злость достоинство? или ужъ мы такъ испорчены, что намъ нравятся только пороки?»

Лодка ткнулась въ берегъ. Всѣ вышли и направились въ березовую рощу. Ксенія Ивановна подошла къ Мытищеву.

— Предложите мнѣ вашу руку, — сказала она.

— И сердце? — спросилъ Мытищевъ, насмѣшливо приподнимая брови.

— Нѣтъ, пока только руку, — отвѣчала та.

— Тебя я, вольный сынъ эфи-и-ра-а-а, — прогѣлъ Борисоглѣбскій и развелъ руками, слегка выворачивая локти, какъ это дѣлають оперные пѣвцы.

Пальчикъ заспорилъ съ Потягаевымъ, у кого лучше лошади, у Зотова или у Свищунова. Потомъ Мытищевъ разсказалъ, какъ у него два года тому назадъ жила въ кучерахъ баба, скрывавшаяся отъ мужа.

— И знаете, чѣмъ она себя выдала? — говорилъ Мытищевъ: — Приѣзжаю я какъ-то съ нею на ярмарку. Кучеровъ на ярмаркѣ видимо невидимо. И всѣ кучера, какъ

кучера, пріѣхали и по кабакамъ разошлись. А мой кучеръ по краснымъ лавкамъ шляется да ситца щупаетъ. Тутъ ее урядникъ и накрылъ.

Борисоглѣбскій сдержанно разсмѣялся. Потягаевъ и Пальчикъ опять завели споръ о лошадяхъ.

Тѣмъ временемъ Ксенія Ивановна и Мытищевъ отстали отъ всѣхъ.

— Знаете что, — шепнула Ксенія Ивановна своему спутнику: — идемте домой черезъ переходъ. Тутъ недалеко черезъ рѣчку переходъ есть. Пусть насъ здѣсь поищутъ. Мнѣ ужасно хочется позлить Борисоглѣбскаго.

И она, круто повернувшись, пошла вонъ изъ березовой рощи къ берегу рѣчки. Мытищевъ послѣдовалъ за нею.

— Правда ли, что вы очень злы? — спросила его Ксенія Ивановна, когда они уже скрылись изъ глазъ Борисоглѣбскаго и Потягаева.

— Правда, — отвѣчалъ Мытищевъ.

— На кого же вы злы: на людей или на судьбу?

— На себя, на себя самого, — отвѣчалъ Мытищевъ какъ бы съ досадою.

— За что же вы злитесь на самого себя?

Мытищевъ дернулъ себя за усъ.

— А за то, что человекъ я не глупый, но ни къ какому труду не способенъ, то есть положительно не способенъ. Я могу умереть подъ знаменемъ, какъ это говорится, посадить самого себя на колъ, ханнуть на отчаянно-рискованномъ предпріятіи миллионъ или прожить въ одинъ годъ сто тысячъ, но каждый день вколачивать по одному маленькому гвоздику въ одну и ту же доску, вотъ на это я швахъ! Тутъ у меня и лѣнь, и апатія и оскомины! А между тѣмъ, вколачиванье каждый день по одному гвоздику и есть самое настоящее дѣло. И только люди, способные

на это, обречены на жизнь будущую. А всѣхъ насъ, какъ сорную траву, свергнуть въ печь огненную. Объ этомъ даже въ писаніи сказано. Такъ каково же мнѣ-то сидѣть, сложа ручки, да ждать, когда меня въ печку бросать. Вѣдь у меня тоже какое тамъ ни на есть самолюбіе въ сердцѣ обрѣтается. А тутъ вдругъ иди на растопку!

Мытищевъ сердито разсмѣялся.

— Все это хорошо, — сказала Ксенія Ивановна: — но правда ли, что вы вызывали на дуэль Свистунова, приревновавъ его къ его же женѣ?

Мытищевъ пожалъ плечами.

— Что это? допросъ?

Ксенія Ивановна продолжала:

— А это не вы прозвали моего батюшку Бисмаркомъ?

— Нѣтъ, я звалъ его «Васъ всѣхъ Давишъ».

— За что?

— Какъ за что? Пришелъ онъ въ нашъ уѣздъ тихимъ и смирнымъ манеромъ, пришелъ — и маленькій участокъ земли купилъ. И тотчасъ же для всѣхъ благодѣтелемъ оказался. Взаимы на право и на лѣво даетъ; деньги дать и закладную къ себѣ въ карманъ положить. И на губахъ у него всегда улыбка ласковая блуждаетъ; и говоритъ онъ по просту, безъ затѣй, вмѣсто «прежде» и «въ ту минуту» — «допрежъ» и «въ такую въ минутую». Однимъ словомъ, прекрасная русская душа. Ну-съ, и наложилъ прекрасная русская душа въ бумажникъ свой закладныхъ этихъ самыхъ видимо невидимо. А на насъ въ эту пору машинная лихорадка напала, бельгійскіе глыбодробители да сѣноворошилки мы выписывали; выписывали мы ихъ и, какъ вамъ это по исторіи государства російскаго извѣстно, въ сарай поломанными запи-

рали. А Иванъ Сукноваловъ въ это время землю кривой сохой пахалъ, да съ своихъ озимей нашихъ телятъ загонялъ. И не успѣли мы оглянуться, какъ и имѣнья наши, и мельницы и фабрики къ Ивану Сукновалову отошли. Такъ какже не «Вась всѣхъ Давишь»?

— Давить-то васъ, стало быть, ничего не стоило, — прошептала Ксенія Ивановна и добавила:

— Зачѣмъ вы рассказали мнѣ все это?

Мытищеву показалось даже, что она начинаетъ блѣднѣть.

— А затѣмъ, чтобы вы знали объ этомъ, — отвѣчалъ онъ: — А давить насъ, дѣйствительно, было легко; мы сами подъ пята къ нему ползли. Должно быть, ужъ такое призваніе наше: у кого нибудь подъ пятой обрѣтаться.

Они замолчали. Вокругъ темнѣло. Только узкая фіолетовая полоска слабо свѣтилась на западѣ. Неподалеку, на тусклой поверхности узкой рѣчки сверкали серебристыя звѣзды. Онѣ покачивались, какъ свѣтящіяся молоски, и даже можно было видѣть, какъ шевелились ихъ безпокойныя рѣснички. Лѣнивая струя соннаго вѣтра пахнула лицо Ксеніи Ивановны, словно ласкаясь.

— Ксенія Ивановна, ау! — раздалось изъ березовой рощи и голосъ Борисоглѣбскаго, кокетливо картавя, пропѣлъ:

— Чи-удныя ді-ѣ-вы, ді-ѣ-вы мои...

— Идѣмте скорѣе, — прошептала Ксенія Ивановна: — насъ ищутъ.

Мытищевъ прибавилъ шагу.

— Кстати, что за человѣкъ Борисоглѣбскій? — спросила его Сукновалова.

— Онъ очень хорошій человѣкъ, — отвѣчалъ Мытищевъ, сердито дергая себя за усы: — главное мнѣ нравится

въ немъ его бережливость. Этотъ не проживется. Онъ очень экономенъ и, хотя всегда носитъ свѣжее бѣлье, но ради экономіи не держитъ у себя въ усадьбѣ ни ночного сторожа, ни собаки. Онъ исполняетъ самъ эти двѣ должности. Выйдетъ ночью на крылечко и сперва по собачьи полагаетъ, а голосъ у него, сами знаете, звонкій, далеко слышно!.. такъ сперва цо собачьи полагаетъ, а потомъ палочкой о палочку постукаетъ и закричитъ: «Долой Волчокъ, чтобъ тебя!» Эдакъ онъ раза три-четыре ночью выйдетъ. Я какъ-то ночью мимо его усадьбы ѣду, а онъ сидитъ на крылечкѣ и лагаетъ. Я ему и крикнулъ: «Здравствуйте, Борисоглѣбскій!» Онъ меня за это терпѣть не можетъ: на выборахъ всегда мнѣ черняка кладетъ. А разъ я къ нему ветеринара попросилъ сѣздить. «Заѣзжайте, говорю, къ Борисоглѣбскому; у него Волчокъ, кажется, бѣситься начинаетъ. Борисоглѣбскій, говорю, чуть не плачетъ». Тотъ и заѣхалъ, про Волчка спрашиваетъ, а Борисоглѣбскій отъ злости губы до крови кусаетъ!

Ксенія Ивановна было расхохоталась, но тотчасъ же притихла. Они были уже возлѣ рѣчки и перешли ее черезъ деревянный помостъ.

— Ксенія Ивановна, ау! — раздалось изъ березовой роши.

— Вернемтесь къ нимъ, — проговорилъ Мытищевъ: — а то Пальчикъ расплачется, слышите, у него въ голосѣ слезы.

— А что за человѣкъ Пальчикъ? — спросила Ксенія Ивановна, какъ бы не вполне разслышавъ слова Мытищева.

— Что за человѣкъ? Вы же сами недавно изволили пропѣть: «Андрюша Пальчикъ, хорошій мальчикъ»! Онъ такой дѣйствительно и есть. Только безобидчивъ ужъ

больно. Это какая-то манная каша съ сахаромъ. Мамаша его до сихъ поръ на смирное мѣсто сажаетъ. И онъ ничего, слушается. Какъ-то я заѣзжаю къ нимъ, а онъ въ уголкѣ на стулѣ сидитъ и лицо у него печальное-препечальное. Увидѣлъ меня, съ мѣста не встаетъ, а только возится шишко. Я говорю: «Здравствуйте, юноша!» а онъ опять на стулѣ возится, а встать не встаетъ. Весь покраснѣлъ, на лбу даже потъ выступилъ, а все сидитъ. Я говорю: «Что съ вами, голубчикъ?» а онъ еще пуще краснѣетъ, въ глазахъ слезы и на носу потъ. Тутъ ужъ его маменька вошла и со смирнаго мѣста его отпустила. «Вставай, говоритъ Андрюшенька, видишь, чужіе люди прѣхали. Только чтобъ въ другой разъ у меня этого не было!» Сказала и пальцемъ ему погрозила. Тутъ онъ всталъ, а за что онъ наказанъ былъ, не знаю.

— Да вы что? кажется, не вѣрите? — спросилъ Мытищевъ: — Да вѣдь его маменька родомъ казачка, въ сажень ростомъ. Она и трубку куритъ. А трубку она люлькой зоветъ. «Глашка, говоритъ, дай-ка мнѣ мою люльку пососать!» А голосъ у нее, какъ у протодьякона, и на подбородкѣ три бородавки, каждая съ семишникъ и всѣ съ волосами. И когда она въ меланхоліи, то начинаетъ волосы на нихъ покручивать да въ ротъ себѣ забирать. Чисто Тарасъ Бульба какой нибудь усъ свой закусилъ, рѣзать татарву собирается. И вы опять не вѣрите? да вѣдь она не то что сына, она разъ урядника на пожарѣ избилла, да вѣдь какъ стукнула-то, такъ съ ногъ и срѣзала. Тотъ только всталъ, почесался да говоритъ: «Эхъ, вотъ кого бы въ полицмейстеры!» А онъ, нужно вамъ сказать, изъ городскихъ въ урядники-то попалъ. Мужики не даромъ же ее «безменомъ» прозвали.

— И вовсе не мужики прозвали, а вы,—сказала Ксенія Ивановна, слегка улыбаясь.

Мытищевъ дернулъ себя за усь.

— А развѣ это не вѣрно? Она такъ же, какъ инструментъ этотъ, при случаѣ обвѣситъ любить.

— А хозяйка она хорошая, — добавилъ онъ, немного помолчавъ:—у нее все въ прокъ идетъ. У нее даже индюки индюшатъ выводить. Да чему вы не вѣрите? Вѣдь она, конечно, не съ голыми руками къ нимъ подходитъ. Индюки, конечно, по лукошкамъ сидѣть не любятъ; они любятъ больше около индюшекъ фуфыриться, вотъ какъ Борисоглѣбскій около дамъ, да она тутъ къ уловкѣ нѣкоторой прибѣгаетъ. Выпросить на винокуренномъ заводѣ бражки даромъ да и напоить индюковъ пьяными. Такъ пьяными ихъ по лукошкамъ на яйца и разсажаетъ. А тѣ сидятъ пьяные-препьяные, украшенія свои черезъ носъ перевѣсятъ, а дѣтей все-таки выводить. Эта баба тоже не проживется.

— Будетъ вамъ шутоваться, — замѣтила Ксенія Ивановна почти грустно.

— Какъ вамъ угодно, — отвѣчалъ Мытищевъ.

— Ау, Ксенія Ивановна! — прилетѣлъ изъ березовой рощи плаксивый возгласъ.

— Ну, манная кашка съ сахаромъ, кажется, сейчасъ разрыдается, — вздохнулъ Мытищевъ и добавилъ:

— А вѣдь его тоже въ печь свергнуть. Борисоглѣбскаго не свергнуть, тотъ приспособится. Тотъ будетъ общественные огороды караулить и самому себѣ «долой!» кричать.

— А какъ вы себя зовете?—спросила Сукновалова:—или вы только для другихъ мастеръ на прозвища?

— Себя я зову «На горѣ Увертышъ», — отвѣчалъ Мытищевъ.

— Это почему?

— Да такъ-съ. Усадьба моя, какъ вамъ извѣстно, на горѣ и живу я, стало быть, на горѣ, ну и отъ долговъ до сихъ поръ довольно ловко увертывался. Вотъ и выходитъ «на горѣ увертышъ».

Они снова оба притихли.

— Отчего вы не женитесь? — внезапно спросила Мытищева Ксенія Ивановна.

— То есть, какъ это, почему?

— Да такъ. Мнѣ кажется, что, если бы вы женились, изъ васъ порядочный человѣкъ могъ выйти. Дѣломъ вы занялись бы, на службу, что ли, поступили бы. А теперь вы только даромъ языкъ околачиваете.

Мытищевъ покосился на Сукновалову.

— Благодарю за комплиментъ! — отвѣчалъ онъ: — Да и на комъ жениться? на васъ? но развѣ вы повѣрите мнѣ, если я скажу, что люблю васъ? Вы сейчасъ же во мнѣ стязательскія намѣренія заподозрите. А я тоже самолюбивъ немножко. Нѣтъ, жениться не стоитъ.

Ксенія Ивановна шла тихо и смотрѣла куда-то въ бокъ.

— Ну, а если, — проговорила она: — я сама первая скажу вамъ, что люблю васъ?

Мытищевъ пожалъ плечами.

— Если вы скажете это сами, такъ все равно вы заподозрите искренность моего отвѣта и хищническія поползновенія мнѣ припишете. Нѣтъ, между нами пропасть лежитъ, Ксенія Ивановна!

Они еще нѣсколько шаговъ прошли молча. Сукнова-

ловой казалось, что лицо Мытищева блѣднѣетъ и становится печальнымъ. Онъ замѣтно похорошѣлъ. Она все замедляла и замедляла шаги. Усадьба была уже совсѣмъ близко.

— Какая же между нами пропасть, Михайло Сергѣичъ?—прошептала Сукновалова.

Мытищевъ дергалъ концы распушенныхъ усовъ, точно сердился.

— А вотъ какая,—заговорилъ онъ:—я запутавшійся въ долгахъ дворянинъ Михайло Мытищевъ, а вы купеческая дочка—милліонерша Ксенія Сукновалова. И если бы мы даже искренно полюбили другъ друга и поженились, въ глазахъ многихъ порядочныхъ людей я былъ бы ни больше ни меньше, какъ Альфонсъ. Да при одной мысли объ этомъ все мое самолюбіе встаетъ на дыбы! Я могу продать родовыя земли, даже фамилію, но тѣло свое и душу... Ахъ, Ксенія Ивановна, мнѣ холодно даже отъ одной мысли, что меня могутъ подозрѣвать въ этомъ! Нѣтъ, между нами пропасть!—заклучилъ онъ.

Они двигались среди тихой поляны, окутанной сумерками.

— Вы говорите,—прошептала Сукновалова и загнулась:—вы говорите: «Я могу продать родовыя земли и даже фамилію». Кромѣ того, вы говорите всегда, что ищете выгоднаго дѣла, чтобъ удержать имѣнье отъ продажи. Такъ, стало быть, если бы я вамъ предложила, такъ неужели... постойте, у меня голова кружится...

Ксенія Ивановна провела рукою по лбу. Она сильно блѣднѣла. Мытищевъ косился на нее.

— Такъ стало быть,—заговорила она, медленно вытягивая слово за словомъ:—такъ стало быть, если бы я

предложила вамъ женитьбу на себѣ, какъ выгодное дѣло, то вы согласились бы?

— Я говорю, — продолжала она: — что если бы тотчасъ же послѣ свадьбы мы разѣхались въ разные стороны и каждый изъ насъ жилъ, какъ ему хочется, то неужели... Вообще, приняли бы вы эти условія? Вѣдь тогда васъ не сочтутъ за Альфонса, а только... ну, какъ тамъ хотите, такъ и зовите. Вѣдь вы уѣдете отъ меня тотчасъ же послѣ обряда.

Она засмѣялась вся блѣдная, но тотчасъ же оборвала смѣхъ.

— Иначе, — отвѣчалъ Мытищевъ: — вы желаете приобрести у меня фирму?

Ксенія Ивановна шла, потупивъ глаза.

— Какъ хотите, такъ и зовите, — отвѣчала она.

Мытищевъ передернулъ плечами.

— Вѣдь вотъ въ васъ батюшкины-то инстинкты и сказались! — началъ онъ черезъ нѣкоторое время: — Непременно вамъ чего нибудь купить хочется, да и купить-то у человѣка запутавшагося. Желательно власть денежекъ ощутить. А впрочемъ такія условія я принимаю и фирму свою продаю. Въ этомъ случаѣ меня, по крайней мѣрѣ, мошенникомъ будутъ считать, а не Альфонсомъ. Свободу чувствъ и образа мыслей я все-таки за собою оставляю. А подлость — каждый человѣкъ дѣлаетъ подлости, все дѣло въ мѣркѣ.

Онъ опять передернулъ плечами и добавилъ:

— А много ли вы мнѣ за мою фирму отвалите?

— Все, кромѣ Черниговки и имѣющагося при ней капиталъ, — сказала Ксенія Ивановна.

Черниговкою называлось имѣнье, гдѣ жила сейчасъ

Сукновалова. Тутъ все было «Черниговка»: и усадьба, и рѣчка, и липовая роща на холмѣ, и даже топкая балка въ поймахъ, такъ что Мытищевъ говаривалъ, что эта мѣстность похожа на Ивана Ивановича Иванова.

— Такъ все, кромѣ Черниговки, — повторила Ксенія Ивановна; она все еще не поднимала глазъ на Мытищева и голосъ ея былъ слабъ, какъ у больной.

— По рукамъ, что ли? — спросила она.

— По рукамъ, — отвѣчалъ Мытищевъ.

Они уже были въ усадьбѣ. Ксенія Ивановна послала звать гулявшую за рѣчкою компанію и опустилась на балконъ на стулъ. Мытищевъ похаживалъ по балкону. Онъ все сердился, а Ксенія Ивановна, казалось, была въ возбужденномъ состояніи.

— Такъ вы помните наши условія? — говорила она.

— И вы помните, — отвѣчалъ Мытищевъ: — правъ на мою личность вы не имѣете никакихъ. Я продаю фирму, а не отдаюсь въ рабство.

— Я это помню, но вѣдь я тоже могу держать себя, какъ мнѣ будетъ угодно?

— Какъ угодно-съ; я удеру за границу, и если вы заведете любовника, то у меня будетъ цѣлый гаремъ.

— Великолѣпно. Но до свадьбы я тоже могу дурачиться?

— Сколько хотите.

— И вы не боитесь, что я запачкаю вашу фамилію?

— Нисколько. Есть одинъ способъ запачкать фамилію, — отвѣчалъ Мытищевъ: — это сдѣлать при росчеркѣ кляксу. Другихъ способовъ я не знаю.

— Хотя, — добавилъ онъ, немного помолчавъ: — вамъ болѣе удобенъ былъ бы для замужества Потягаевъ. Вѣдь у него золотое сердце, у этого чудака. При подачѣ голосовъ

на земскихъ собраніяхъ онъ всегда примыкаеть къ меньшинству изъ сожалѣнія. Какъ-то я говорю ему: «Зачѣмъ вы это къ мнѣнію Зотова присоединились? вѣдь ихъ всего четыре человѣка выскочило». «Изъ жалости, говорить, Михайло Сергѣичъ; посмотрѣлъ я на нихъ: и всего-то ихъ четверо, да и говорятъ они глупости. Я ужъ къ нимъ въ пятыѣ и пошелъ!» Вѣднѣкъ и не думаетъ, что онъ обидѣлъ ихъ своей солидарностью съ ними. А дома посмотрите, какъ онъ живетъ. Вѣдь у него три незамужнихъ сестры и четыре тетки, всѣ доходы его небольшіе на нихъ уходятъ, себѣ онъ во всемъ отказывается. Въ купальнѣ при постороннихъ даже раздѣваться стѣсняется: бѣлья многаго не хватаетъ. Да, это золотое сердце!

Мытищевъ замолчалъ. Трудно было догадаться, говорить ли онъ серьезно или шутить. Между тѣмъ, на балконѣ вошли Пальчикъ, Борисоглѣбскій и Потягаевъ. Они были разсержены шуткою Ксеніи Ивановны всѣ, за исключеніемъ Потягаева, который невозмутимо пробрался въ свой уголь.

Между тѣмъ, Ксенія Ивановна стала упрашивать Борисоглѣбскаго что нибудь спѣть. Однако, тотъ долго не соглашался; онъ былъ сердитъ на нее. Ксенія Ивановна продолжала упрашивать, хватая его за руки. Внезапно она какъ будто развеселилась и раскраснѣлась, хотя веселость ея походила на истерику. Она не смотрѣла на Мытищева, но можно было догадаться, что каждый ея жестъ предназначался для него.

Въ концѣ концовъ Борисоглѣбскій размякъ и спѣлъ подъ аккомпаниментъ Сукноваловой «Азру» и балладу «Ночной смотръ». Голосъ у него былъ, дѣйствительно, очень не дуренъ и послѣ пѣнія онъ расхаживалъ по балкону, какъ генералъ, выигрывшій битву.

— Хорошій у васъ голосъ!—говорила ему Сукновалова:—верхнія ноты у васъ одно очарованіе!

Она все еще была взволнована и постоянно вздрагивала плечами.

— А кстати,—отозвался изъ своего угла Мытищевъ:—какъ поживаетъ вашъ Волчокъ? У него ужасно музыкальный лай, особенно ему удаются верхнія ноты.

Потягаевъ покраснѣлъ, Пальчикъ фыркнулъ, а Ксенія Ивановна продолжала смотрѣть куда-то въ бокъ, какъ бы не замѣчая и не слыша Мытищева.

Борисоглѣбскій повернулся къ Мытищеву.

— Мой Волчокъ,—отвѣчалъ онъ:—живъ и здоровъ. Это очень благонравная собака и не кусаетъ людей ни за что, ни про что.

— Оржаная каша сама себя хвалить,—буркнулъ себѣ подъ усы Мытищевъ.

— Это уже не остроумно, а просто глупо,—проговорила Ксенія Ивановна, внезапно поблѣднѣвъ; она какъ бы съ отвращеніемъ передернула плечами и скороговоркою добавила:—Ахъ, господа, я и забыла сказать вамъ, что я выхожу замужъ за господина Мытищева.

И прежде, чѣмъ ей успѣли принести поздравленія, она увлекла съ балкона Борисоглѣбскаго, упрасивая его спѣть «Ночи безумныя». Она была въ какомъ-то экстазѣ. Мытищевъ, блѣднѣя, покуривалъ свою сигару.

Вскорѣ она вернулась на балконъ вмѣстѣ съ Борисоглѣбскимъ. Онъ велъ ее подъ руку, а она что-то говорила ему на ухо вся покраснѣвшая, какъ бы въ опьяненіи. Борисоглѣбскій громко хохоталъ, запрокидывая голову и выставляя кадыкъ. Мытищевъ точно ежился отъ озноба. Пальчикъ и Потягаевъ съ недоумѣніемъ поглядывали на всѣхъ. Между тѣмъ, Сукновалова и Борисоглѣб-

скій сѣли рядомъ; онъ что-то нашептывалъ ей на ухо, а она хохотала и въ ея смѣхѣ слышалась злость. Потомъ она что-то шепнула ему на ухо и тотъ, какъ бы въ отвѣтъ на ея слова, поймалъ ея руки и сталъ поочередно цѣловать ихъ.

Тогда Мытищевъ всталъ и медленно двинулся къ нимъ; онъ былъ бѣлье полотна и съ трудомъ водочилъ ноги. Ксенія Ивановна поняла, что у него разрывается отъ бѣшенства сердце, и ея лицо освѣтилось торжествомъ и злостью. Борисоглѣбскій увидѣлъ Мытищева, отодвинулся отъ нее и это окончательно ее взорвало. Она крикнула ему:

— Не бойтесь его! По условію онъ не имѣетъ никакого права ревновать меня; я могу дѣлать все, что мнѣ угодно.

— Вы не смѣете!..—крикнула она Мытищеву.

Мытищевъ стоялъ передъ нею, мѣряя ее съ головы до ногъ. Ксенія Ивановна замѣтила, что пальцы его рукъ дрожали, между тѣмъ какъ его взглядъ былъ дерзокъ до наглости.

— Вы не смѣете!—вызывающе повторяла она, содрогаясь всѣмъ тѣломъ.

Взглядъ Мытищева точно подзадоривалъ ее. Она перевела духъ, точно собираясь съ силами.

— Отецъ мой,—наконецъ выговорила она:—отецъ мой скупалъ ваши земли, а я покупаю васъ самихъ!

Она передернула плечами и съ отвращеніемъ добавила:

— Какъ вы гадки!

Мытищевъ все смотрѣлъ на нее. Оно точно усталъ и его взоръ уже потухъ.

— Все это справедливо,—съ трудомъ выговорилъ онъ:—

все это совершенно справедливо, но я отказываюсь отъ этой сдѣлки. Не могу-съ! Что дѣлать, дрянн-человѣчишка, не выдержалъ, силъ не хватило, выше головы хотѣлъ прыгнуть! Ну, а вы молодцомъ, силища! И папашу вашего перещеголяли, съ чѣмъ васъ отъ души поздравляю!

Онъ хотѣлъ еще что-то добавить, но махнулъ рукою и надѣлъ шляпу. И все такъ же съ трудомъ волоча ноги, онъ сошелъ съ балкона въ аллею. Тамъ онъ на минуту остановился и, повернувшись къ балкону, проговорилъ:

— Господинъ Борисоглѣбскій, я, кажется, назвалъ васъ «Волчкомъ» или чѣмъ-то. вродѣ этого, такъ вѣдь адресъ мой вы знаете!

Онъ двинулся аллеей.

— Пойдите, — крикнула ему Ксенія Ивановна: — пойдите, Михайло Сергѣичъ! надо же разоблачить нашу шутку!

Ея лицо выражало ужасъ. Мытищевъ, не оборачиваясь, стоялъ и ждалъ.

— Господа, — проговорила Ксенія Ивановна, трепеща всѣмъ тѣломъ: — господа, я солгала. Михайло Сергѣичъ не дѣлалъ мнѣ предложенія; это я сдѣлала ему предложеніе и онъ мнѣ отказалъ. Господи, куда уйти отъ срама! — она всхлипнула и заломила руки. Мытищевъ стоялъ и слушалъ, не поворачиваясь.

— Господа, — продолжала она: — это было вчера, да вчера, а сегодня, сегодня мнѣ сдѣлалъ предложеніе Андрюша Пальчикъ и я согласилась. Не правда ли, Андрюша? Да что же вы молчите, наконецъ?

Пальчикъ смотрѣлъ на нее изумленными, какъ у ребенка, глазами.

— Правда, — отвѣчалъ онъ, краснѣя.

— Черезъ недѣлю и свадьба должна быть, — прогово-

рила Ксенія Ивановна:—не правда ли Андрюша? да что же вы молчите, Господи!

— Да, правда,—отвѣчалъ Пальчикъ и снова покраснѣлъ. Борисоглѣбскій надменно улыбнулся. Мытищевъ двинулся аллеей.

— Михайло Сергѣичъ,—крикнула Ксенія Ивановна:—куда же вы? Михайло Сергѣичъ, вернитесь на минутку!

Она подбѣжала къ периламъ балкона и, опираясь на нихъ руками, заглядывала въ глубину сада, какъ бы ожидая отвѣта. Мытищевъ скрылся во тьмѣ. А она все стояла и ждала чего-то съ горящими глазами. Наконецъ, она оторвалась отъ перилъ; лицо ея было блѣдно, Потягаеву показалось даже, что у нее подкашиваются ноги; онъ придвинулъ ей стулъ.

— Ушелъ,—прошептала она, какъ бы обращаясь ко всѣмъ; она опустилась на стулъ и растерянно улыбнулась.

— Что, бишь, я еще сказать хотѣла?

Она потеряла себѣ лобъ и опять растерянно улыбнулась. Нѣсколько минутъ она точно что-то припоминала.

— Баба я крестьянская,—заговорила она снова, оглядывая всѣхъ тусклымъ взоромъ:—онъ прибилъ меня, Михайло Сергѣичъ-то, а я за нимъ бѣгу, въ гости его къ себѣ зову. Какъ же?—развела она руками:—замужъ за Андрюшу собираюсь, а сама думаю: може меня Мытищевъ хоть въ любовницы возьметъ? може не побрезгуетъ? Вѣдь вы не будете бить меня за это, Андрюша?—подняла она свои глаза на Пальчика.

И она замолкла. Нѣкоторое время на балконѣ царило неловкое молчаніе.

— Плохи дѣла Мытищева,—внезапно сказалъ Борисо-

гльбскій: — теперь его имѣнье съ торговь пойдетъ. Денегъ онъ нигдѣ не достанетъ.

— Дядя заплатитъ проценты, — отозвался Пальчикъ: — у него дядя очень богатый человекъ и часто за него платитъ.

— Вотъ дядю за глаза ругаетъ, — замѣтилъ Борисогльбскій: — а подачки отъ него беретъ. Ловкій паренъ этотъ Мытищевъ.

Ксенія Ивановна оглянулась на него усталая и разбитая.

— Во первыхъ, Мытищевъ ругаетъ дядю и въ глаза и за глаза, — сказала она: — а во вторыхъ, дядя платитъ за него въ банкъ, потому что дорожитъ родовымъ имѣньемъ. Ему жалъ не племянника, а имѣнье.

Борисогльбскій качнулъ головою.

— Нѣтъ, Мытищевъ храбръ только на словахъ.

— Однако, онъ васъ обругалъ, а вѣдь вы на дуэль его не вызовете? — замѣтила Ксенія Ивановна.

Борисогльбскій всталъ, отыскалъ свою шляпу и, сухо откланявшись, исчезъ съ балкона.

— А теперь, — проговорила Ксенія Ивановна, обращаясь къ Потягаеву и Пальчику: — я попросила бы васъ оставить меня одну. Я устала и мнѣ хочется спать. Я ужасно устала.

Потягаевъ и Пальчикъ встали. Пальчикъ хотѣлъ было на прощанье поцѣловать руку Ксеніи Ивановны, но та сказала:

— Нѣтъ, ужъ до слѣдующаго раза, — и добавила: — Какъ вамъ не стыдно врать? развѣ вы дѣлали мнѣ предложеніе?

Пальчикъ сконфузился, а Потягаевъ сказалъ:

— Вотъ и у насъ въ контрольной палатѣ, когда я

служилъ тамъ, былъ подобный же случай. Одна невѣста отказала жениху, нашему чиновнику, а тотъ взялъ да и застрѣлился. Пуля вошла сюда,—показалъ онъ на свой лобъ и, повернувшись затылкомъ, добавилъ: — а вышла отсюда.

— Да неужто же, «гіероглифъ»?

Ксенія Ивановна устало улыбулась и вошла въ домъ. Она прошла къ себѣ въ спальню и, быстро раздѣвшись, легла въ постель. Тяжелыя гардины на окнахъ были спущены; въ комнатѣ горѣлъ китайскій фонарикъ. Ксенія Ивановна хотѣла было позвать горничную, но передумала и лежала, поставивъ локти на подушки и подперевъ руками голову. Ей было тяжело и скверно. О бракѣ съ Пальчикомъ она не думала серьезно; впрочемъ, если Мытищевъ ее не любитъ, не все ли равно, за кого ни выйти. Больше всего ее оскорбляло презрѣніе Мытищева.

Ксенія Ивановна подняла голову. Въ комнату вошла Аграфена Михайловна.

— А я къ тебѣ,—сказала она съ обычною улыбою: — вечеромъ-то я все въ кухнѣ сидѣла, со странницей проходящей разговаривала, а сейчасъ Кондратъ съ почты письмо мнѣ привезъ; съ Аюна письмо-то, отъ монаха моего. Духовный стишокъ, святая душа, мнѣ пишетъ, убогой вдовицей меня въ стишкѣ называетъ.

По всему, съ двойнымъ подбородкомъ лицу Аграфены Михайловны прошло свѣтлое облако.

— Нужно будетъ святой душѣ двѣ красненькихъ бу-
мажки послать,—добавила она.

Ксенія Ивановна вдругъ расплакалась и потянулась къ ней обѣими руками.

— Тяжко мнѣ, тетушка!

Аграфена Михайловна опустила на свѣжее бѣлье

постели. Ксенія Ивановна плакала, уткнувшись къ ней въ колѣни.

Ея лицо внезапно стало похоже на лицо красивой крестьянской дѣвушки. Въ короткихъ словахъ она передала теткѣ, какъ больно ее обидѣлъ Мытицевъ. Она прижималась лицомъ къ пухлымъ колѣнямъ тетки и безпомощно всхлипывала.

За окномъ спальни послышался сдержанный кашель.

— И, родимушка,—говорила Аграфена Михайловна:— выходи, право, за Пальчика, Пальчикъ мужемъ хорошимъ будетъ. Наша сестра много черезъ побои страдаетъ, а этотъ правомъ тихъ.

Она долго бесѣдовала съ племянницею на эту тему и затѣмъ, благословивъ и поцѣловавъ ее, ушла къ себѣ.

— Ксенія Ивановна,—раздался въ тоже время подъ окномъ голосъ Потягаева:—дозвольте поговорить съ вами одну минуточку.

Ксенія Ивановна, завернувшись въ одѣяло, подошла къ окну. Она слегка раздвинула гардины, просунула голову и одну руку и, распахнувъ окно, увидѣла фигуру Потягаева, всю залитую луннымъ свѣтомъ.

— Вы, дѣйствительно, выходите замужъ за Пальчика?—спросилъ онъ ее.

Ночная прохлада ласково коснулась лица Ксеніи Ивановны, опанула ее всю и затонила собою комнату.

— Ну, а если бы такъ,—отвѣчала она.

— Стало быть, мнѣ надѣяться ужъ нечего? А то вы знаете, при постоянныхъ отлучкахъ могутъ быть опущенія по хозяйству.

Потягаевъ вздохнулъ и замялся.

— Можете не надѣяться,—отвѣчала Ксенія Ивановна,

кутаясь въ одѣяло: — а бывать у меня бывайте, хоть изрѣдка. Вѣдь вы добрый? вѣдь вы очень добрый?

Ксеніи Ивановнѣ показалось, что у Потягаева задрожали губы.

— Вѣдь вамъ меня жалко?—повторила она.

Потягаевъ хотѣлъ что-то сказать, но заморгалъ глазами, махнулъ рукою и, тяжело вздыхая, поплелся отъ окна. Онъ даже какъ будто спотыкался.

«Вѣдь вотъ золотое сердце, — думала Ксенія Ивановна, укладываясь въ постель:—а глупъ, непроходимо глупъ. Куда-же дѣваться? Съ умными нехорошо, обидать, а съ глупыми скучно»!

ВЪ ЛѢСУ.

Иванъ Прокофьевъ, блѣдный и болѣзненный парень лѣтъ восемнадцати, получилъ записку отъ своего дяди Порфирія. Записку завезъ истоминскій приказчикъ, ѣхавшій въ городъ изъ усадьбы Истомина, у котораго Порфирій служилъ лѣснымъ сторожемъ. Приказчикъ, вручивъ записку, сказалъ, что отвѣта не требуется и уѣхалъ, сильно настегивая взмыленную лошаденку. А Иванъ сѣлъ у окна на лавку и принялся читать; читалъ онъ плохо, почти по складамъ, такъ что отъ напряженія у него выступили на носу тонкія, какъ булабочныя головки, капли пота. Мать его, высокая и рябая женщина, возилась около квашни и вопросительно глядѣла то на тщедушную фигуру сына, то на черныя стѣны избы, усѣянные голодными тараканами.

А Иванъ все еще читалъ внимательно и напряженно, порою шевеля губами. Наконецъ, онъ свернулъ записку и сообщилъ матери, что дядя Порфирій зоветъ его къ себѣ въ помощники на осень и зиму. Весною онъ опять вернется къ матери. Дядѣ и самому не трудно справиться на своемъ мѣстѣ, да онъ жалѣетъ племянника, пишетъ: «Вамъ, поди, и хлѣба-то на зиму не хватитъ». И онъ

обѣщаетъ платить племяннику по три рубля въ мѣсяцъ. Иванъ сообщилъ все это матери вялымъ и лѣнливымъ голосомъ, но Матрена, очевидно, обрадовалась.

По ея мнѣнію, это предложеніе являлось для нихъ настоящимъ кладомъ. Дома работы нѣтъ, да и какой Иванъ работникъ! Послѣ полдня пашни онъ долженъ полдня отдыхать; отъ тяжелой работы у него дѣлается одышка, ломота въ спинѣ, головокруженіе. Куда ужъ ему быть дровосѣкомъ, землекопомъ или пильщикомъ! Послѣ недѣли такой работы онъ протянетъ ноги. А тутъ сентябрь, октябрь, ноябрь, — до апрѣля семь мѣсяцевъ, стало быть, онъ заработаетъ двадцать одинъ рубль. Положимъ, онъ изведетъ за это время на обувку, на табакъ, на то да на се, рубля четыре; и все таки онъ домой принесетъ домой чистыхъ семнадцать рублей.

Мать и сама рада-бы работать, да ужъ у нее ноженьки не ходятъ; она отработала свой вѣкъ.

Иванъ вяло соглашался съ матерью. На тяжелую работу онъ не годенъ. Когда онъ ходилъ въ пильщики, онъ повредилъ себѣ грудь и теперь даже пахать не можетъ. У него дѣлается одышка и голова кружится. Работа для него мученье и онъ плачетъ, когда только подумаетъ о томъ, что ему нужно ѣхать на загонъ съ сохою. А при-смотреть, не рубятъ ли лѣсъ — работа легкая. Что же? онъ пойдетъ къ дядѣ съ удовольствіемъ. Не умирать же ему, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь на загонѣ? Если бы его учили, онъ былъ бы учителемъ, или псаломщикомъ, или слесаремъ, а теперь онъ знаетъ только тѣ работы, для которыхъ нужна лошадиная сила. А у него ее нѣтъ.

Мать и сынъ долго говорили на эту тему, а затѣмъ Матрена стала собирать сына въ дорогу. Она уложила въ посоконный мѣшокъ краюху хлѣба, двѣ пары рубахъ и

штановъ, пару совершенно новыхъ завертокъ для ногъ и кочадыкъ для плетенія лаптей, и вручила мѣшокъ сыну. Иванъ надѣлъ кафтанъ, положилъ мѣшокъ вмѣстѣ со свернутымъ полушубкомъ къ себѣ на спину и подвязалъ все это, какъ ранецъ. Послѣ этого онъ троекратно перекрестился на потемнѣвшіе образа и переступилъ порогъ. Мать послѣдовала за нимъ.

Мать и сынъ шли тихою деревушкою съ унылыми хатами по бокамъ пыльной улицы, сынъ впереди, мать позади. Сынъ молчалъ, а мать, подпиравъ кулакомъ щеку, говорила, чтобы онъ не моталъ деньги зря, слушался во всемъ дядю Порфирія, а въ свободное время плелъ бы лапти. Когда подвернется случай, пусть пришлетъ о себѣ вѣсточку. Ея доля вдовья горькая, а онъ одинъ у нее кормилецъ и надежда. Сынъ шагаль, понуро опутивъ голову, и думать о предстоящемъ ему путешествіи. До Истоминскаго лѣса считаютъ 45 верстъ. Сегодня онъ пройдетъ 15 и будетъ ночевать въ «Выселкахъ»; завтра въ полдень онъ пообѣдаетъ у «Колтуевскихъ колодцевъ», а къ вечеру будетъ у дяди.

У околицы Иванъ остановился и снялъ съ головы шапку. Мать, слезливо моргая глазами, поцѣловала его въ губы и трижды перекрестила. Сынъ нѣсколько минутъ стоялъ передъ матерью молча, блѣдный и тщедушный, потомъ онъ перекрестился на востокъ и, не оборачиваясь, зашагалъ своею дорогою. А мать стояла у околицы и долго смотрѣла ему вслѣдъ, пригорюнившись и нашептывая что-то безрадостное.

Сѣрый осенній день и выжатые поля смотрѣли такъ же, какъ и она, пригорюнившись, и такъ же какъ и она, шептали каждый про себя что-то безотрадное.

Когда Иванъ сталъ ростомъ съ восьми-лѣтняго мальчика, Матрена ушла въ деревню.

Иванъ шелъ тѣмъ вылымъ и съ перваго взгляда не спорымъ шагомъ, какимъ русскій крестьянинъ проходитъ изъ Архангельска въ Кіевъ или изъ Чернигова на Китайскій клинъ. Версты тянулись одна за другою, долговязы и похожія другъ на друга, какъ дѣти одной и той же матери, но онъ шелъ упорно и сосредоточенно и постепенно одолѣвалъ ихъ. Порою онъ садился на пашню у самой дороги, свертывалъ изъ газетной бумаги папиросу, смотрѣлъ на летающихъ надъ жнивою грачей и курилъ. А затѣмъ снова шелъ шагъ за шагомъ. Ночевалъ онъ, какъ и разсчитывалъ, въ «Выселкахъ», а свою краюшку съѣлъ ровно въ полдень у «Колтуевскихъ колодцевъ».

Вечеромъ Иванъ вошелъ въ Истоминскій лѣсъ. Могуція деревья съ вершинами, уходящими въ самое небо, обступили его со всѣхъ сторонъ, и ему стало какъ-то жутко. Онъ не привыкъ къ лѣсу. Видъ ровнаго съ далекимъ горизонтомъ поля всегда дѣйствовалъ на его душу успокоительно. Тамъ ему было знакомо все до той черты, гдѣ земля какъ крышею замыкается небомъ; и онъ твердо зналъ, гдѣ его взоръ встрѣтитъ холмъ, гдѣ овражекъ, а гдѣ одинако торчащій среди пашни кустикъ бобовника. А здѣсь среди богатырскихъ деревьевъ и непроницаемаго для глаза кустарника, среди мутнаго сумрака и непонятнаго шелеста Ивану казалось, что вотъ-вотъ передъ нимъ явится что нибудь таинственное, сверхъестественное и никогда не виданное имъ раньше. И онъ двигался среди лѣса нѣсколько смущенный, какъ путешественникъ среди чуждаго ему народа, нравовъ и языка котораго онъ не знаетъ.

Когда на небѣ загорѣлись звѣзды, Иванъ отворилъ

дверь лѣсной хаты дяди Порфирія. Въ хатѣ на дубовомъ столѣ горѣла маленькая жестяная лампочка. Порфирій сидѣлъ за столомъ и сапожнымъ ножомъ крошилъ корешки махорки. Онъ сразу увидѣлъ племянника и точно сорвался съ лавки — съ поцѣлуями, объятіями и вскрикиваніями. Онъ громко хохоталъ, всплескивалъ руками и пронзительно вскрикивалъ.

— Спасибо, племяшъ! Вотъ люблю паренька за ухватку!

И онъ опять бросался къ племяннику съ объятіями. Между тѣмъ, Иванъ вяло разоблачался, поглядывая на дядю. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, въ розовой ситцевой рубахѣ и нанковыхъ шароварахъ, въ высокихъ сапогахъ, рыжій, съ козлиною бородкою. Все его лицо было въ веснушкахъ, которыя на его носу сливались въ сплошныя пятна. Говорилъ онъ какъ-то вскрикивая и жестикулируя, точно пьяный, хотя водкою отъ него не пахло.

Вскорѣ онъ полѣзъ въ печку за щами, такъ какъ никакой прислуги онъ не держалъ и даже самъ доилъ корову. Во время ужина онъ ѣлъ мало и все тараторилъ, жестикулируя своими веснущатыми руками передъ самымъ носомъ племянника. А Иванъ сосредоточенно хлебалъ щи и разглядывалъ стѣны хаты, чистенькой и опрятной, несмотря на отсутствіе женщины.

— И безъ бабы, дружище, жить можно, — говорилъ, громко хохоча, Порфирій: — Бабы я не держу, съ бабой я черезъ недѣлю разругаюсь въ кровь! А ты вотъ смотри на меня, племяшъ, да учись, какъ жить надо. Можетъ и самъ лѣсникомъ будешь; лѣсникомъ быть не хитрая вещь, нужно только, чтобъ баринъ вѣрилъ, а онъ мнѣ вѣритъ, — хохоталъ Порфирій.

— А на мужицкую работу ты не способенъ, у тебя жила повреждена, вишь ты какой лядацій.

Послѣ ужина и дядя и племянникъ улеглись спать. Но Иванъ долго не могъ заснуть и все ворочался съ боку на бокъ, прислушиваясь къ разговору лѣса. Случайно ему пришло въ голову, что дядя Порфирій то-же похожъ на дерево. Онъ похожъ на осину: та безъ вѣтра шелеститъ листьями, а дядя хохочетъ безъ всякаго повода. И внезапно всѣ деревья показались ему похожими на людей.

«Береза—баба», думалъ онъ, засыпая: «дубъ—мужикъ, кленъ—баринъ, а орѣшникъ,—попоскій сынъ».

Онъ заснулъ.

Двѣ недѣли мелькнули, какъ одинъ день. Иванъ жилъ у дяди Порфирія и уже привыкъ къ лѣсу. Онъ не боялся его болѣе. Жизнь въ лѣсу даже пришлась ему по душѣ. Главное, здѣсь не было той тяжелой работы, которую Иванъ ненавидѣлъ всѣми силами своей души и отъ которой его мучила одышка, головокруженіе и ломота во всѣхъ членахъ. Утромъ Иванъ вставалъ рано и умывался холодною колодезною водою; затѣмъ, пока Порфирій доилъ корову, съ хохотомъ похлопывая ее по бедрамъ, онъ заготавливалъ хворостъ для печки. Потомъ и дядя и племянникъ отправлялись въ обходъ. Дядя шелъ впереди съ ружьемъ за плечами, а племянникъ съ боку или позади, съ топоромъ въ рукахъ, который онъ держалъ, какъ держитъ карточный валець свою сѣкиру. Они обходили весь свой участокъ, глядѣли, нѣтъ ли гдѣ порубки, оглядывали пеньки, присматривались къ слѣдамъ на лѣсной дорогѣ. Порфирій все время тараторилъ и хохоталъ, а Иванъ молчалъ и всѣми легкими вбиралъ въ себя свѣжій лѣс-

ной воздухъ. Ему казалось, что этотъ воздухъ сообщаетъ его дряблымъ мышцамъ крѣпость молодого дуба, что онъ вывѣтриваетъ изъ него всё его болѣсти и его слабое тѣло здоровѣетъ съ каждымъ часомъ, съ каждою минутою.

И, опустивъ голову, онъ шелъ позади дяди, думая свою думу. Что, если бы и ему сдѣлаться лѣсникомъ? Вдругъ онъ встрѣтится гдѣ нибудь въ лѣсу съ хозяиномъ и сужется понравиться ему. И хозяинъ сдѣлаетъ его лѣснымъ сторожемъ. Онъ будетъ добрымъ сторожемъ и не позволить украсть у хозяина ни одного прутика. Только бы никогда не видѣть постылой тяжелой работы!

И тутъ же Ивану приходило въ голову, что все это вздоръ и что его мечтамъ никогда не суждено сбыться. Въ апрѣлѣ онъ вернется въ дымную хату къ больной матери, которая найметъ его пилить бревна и корчевать пни. И послѣ тяжелой дневной работы онъ будетъ корчиться по ночамъ безъ сна и отдыха, мучаясь одышкою, головокруженіемъ, зелеными кругами въ глазахъ.

Эта боязнь отравляла счастливыя минуты Ивана. Когда онъ послѣ обхода возвращался вмѣстѣ съ дядею изъ лѣсной хатѣ и ея опрятный видъ веселилъ его взоръ, онъ глѣдѣлъ и думалъ, что все это не надолго, что все это очень не надолго, что все это пройдетъ, минетъ, какъ счастливый сонъ.

Порою на Порфирія нападало мрачное состояніе; съ утра онъ просыпался злобный и сердитый и привязывался къ каждому движенію племянника; онъ придирался къ нему цѣлый день съ утра до вечера, обзывая лядящимъ и божился всѣми снытыми, что сонетъ его обратно къ матери.

Въ такія минуты Иванъ окончательно падалъ духомъ.

Весь день онъ ходилъ самъ не свой, а ночью плакать въ своемъ углу на печкѣ, съ головою укрывшись полубкомъ. Онъ плакалъ и думалъ.

Что, если дядя внезапно захвораетъ и умретъ, а хозяинъ сдѣлаетъ Ивана лѣснымъ сторожемъ? И тогда онъ поселится въ этой хатѣ вмѣстѣ съ матерью. Онъ будетъ получать десять рублей деньгами, да два пуда ржаной муки, да десять фунтовъ пшена. Они будутъ держать корову и онъ никогда въ жизни не вернется къ постылой работѣ.

И вмѣстѣ съ этимъ Ивану приходило въ голову, что не дурно бы быть псаломщикомъ и читать во святой церкви божественные стихи.

Но мрачное и злое настроеніе соскакивало съ Порфирія такъ же внезапно, какъ и появлялось. Онъ снова принимался хохотать съ утра до вечера и шутливо толкать въ животъ племянника своими веснуцатыми кулаками. И тогда Иванъ нѣсколько успокоивался.

Какъ-то въ лѣсную хату Порфирія внезапно пріѣхалъ самъ хозяинъ Истоминъ. Онъ былъ въ зеленой плюшевой шапочкѣ и въ курткѣ съ зелеными отворотами. За его спиною болталась щегольская двухстволка. Истоминъ намѣревался немножко поохотиться и на охоту онъ захватилъ съ собою Ивана. Иванъ сопровождалъ его по лѣсу и собственными руками поймалъ зайца, которому Истоминъ перешибъ заднюю ногу. За это онъ получилъ отъ хозяина рубль.

Послѣ охоты Истоминъ снова заѣхалъ закусить въ лѣсную хату Порфирія, и когда Иванъ вышелъ изъ хаты накачать усталой собакой воды въ корыто, онъ услышалъ за дверью голосъ Истомина:

— Хорошій парень твой племянникъ! когда ты, старая сорока, помрешь, я сдѣлаю его лѣсникомъ.

Истоминъ забулькалъ, очевидно проглатывая рюмку водки, а Порфирій неистово расхотался.

Когда Иванъ, накачавъ собакъ воды, вернулся въ хату, онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ всегда.

Истоминъ уѣхалъ. Дни потянулись за днями. Между тѣмъ, на Порфирія снова напало мрачное настроеніе, онъ ругалъ племянника съ утра до вечера и каждый день грозилъ отослать его обратно къ матери. По цѣлымъ днямъ онъ кричалъ на племянника, размахивая передъ его носомъ веснушчатыми кулаками.

— Ступай занимайся корчевать пеньки, блоха лѣсная! Попробуй-ка ночевать на сырой землицѣ подъ дождекомъ! Да! Ишь зазнался, рыло воротить, чтобъ тебя лѣшій переѣхалъ!

Въ то же время на Покровъ Иванъ получилъ письмо отъ матери. Солдатъ Селифанъ, единственный во всей деревнѣ человекъ, знавшій прописныя буквы, писалъ Ивану подъ диктовку Матрены, между прочимъ, слѣдующее:

«Такъ какъ мы, милый сыночекъ, промежду прочимъ наслышаны, что дядя вами недоволенъ и что онъ можетъ васъ каждый часъ выгнать, то мы были у Андропова и онъ можетъ васъ взять въ пыльщики на 5 рублей въ мѣсяцъ и его харчъ. Уйдете, милый сыночекъ, отъ дяди, идите къ нему, а у насъ хлѣба до зимняго Миколы не хватить, а мнѣ милый сыночекъ на старости лѣтъ идти по міру тяжело, а вамъ стыдно. Съ материнскимъ благословеніемъ написалъ солдатъ Селифанъ».

Дочитавъ записку матери, Иванъ долго сидѣлъ неподвижно и глядѣлъ на тучи, непривѣтливыя и неряшли-

выя, скитавшіяся по небу, какъ бездомныя попрошайки въ изодранныхъ зипунахъ.

На другой день Порфирій снова проснулся мрачный и злой и, не успѣвъ умыться, онъ накинулся на племянника:

— Ты чего мнѣ вчера ружье не промылъ, галка ты щипанная? Аль дармоѣдничать хочешь, пугало воронье? Чего бѣльма-то на меня выпялилъ? Вотъ прогоню тебя къ матери. Ступай, нанимайся къ Андронову въ пильщики.

Когда они пошли въ обходъ, дядя все время ворчалъ на племянника и вышагивалъ впереди него съ ружьемъ за плечами, сердито размахивая руками.

— Помяни мое слово, завтра сошлю тебя къ матери, чтобъ тебя лѣпшій переѣхалъ!—кричалъ онъ и, оборачиваясь къ племяннику, брызгалъ ему въ лицо слюною.

Все его лицо поблѣднѣло отъ гнѣва и даже коричневое пятно на его носу стало сѣро-зеленымъ.

Иванъ шелъ за дядею съ топоромъ за поясомъ и сердито думалъ:

«Лайся, лайся, коли тебѣ охота пришла!»

Но мысль о томъ, что если дядя прогонитъ, ему придется идти въ пильщики, мучительно сверлила его сердце. Онъ уже чувствовалъ въ груди приступъ одышки и думалъ:

«Если бы ты умеръ, я занялъ бы твое мѣсто. Хозяинъ мною доволенъ».

И вдругъ ему пришло въ голову, что этотъ злобно кричащій на него человекъ стоитъ поперекъ его дороги и мѣшаетъ ему завоевать счастье, о которомъ онъ мечтаетъ день и ночь. Это мѣсто его, хозяинъ обѣщалъ отдать ему, а этотъ человекъ еще кичится, что прогонитъ его!

Иванъ съ ненавистью оглядѣлъ дядю съ головы до ногъ.

— Паскудникъ, паскудникъ,—ворчалъ Порфирій, не оборачиваясь.

А Иванъ смотрѣлъ на него, поблѣднѣвъ всѣмъ лицомъ.

Между ними было разстояніе въ два шага и Ивану казалось, что эти два шага отдѣляютъ его отъ счастья, отъ тихой и спокойной жизни. Стоитъ только ему захотѣть и шагнуть два раза, и онъ никогда не будетъ пыльщикомъ, никогда въ жизни не узнаетъ работы, для которой нужна лошадиная сила.

Ивана точно что-то оторвало отъ земли и понесло выше тучъ. У него закружилась голова и зашумѣло въ ушахъ.

Внезапно онъ выхватилъ изъ-за пояса топоръ, ступилъ два шага и, высоко взмахнувъ топоромъ, опустилъ его на голову дяди.

Порфирій упалъ ничкомъ съ расколотою головою.

Иванъ видѣлъ его затылокъ и на немъ широкую, съ разорванными краями, трещину, мгновенно наполнившуюся кровью. Онъ выронилъ топоръ и долго стоялъ, ничего не понимая, съ широко раскрытыми, помутившимися глазами. Потомъ онъ сѣлъ у вытянутыхъ ногъ распростершагося на землѣ дяди на корточки и все смотрѣлъ на багровый рубецъ, зиявшій на его затылкѣ, и на кровь, сочившуюся по затылку за воротъ его розовой рубахи. Онъ глядѣлъ долго съ тоскливымъ любопытствомъ, какъ кровь все текла и текла, и ему казалось, что она будетъ течь вѣчно и онъ будетъ вѣчно глядѣть на ея медленное теченіе. Кровавое пятно на спинѣ розовой рубахи Порфирія все расплывалось и расплывалось и, какъ казалось Ивану, принимало форму топора.

Наконецъ, Иванъ всталъ на ноги и перевернулъ трупъ

на спину. Одинъ глазъ Порфирія былъ прищуренъ, а другой вытаращенъ. Лицо его было блѣдно и даже веснушки стали сѣрыми; его рыжая, торчавшая кверху клиномъ борода тоже какъ будто посѣрѣла. Иванъ взялъ Порфирія за ноги, слегка раздвинулъ ихъ и вошелъ между ними задомъ, какъ лошадь въ оглобли. Придерживая трупъ за ноги, онъ поволокъ его такимъ образомъ лѣсомъ, сосредоточенный и напряженный. Онъ проволокъ трупъ около двухъ верстъ къ «Волчьему оврагу» и, остановившись здѣсь, сталъ выбирать мѣсто. Скоро онъ увидѣлъ песчаную площадку, выходившую выступомъ отъ глиняной кручи. Мѣсто это ему понравилось и онъ потащилъ трупъ туда, шагая, какъ лошадь въ оглобляхъ. Тамъ онъ уложилъ свою ношу на песчаный мысокъ и, вытащивъ изъ-за пояса Порфирія свой топоръ, который онъ засунулъ туда прежде, чѣмъ волочить за ноги трупъ, онъ сталъ подрывать имъ снизу глиняную кручу надъ безмолвно распростертымъ Порфириемъ. Такимъ образомъ, онъ проработалъ около двухъ часовъ. Потомъ, когда, по его мнѣнію, круча была уже достаточно подрыта, онъ вдвинулъ трупъ въ вырытое имъ углубленіе какъ въ ящикъ. Затѣмъ онъ залѣзъ сверху на кручу и сталъ собственною тяжестью, топоромъ и всѣми своими усиліями спускать подрытую имъ глыбу внизъ на коченѣющій трупъ. Послѣ тяжелой получасовой работы Иванъ достигъ и этого. Круча съ гуломъ осѣла и на всегда похоронила подъ собою дядю Порфирія. Добившись этого, Иванъ легъ на землю тутъ же, въ двухъ шагахъ отъ похороненнаго имъ трупа, тяжело дыша и отдыхая отъ мучительной тоски, одышки и головокруженія. Въ его глазахъ рябило, онъ былъ почти безъ сознанія. Наконецъ, силы вернулись къ нему. И тогда онъ пошелъ въ лѣсную

хату, взявъ скребокъ и прошелъ съ нимъ въ лѣсъ, туда, гдѣ онъ ударилъ топоромъ дядю Порфирія, и тою дорогою, которою онъ волочилъ трупъ на кладбище. Со скребкомъ въ рукахъ онъ прошелъ всѣ эти мѣста, внимательно уничтожая слѣды крови и затѣмъ снова отдыхалъ, лежа на землѣ. Только передъ закатомъ солнца Иванъ вернулся въ лѣсную хату, оглядѣлъ свою одежду, тщательно вымылъ топоръ и скребокъ и поставилъ ихъ на свое мѣсто. Послѣ этого онъ досталъ начатый имъ лапотъ, усялся на крыльцѣ и, защемивъ лапотъ колѣнями, принялся плести его, постукивая кочедыкомъ въ сочное лыко подошвы. Думы шли въ его головѣ одна за другою, какъ осеннія тучи. Два дня онъ рассчитывалъ молчать, а тамъ онъ явится къ Истомину и заявить ему, что его дядя Порфирій, отлучившись для обычнаго обхода вчера утромъ, неизвестно куда пропалъ вмѣстѣ съ своимъ ружьемъ, а его, Ивана, поиски остались безъ успѣха.

И при этомъ Ивану приходило въ голову, что не дурно бы быть сейчасъ псаломщикомъ и читать во святой церкви божественные стихи.

Вечеромъ онъ подоилъ корову, загналъ куръ, похлебалъ щей и, не зажигая лампы, сѣлъ у окна на лавку и глядѣлъ въ лѣсъ. Прошло нѣсколько часовъ. Лѣсъ наполнился мракомъ, подулъ вѣтеръ, заморосилъ дождь, а онъ все сидѣлъ у окна и глядѣлъ передъ собою, прислушиваясь къ монотонному ворчанью лѣса.

И внезапно на Ивана напалъ страхъ, онъ вспомнилъ, что не снялъ сапогъ съ ногъ убитаго. Сапоги нужно было снять непременно и зарыть ихъ гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, иначе покойникъ будетъ приходить къ нему каждую ночь. И Иванъ былъ увѣренъ, что дядя Порфирій

возившійся, пахнувшій гнилью и смертью и моросившій на спину Ивана холодными каплями.

Онъ точно настегивали его.

Иванъ все бѣжалъ и бѣжалъ, что было мочи.

Пороку ему казалось, что лѣсъ бѣжить по обѣимъ сторонамъ его дороги съ стремительною быстротою и замыкается впереди него непроницаемою стѣною.

Онъ понялъ, что его обошли и замкнули въ кольцо, откуда ему никогда и ни за что не выбраться. Но онъ все-таки бѣжалъ.

Въ его ухахъ свистѣло, а его сердце толкалось въ грудь съ такою же силою, съ какою толкаются заднія ноги зайца, когда охотникъ перерѣзываетъ ему горло. Въ горлѣ Ивана саднило и жгло, онъ задыхался. Но онъ не имѣлъ силъ остановиться и передохнуть. Его точно несло прорвавшимъ плотину потокомъ и онъ бѣжалъ впередъ и впередъ съ мучительною тоскою. У самой опушки онъ упалъ, точно спотыкнулся, и съ дикимъ крикомъ вцѣпился обѣими руками въ землю...

Черезъ трое сутокъ истоминскій приказчикъ нашелъ въ опушкѣ лѣса трупъ. Онъ лежалъ вдоль дороги, головою къ опушкѣ, безъ шапки, съ пальцами, судорожно втиснутыми въ жидкую грязь дороги.

Когда приказчикъ осторожно перевернулъ трупъ къ себѣ лицомъ, онъ узналъ въ немъ Ивана, хотя его щеки уже безобразно вздулись, перекосились и почернѣли.

сквозь мутный сумрак осенней ночи сърое лицо Порфирия. Одинъ его глазъ съ ужасомъ вытаращенъ, а другой лукаво прищуренъ. И тогда Ивана начинала мучить одышка и зеленые круги въ глазахъ.

И вдругъ онъ заснулъ тутъ же, уронивъ голову на подоконникъ, скорчившись на лавкѣ, со лбомъ, покрытымъ холоднымъ потомъ.

Но черезъ минуту онъ проснулся въ ужасѣ. Его точно кто-то толкнулъ. Онъ вскочилъ съ лавки, трясаясь всѣмъ тѣломъ. Онъ понялъ, что дядя идетъ къ нему.

Иванъ прислушался, дрожа у раскрытаго окна. Ему показалось, что онъ слышитъ шлепанье тяжелыхъ сапогъ по грязной дорогѣ. Съ боку Ивана стукнула обь стѣну качаемая вѣтромъ ставня.

Иванъ вскрикнулъ и выскочилъ, какъ былъ, не одѣтый, вонъ изъ хатъ, во мракъ, на грязную дорогу. Онъ остановился, едва переводя духъ.

Кругомъ былъ мракъ и лѣсъ; моросилъ дождь съ такимъ же упорствомъ, съ какимъ текла кровь изъ рубца на затылкѣ Порфирия. Съ однообразнымъ шуршаньемъ падали листья. И больше ничего. Иванъ перевелъ духъ и, блуждая безпомощно глазами, крикнулъ во весь голосъ:

— Дяденька Порфирій, дядя!

Кручи «Волчьего оврага» издадека откликнулись ему:—дядя!

Иванъ бросился бѣжать.

Онъ бѣжалъ тою же дорогою, которою пришелъ сюда, бѣжалъ изо всѣхъ своихъ силъ, коченѣя отъ холода и ужаса, какъ только несли его ноги.

Лѣсъ тянулся долго, мучительно долго и, казалось, ему не будетъ конца. Кругомъ былъ мракъ, шуршавшій,

сидятъ на въѣзжей. Сотскій везетъ бродягу, арестованнаго, какъ безпаспортнаго, отъ урядника изъ села Колмазова къ становому въ село Большія Варезки. За досчатую перегородкою слышны похрапыванья четырехъ носовъ. Три носа принадлежатъ хозяевамъ избы, четвертый --- теленку. Три носа, очевидно, давно сыгрались, одинъ не мѣшаетъ другому, и только теленокъ постоянно запаздываетъ, разрушая гармонию. Бродяга и сотскій только что поужинали. Въ избѣ еще держится запахъ коноплянаго масла и кислой капусты, а кривоногий столъ носить на себѣ слѣды елизившей по немъ мокрой мочалки. На столѣ горитъ свѣчка въ жестяномъ подсвѣчникѣ. Въ избѣ полумракъ; слышно, какъ съ подоконника стекаетъ вода, какая на полъ.

— Образъ Троеручицы видѣлъ? — спрашиваетъ бродяга, насквозь пронизывая сотскаго слезящими глазами.

— Н-не видѣлъ, — шепчетъ тотъ.

Бродяга встаетъ и ходитъ изъ угла въ уголъ по избѣ; половицы поскрипываютъ подъ его ногами. Онъ худъ, малъ и тщедушенъ; на его щекахъ, подбородкѣ и кадыкѣ торчитъ скудная растительность неопредѣленнаго цвѣта. Гладко остриженная голова покрыта золотушными струпами. Одѣтъ онъ въ женскую кацавейку, солдатскіе штаны и разбитыя валенки. На шеѣ красный, просаленный шарфъ. По виду ему лѣтъ сорокъ.

— На Аѳонѣ былъ? — спрашиваетъ онъ сотскаго.

Тотъ вздыхаетъ.

— Н-нѣтъ, н-не былъ.

— А я два раза туда ходилъ.

Сотскій рѣшается приподнять глаза.

— Хорошо тамъ, небось? — спрашиваетъ онъ.

Бродяга опускается на лавку и держится обѣими руками за ея край.

— Да я, признаться, не доходилъ до Аѳона-то, — отрывисто говоритъ онъ: — меня въ Кишиневѣ заарестовали понапраслину, я было объ этомъ лезорюцію знакомому архимандриту написалъ, да квитанцію потерялъ. Такъ моя лезорюція даромъ и пропала!.. Много я за правду пострадалъ, Стоеросовъ, — добавляетъ онъ и смотритъ въ потолокъ: — и не ропщу! Лыщусь, награду и мзду свою на небесѣхъ обрящу.

Онъ молчитъ и черезъ минуту опять добавляетъ:

— Отпусти ты меня, Стоеросовъ! Что тебѣ стоитъ? Скажешь, что ночью съ дороги сбѣжалъ, и вся недолга!

Сотскій крутитъ головою.

— Никакъ нельзя, обязанности!

Бродяга подпрыгиваетъ на лавкѣ и его глаза загораются.

— Грѣшникъ ты, Стоеросовъ, великій грѣшникъ! — шипитъ онъ: — Посадятъ тебя на томъ свѣтѣ на горящую сковородку за мою святую душеньку! Разбойникъ ты, фарисей и варнакъ!

— Никакъ нельзя, — повторяетъ сотскій уныло.

Въ избѣ опять дѣлается тихо.

— Къ «Утоли моя печали» прикладывался? — черезъ минуту спрашиваетъ бродяга Стоеросова отрывисто и злобно.

Тому дѣлается страшно и жутко.

— Н-нѣтъ, — вздыхаетъ онъ.

— На Ивана Постнаго круглое ѣлъ? Добра какого ни на есть воровать доводилось?

— Н-не... говоритъ сотскій и осѣкается: — Однова, сѣна с-съ полвозика... Это точно, — добавляетъ онъ, запкаясь.

— Грѣшникъ, грѣшникъ, грѣшникъ! — восклицаетъ бродяга шипящимъ голосомъ и подскакиваетъ на лавкѣ: — Посадятъ тебя на томъ свѣтѣ на горячую сковородку, да сѣномъ-то и обложатъ, да и подожгутъ! И сбѣгутся къ тебѣ со всѣхъ сторонъ шишиги хвостатыя, чиганашки красноглазые, вѣдьмы зеленобрюхія и учнутъ тебя вилами, да вилами, да вилами!

Бродяга брызжется слюною и тычетъ пальцемъ.

— И взмолишься ты ко мнѣ изъ пекла ада: «Гаврюшенька, святая душенька, дай мнѣ водицы!» И покажу я тебѣ, Стоеросовъ, фигу. «А ты меня пожалѣлъ»? спроси: «А ты меня пожалѣлъ, воръ, искаріотъ и предатель»? И горько заплачешь ты!

Бродяга замолкаетъ. Сотскій сидитъ съ краснымъ лицомъ и надутыми на вискахъ жилами.

— Пожалѣлъ бы ты насъ, — шепчетъ онъ.

— Не пожалѣю, — шипитъ бродяга, поднимая руку надъ головою и грозно потрясая указательнымъ пальцемъ съ ободраннымъ ногтемъ: — Не пожалѣю!

— Господи! — крутитъ головою сотскій.

— Въ Ерусалимѣ паломничалъ? — между тѣмъ спрашиваетъ его бродяга также строго.

Сотскій все крутитъ головою.

— Гдѣ намъ ужъ, Госп...

Бродяга останавливается передъ нимъ, заложивъ за спину руки.

— А я три раза туда ходилъ!

— И ко гробу Господню приложиться сподобились?

Бродяга трясетъ головою.

— Нѣтъ, меня въ Одесѣ заарестовали понапраслину. Тремъ іеромонахамъ писалъ объ этомъ. «Перетерпи», отвѣтили.

Сотскій крутитъ головою и вздыхаетъ:

— Госп...

Вскорѣ бродяга и сотскій укладываются спать. Сотскій кладетъ подъ голову аккуратно свернутую нанковую поддевку, бродяга—рваную шапченку. Сотскій тушитъ свѣчку. Лицо его красно, и жилы на вискахъ надуты. Ему страшно и тяжело; онъ чувствуетъ себя, съ головою, погрязшимъ въ грѣхахъ. Онъ кряхтитъ и ворочается съ боку на бокъ. Въ избѣ тихо; слышно какъ съ подоконника капаетъ вода, да четыре носа выводятъ за перегородкою свою пѣсенку. И сотскому кажется, что каждый носъ повторять свое слово. Первый носъ съ присвистомъ выговариваетъ:

— Тетенька!

Второй носъ шипитъ:

— Па-а-ш-ша!

Третій носъ коротко произноситъ:

— Ш-ш-лепъ!

А четвертый носъ, телячій, флегматически повторяетъ:

— Хамъ-гамъ.

При этомъ теленокъ постоянно запаздываетъ, такъ что его «хамъ-гамъ» слышится то послѣ «тетеньки», то послѣ «Паши», то послѣ «шлепъ»!

— Господи, Госп...—шепчетъ сотскій.

— Стоеросовъ!—строго говоритъ бродяга: — Зажги, идолъ, свѣчку, меня вошь заѣла!

Сотскій зажигаетъ свѣчку. Когда бродяга скидаетъ съ себя грязную рубаху и начинаетъ шарить въ ней пальцами, повернувъ къ огню свою съ выдавшимися позвонками спину, Стоеросову бросаются въ глаза фіолетовые рубцы, исполосовавшіе эту спину вдоль и поперекъ.

— Гдѣ это тебѣ такъ?—спрашиваетъ онъ съ ужасомъ.

Бродяга быстро надѣваетъ рубаху; когда онъ застегиваетъ воротъ, его руки дрожать. Онъ подходитъ къ лавкѣ, падаетъ на нее ничкомъ и, уткнувъ лицо въ дырявую кацавейку, начинаетъ плакать. Жиденькія, слабенкія и горькія рыданія вырываются изъ его горла. Его голова трясется, тыкая носомъ въ кацавейку.

— Въ Благовѣщенскѣ... Этого... мнѣ плетми исполосовали...—говорить онъ между всхлипываньями:—и оиять исполосуютъ... Тебя какъ зовутъ-то?—добавляетъ онъ, плача и шмыгая носомъ.

— Григоріемъ,—говорить сотскій.

— Боюсь я, Гришенька, плетей, — шепчетъ бродяга слабенкимъ голосомъ:—Охъ, какъ боюсь!.. Такъ боюсь, што, кажись, сейчасъ бы рай свой загробный на твой адъ промѣнялъ, только бы плетей миновать!

Сотскій со страхомъ глядитъ на его трясущуюся голову. Бродяга, наконецъ, встаетъ съ лавки и, шмыгая носомъ, надѣваетъ свою кацавейку. Его глаза красны. Онъ долго не можетъ попасть въ рукавъ.

— Отпусти меня, Гришенька,—шепчетъ онъ.

Сотскому страшно и тяжело. Въ сердцѣ онъ ощущаетъ боль, точно туда насыпали битаго стекла. Наконецъ, онъ набирается смѣлости и говоритъ:

— Вотъ то-то и оно... ты говоришь... А нешто безъ дѣла плетми стануть стегать?

Онъ еще не успѣваетъ договорить послѣднихъ словъ, какъ бродяга наскакиваетъ на него съ пѣною у рта.

— Ты говоришь, ты говоришь...—пишеть онъ:—А ты объ Андреѣ Первозванномъ читаль? о Варфоломеѣ и Варнавѣ читаль? о Симеонѣ Столпникѣ, объ Іустинѣ Философѣ, о дѣвѣ Лукіи читаль? а? Читаль, идолъ? читаль, капище поганое? читаль? Спросишь ты у меня водички,

искарютъ! Покажу я тебѣ фигу, предатель! Узнаешь ты, какъ сѣно воровать, башня ты Вавилонская!

Бродяга насканиваетъ на сотскаго и измѣряетъ его уничтожающимъ взоромъ. Тотъ сопитъ, не смѣя поднять глазъ. Жилы на его вискахъ опять надуваются, лицо краснѣетъ. Кажется, что вотъ-вотъ его хватить кондрашка.

— Дозвольте, — говоритъ онъ: — Дозвольте, господинъ, дозвольте, господинъ, одно слово. Одно слово. Я, конечно, я мужикъ, мразь! Я не то что сѣно, я однава цѣлый возъ дровъ уволокъ. Сиволдай, какъ есть. Кто насъ чему учить, дозвольте васъ спросить? Вѣрно сказали, што идолъ! Я не то што возъ дровъ, я, когда моя жена Акулина на побывку къ родителямъ ѣздила, я къ Варварѣ ходилъ. Истинное слово, ходилъ! Каждый день ходилъ. И, конечно, я въ аду буду. Это точно. Только вотъ што я скажу вамъ: конечно, я скоть и идолъ, а вы уходите отселева! Не мучайте моего сердца, уходите! Пожалуйте меня, уходите, сдѣлайте милость!

Бродяга долго не понимаетъ, что говоритъ ему сотскій, и, наконецъ, понявъ, начинаетъ быстро ходить изъ угла въ уголъ. Затѣмъ, онъ дѣлаетъ рукою по воздуху рѣшительный жестъ.

— Не пойду, — заявляетъ онъ: — Погублю твою душу, Стоеросовъ! Не пойду! Пусть меня во всѣхъ городахъ плетью жарятъ! Не пойду! Покажу я тебѣ, Стоеросовъ, фигу!

Бродяга бѣгаетъ по избѣ, отчаянно размахивая руками. Сотскій поднимается съ лавки и начинаетъ ходить за нимъ по пятамъ.

— Уходите, господинъ, — шепчетъ онъ умоляюще: — уходите, сдѣлайте милость.

— Не уйду!

Бродяга останавливается и протягивает руку.

— Или вот что: давай трешницу, — говорит онъ отрывисто, точно ругается.

— Нѣтъ у меня трешницы. Сдѣлайте милость, господинъ, уходите, — шепчетъ сотскій, прижимая обѣ руки къ сердцу.

Все его лицо надувается.

— Ну, вотъ то-то, — говоритъ бродяга: — Ты у меня смотри, того! — и онъ грозитъ пальцемъ передъ самымъ носомъ сотскаго.

— Не буду. Уходите, ради Господа, — стонетъ тотъ.

Бродяга исчезаетъ за дверью, но черезъ минуту, снова пріотворивъ дверь, шипитъ:

— Смотри же ты у меня, Стоеросъ! Помни, капище богопротивное!

— Уходите, — стонетъ сотскій, отмахиваясь обѣими руками.

Бродяга исчезаетъ. Стоеросовъ тушитъ свѣчку и укладывается на лавкѣ. Сердце его усиленно бьется; онъ сопить и покрываетъ. Онъ представляется самому себѣ разбойникомъ и душегубомъ.

— Господи милостивецъ! — шепчетъ онъ, вздыхая.

Съ окна монотонно капаетъ вода. За перегородкою слышится разговоръ носовъ:

— Тетенька!... Паша!... Шлепы!

— Хамъ-гамъ, — сопить не въ очередь теленокъ.

Часа черезъ два, однако, сотскій приходитъ въ себя и начинаетъ ясно понимать то, что онъ сдѣлалъ. Блѣдный, онъ соскакиваетъ съ лавки и тихая избенка оглашается его дикимъ крикомъ:

— Батюшки, милостивцы! Арестантъ, разбойникъ, сбѣжалъ!..

ЛѢСНАЯ ИДИЛЛИЯ.

Звали его дѣдъ Лазарь.

Жилъ онъ въ лѣсу на ячельникѣ, въ двухъ верстахъ отъ деревни Сусловки, съ пятнадцатилѣтнею внучкою Грунею. Его опрятная вымазаная глиною хатка стояла на веселой луговинѣ и была окружена цѣлымъ селеніемъ ульевъ, надъ которыми съ утра до вечера гудѣли пчелы. У крыльца хаты на длинномъ шестѣ торчалъ конскій черепъ, до глянца отполированный дождями. Въ двухъ шагахъ отъ крыльца извивался ручей, перерѣзывая луговину, какъ серебряною лентою. А вся лѣсная поляна, гдѣ стоялъ пчельникъ, была окружена зеленою стѣною лѣса. Въ ясные вѣшніе дни дѣдъ Лазарь вѣчно копошился на полянѣ въ бѣлой холщевой рубахѣ и новыхъ лаптяхъ, еще пахнувшихъ липою. Онъ или оправлялъ старые разохшіеся отъ солнца пеньки или тюкалъ топоромъ, дѣлая для продажи грабли и вилы. Дѣдъ былъ плотникъ. Груня въ бѣлой рубашкѣ и красной клѣтчатой юбкѣ сидѣла тутъ же на крылечкѣ, работая иглою. Ея худощавая и тонкая фигурка была ярко залита солнцемъ; босыя ноги казались бронзовыми и вся она походила на хорошенькую бронзовую статуэтку. Въ эти минуты она и дѣдъ, пчельникъ и лѣсъ рисовались одною эф-

фектною картинкою. Поляна точно нѣжилась въ лучахъ солнца; вымазанная глиною хатка стояла, какъ опрятная старушка, а лѣсъ окружалъ всю луговину, какъ зеленый вѣнокъ.

И все это жадно поглощало лучи солнца, пѣло и ликовало. Тонкое благоуханіе жизни разливалось въ воздухѣ, какъ божественный напитокъ.

Даже дѣдъ Лазарь, съ серебряною бородою чуть не до пояса, молодѣлъ въ эти минуты и, тюкая сверкающимъ на солнцѣ топоромъ, онъ далеко уходилъ мечтою въ прошлое. А внучка грезилъ о томъ, чего не бываетъ. Порою она отрывала отъ работы свое бронзовое отъ загара личико и говорила дѣду:

— Дѣдушка, а дѣдушка, Расскажи-ка ты мнѣ про жизнь свою.

Дѣдъ присаживался на крылечкѣ, упирался коричневыми ладонями рукъ въ колѣни, улыбался и отвѣчалъ:

— Всего было много, внучка, и хорошаго и дурного. Былъ я мужикомъ, былъ солдатомъ, былъ плотникомъ, теперь состою пчелинцемъ. Всего было много. Шли мы туркестанской степью, внучка, жаръ былъ такой, что на шеѣ волдыри вздувались. Двое сутокъ безъ воды были; ночью, бывало, пулю сосешь. Случалось, конину ѣтъ. Одна рука мнѣ туркменъ прострѣлилъ камнемъ; пули у нихъ вышли, такъ они камнями стрѣляли. Всего было много. Изъ солдатъ вернулся, жена померла, сыночекъ, твой отецъ, при мнѣ остался. А тамъ и онъ померъ; съ церкви упалъ, грудь расшибъ. Помню, моръ на деревнѣ былъ, полъ деревни, какъ метлой, выметъ. Горѣли мы разъ десять. Всего было!—дѣдъ на минуту умолкалъ, щурилъ отъ солнца старые глаза и, кротко улыбаясь, продолжалъ:

— Помню, парнемъ я былъ; жениться захотѣлось, денегъ на кладку не было. И поѣхалъ я съ двумя парнями у татаръ лошадей воровать. Пымали насъ татары въ лошинѣ, въ десять рукъ били; насилу домой приположь.

— Съ тѣхъ поръ будя воровать,—добавлялъ дѣдъ съ добродушнымъ смѣхомъ.

Груня глядѣла въ лицо дѣдушки съ недоумѣніемъ.

— Такъ неужли ты, дѣдушка, и воромъ былъ?

Дѣдъ улыбался.

— Всего было много, внучка, и дурного и хорошаго. И я людей билъ, и меня били. И я воровалъ, и у меня воровали. И я нищимъ подавалъ, и мнѣ добрые люди подавали. Жизнь-то не шутка, внучка. Всего было много.

Дѣдъ умолкалъ. И онъ и внучка снова принимались каждый за свою работу.

Но день уходилъ и на лѣсной полянѣ дѣлалось тихо. Надъ лѣсомъ вставалъ туманъ; лѣсныя просѣки казались затканными паутиною. Неподвижный свѣтъ мѣсяца заливалъ все небо, лѣсъ и поляну, и бѣлую хату пчелинца. Конскій черепъ бѣлѣлъ на высокому шестѣ въ лунномъ свѣтѣ и точно скалилъ зубы. Казалось, онъ хотѣлъ напугать тайныхъ враговъ мирнаго пчельника. А въ хатѣ слышалось мѣрное дыханіе дѣда и внучки. Дѣду грезились туркестанскія степи, туркмены въ косматыхъ шапкахъ и сынъ съ разбитою грудью. Иногда въ неглубокой лошинѣ въ десять рукъ его били татары. А внучкѣ снилось то, чего не бываетъ и о чемъ даже рассказать нельзя.

Утренняя зря будила ихъ обоихъ выѣстъ съ ихъ пчелами и звонкія пѣсни птицъ звали ихъ къ жизни. Такъ шло время.

Осенью лѣсъ облеталъ. По цѣлымъ ночамъ моросили дожди, наполняя воздухъ монотоннымъ шуршаньемъ и

сыростью. Въ тускломъ небѣ бродила луна, заглядывая на мокрыя поляны лѣса, гдѣ гнили листья. Вымоченный дождемъ сытъ садился порою на конскій черепъ, торчавшій на своемъ шестѣ, какъ на уродливой шеѣ, и протяжно кричалъ, вызывая кого-то изъ лѣсу. Похожій на кладбище лѣсъ откликался ему страннымъ шуршаньемъ, а лѣсной съ размытыми берегами оврагъ передразнивалъ унылый крикъ сыча. И сытъ летѣлъ туда на зовъ оврага мягкимъ полетомъ и исчезалъ въ его темномъ руслѣ.

Въ эти ночи у стараго дѣда ломили простуженныя ноги и онъ стоналъ. Груня прислушивалась къ стонамъ дѣда и лѣса и лежала на своей постели съ испуганными глазами. Осень пугала ее; она напоминала ей о хилой старости. Утромъ Груня просыпалась грустная и присаживалась за пряжу, тоскливо поглядывая въ заплаканное оконце. На дворѣ было тускло и хмуро, въ лѣсу пахло гнилью, и Грунѣ словно не вѣрилось, что весна вернется и лѣсъ оживетъ снова.

Но послѣ осени приходила зима и запорашивала бѣлымъ снѣгомъ гниюще на землѣ листья и самый лѣсъ, и поляну и одѣтые въ солому ульи. Все принимало чистый и опрятный видъ. По цѣлымъ днямъ дѣдъ Лазарь ковырялъ лапти, а Груня ткала холстъ. Порою дѣдъ рассказывалъ внучкѣ о туркестанскихъ степяхъ и о всей своей долгой жизни, каждый разъ заключая свой рассказъ словами:

— Всего было много, внучка, и хорошаго и дурного. И за все спасибо и Богу и добрымъ людямъ!

Лунными ночами по крутымъ скатамъ оврага играли косоглазые русаки, а къ утру ложились спать возлѣ окутанныхъ въ солому ульевъ. Груня, выбѣжавъ на минуту изъ хаты, не рѣдко выпугивала ихъ оттуда и съ звон-

кимъ хохотомъ стрѣляла за ними, сверкая босыми ногами, съ рѣзвостью дикой козы.

Въ эти минуты ей было безотчетно весело. Послѣ скучной осени ледяное дыханье зимы наполняло ее всю смѣлою бодростью и звонкимъ смѣхомъ.

Иногда по цѣлымъ недѣлямъ за тусклыми окнами хаты свистѣла мятель. Весь лѣсъ скрипѣлъ и курился; въ мутномъ свѣтѣ сумерекъ по лѣснымъ полянамъ, какъ призраки, бѣгали, свистя и играя, смѣжные вихри. А Груня широкими глазами слѣдила изъ окна за ихъ странною игрою, думала о веснѣ и чего-то ждала.

Такъ шли дни за днями. Воскресенье дѣдъ и внучка узнавали по мѣдному звону, который приносился на пчельникъ откуда-то издалека и протяжно гудѣлъ въ крутыхъ берегахъ лѣсного оврага. Всѣ же остальные дни недѣли и дѣдъ и внучка нерѣдко путали, такъ какъ они были похожи другъ на друга, какъ листья одного дерева.

Какъ-то лѣтомъ на пчельникъ дѣда Лазаря зашелъ съ охоты сынъ сосѣдняго помѣщика Абишинъ. Онъ былъ въ легкой охотничьей курткѣ, а его безбородое лицо было румяно отъ зноя и ходьбы. Юноша спросилъ дѣда, какъ ему пройти домой въ селцо Абишино и попросилъ дать ему чегонибудь испить. Груня принесла ему изъ погреба чашку медоваго квасу, въ которомъ плавали мертвыя пчелы. Баринъ, косясь на бронзовое отъ загара личико Груни, жадно припалъ свѣжими губами къ холодному и душистому напитку. Груня разглядывала его съ любопытствомъ; раньше она видѣла только мужиковъ, и молодой баринъ показался ей какимъ-то сказочнымъ принцемъ, о которыхъ дѣдъ порою рассказывалъ ей въ длин-

ные зимніе вечера. Абишинъ напился квасу и, обсасывая крошечные усики своими румянными губами, сказалъ дѣвушкѣ:

— А вѣдь ты, Груня, въ полномъ смыслѣ красавица.

И откланявшись старому дѣду, онъ отправился въ путь, сверкая на солнцѣ стволами своей двухстволки.

Груня слѣдила съ крыльца, какъ мелькала между деревьями его тонкая фигура. На поворотѣ онъ обернулся и, увидѣвъ дѣвушку, весело крикнулъ:

— А я у васъ на дняхъ опять побываю!

И онъ исчезъ, словно растаявъ, въ ясной лѣсной просѣкѣ.

Груня присѣла на заваленкѣ съ иглою и, отрывая отъ работы свое загорѣлое личико; она то и дѣло задумчиво оглядывалась на просѣку, гдѣ исчезъ Абишинъ.

Между тѣмъ, Абишинъ сталъ бывать на пчельникѣ чуть не черезъ день. Сначала онъ очень боялся пчелъ, а потомъ сталъ привыкать и къ нимъ. Ему даже нравилось ихъ моногонное гудѣніе и порою ему казалось, что это гудятъ не пчелы, а желтые и лиловые цвѣты, въ изобиліи росшіе на лѣсной луговинѣ. По цѣлымъ часамъ онъ просиживалъ на крылечкѣ опрятной хаты, бесѣдуя съ дѣдомъ и Грунею. За пчельникомъ журчалъ ручей, въ кустахъ мелодично свистѣли лѣсные жаворонки, пчелы монотонно гудѣли и вся луговина пчельника, залитая солнцемъ, благоухала, какъ казалось Абишину, всѣми радостями жизни. Онъ глядѣлъ на Груню. Дѣвушка сидѣла на крылечкѣ въ бѣлой грубаго холста рубашкѣ, стянутой на талии красною клѣтчатою юбкою. Ея шея, лицо, руки и ноги казались отъ загара бронзовыми. Темные глаза глядѣли задумчиво. Абишину казалось, что отъ нее пахнетъ лѣсомъ, что цвѣтъ ея лица походить на нѣжную

кожицу молодой лишки, а ея голосъ звучить, какъ пѣніе лѣсного жаворонка. И онъ съ восторгомъ глядѣлъ на дѣвушку. Понемногу Груня перестала его дичиться. Когда онъ уходилъ, ей точно чего-то недоставало, она бывала разсѣянною и часто спрашивала дѣда, уронивъ свое шитье на колѣни:

— Что-то тянетъ меня куда-то, дѣдушка; такъ бы я и пошла, а куда, сама не знаю.

Дѣдъ подсаживался къ ней на заваленку и задумчиво оглядывалъ ее всю. Старикъ понималъ, что творится съ внучкою, но онъ не предостерегалъ ее ни однимъ звукомъ. Казалось, онъ не хотѣлъ мѣшать жизни. Должно быть, дѣдъ чтилъ жизнь выше человѣческаго разума и держалъ по отношенію къ ней полнѣйшій нейтралитетъ.

— Всего будетъ много, внучка,—говаривалъ онъ:—и хорошаго и дурного. И все человѣку въ пользу. Поживешь, увидишь.

И старчески взыхая, онъ уходилъ къ своимъ ульямъ.

Какъ-то Абишинъ пришелъ на пчельникъ, когда дѣда Лазаря не было дома; дѣдъ ушелъ въ Сусловку продавать грабли.

Груня обрадовалась барину, такъ какъ передъ этимъ Абишина не было на пчельникѣ нѣсколько дней. Цѣлый часъ они разговаривали на крылечкѣ подъ монотонное гудѣніе пчелъ. Внезапно Абишинъ обнялъ тонкій станъ дѣвушки и привлекъ ее къ себѣ; когда его губы коснулись ея, дѣвушка замерла. Ей казалось, что жизнь уходитъ изъ нее и сейчасъ она должна умереть.

Разставаясь съ нею, Абишинъ сказалъ:

— Приходи завтра въ полдень къ оврагу. Придешь?

Дѣвушка отвѣчала:

— Приду.

все нужно. И за все надо сказать спасибо. Такъ-то, вну-
ченъка.

Цѣлую осень и зиму Груня словно недомогала.

Прошли еще зима, весна и осень. Пчельникъ стоялъ по прежнему. Все также весною гудѣли пчелы, осенью гнили листья, а зимою на лѣсныхъ полянахъ играли, какъ призраки, снѣжные вихри.

И каждое воскресенье въ размытыхъ берегахъ лѣсного оврага протяжно гудѣлъ церковный благовѣстъ. Груня вышла замужъ и старый дѣдъ остался одинъ на старомъ пчельникѣ. Черезъ годъ Груня приходила въ гости къ дѣду съ груднымъ младенцомъ на рукахъ, а черезъ три—она приходила уже съ двумя, изъ которыхъ одного она водила за руку, а другого носила у груди. Она значительно пополнѣла и возмужала; мечтательная грусть исчезла изъ ея глазъ и ее замѣнило хозяйственное и озабоченное выраженіе. Запахъ лѣса тоже ушелъ отъ нее; отъ Груни стало пахнуть избою и бабьею страпнею.

Однажды старому дѣду не спалось. Онъ лежалъ на печкѣ, возился и покрывалъ. Порою онъ закрывалъ глаза и видѣлъ опаленныя солнцемъ туркестанскія степи, сына съ разбитою грудью и внучку Груню. За окномъ стояла ночь и посвистывала метель. Крошечныя окна хаты были залѣплены снѣгомъ. Внезапно дѣду послышался за окнами гортанный говоръ. Онъ прислушался. Сквозь свистъ метели дѣдъ ясно услышалъ неопредѣленный шумъ и гортанную рѣчь. «Татары улы воруютъ», подумалъ дѣдъ и обулъ валенки. Торопливо въ одной холщевой рубахѣ онъ вышелъ на крыльцо. На дворѣ свистѣлъ вѣтеръ и курились вихри. Конскій черепъ

торчалъ на своемъ шестѣ съ залѣпленными снѣгомъ внадинами глазъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ крыльца стояли три подводы, а трое татаръ въ низкихъ и мохнатыхъ шапкахъ, запущенныхъ инеемъ, накладывали въ свои сани пеньки дѣда Лазаря. Ихъ косоглазья лица были румяны отъ холода. Дѣдъ подбѣжалъ къ нимъ. И тутъ между нимъ и татарами началось состязаніе. Татары накладывали пеньки въ сани, а дѣдъ выкидывали ихъ обратно на снѣгъ, пытаясь работать за троихъ. Его сѣдая борода развѣвалась по вѣтру, а татары громко гоготали, издѣваясь надъ старикомъ. Однако, дѣдъ работалъ усѣбно, татарскія сани наполнялись мѣшкотно, и татары, очевидно, обозлились. Одинъ изъ нихъ, съ разсѣченною верхнею губою, подскочилъ къ дѣду, сшибъ его съ ногъ и придавилъ на снѣгу всею своею тяжестью. Въ тоже время двое другихъ накладывали въ свои сани пеньки дѣда. Когда пеньки были уложены въ достаточномъ количествѣ, татары бросили въ свои сани и дѣда Лазаря. Очевидно, они намѣривались подшутить надъ старикомъ. Одинъ изъ татаръ сѣлъ на дѣда верхомъ и съ громкимъ смѣхомъ, настегивая запорошенныхъ снѣгомъ лошадей, они понеслись курившеюся просѣкою вонъ изъ лѣса. Въ опушкѣ, придерживавъ на минуту лошадей, они выбросили изъ саней дѣда, раскачавъ его за руки и за ноги. И затѣмъ, громко гогоча, они исчезли въ сизой мглѣ дымившагося поля вмѣстѣ со своею добычею.

Дѣдъ всталъ на старыя ноги и бѣгомъ поубѣжалъ къ себѣ на пчельникъ. Бѣжалъ онъ версты три-четыре въ бѣлой холщевой рубахѣ и съ бородою чуть не до пояса, то замедляя, то ускоряя бѣгъ и пытаясь согрѣться движеніями. Вѣтеръ рвалъ его сѣдую бороду, насквозь про-

низываль старое тѣло и высвистываль между голыми деревьями что-то разухабистое и дикое.

Еле волоча ноги, дѣдъ вернулся, наконецъ, къ себѣ на опустошенный татарами пчельникъ. Конскій черепъ поглядѣль на него съ своего шеста, скаля зубы.

Дѣдъ легъ на печку, съ головою укрылся полупшубкомъ и впалъ въ забытѣе.

Когда Груня пришла къ дѣду въ гости, онъ лежалъ на печкѣ съ горящими глазами и сбросивъ съ себя полупшубокъ. Дыханіе со свистомъ вырывалось изъ его груди. Его, очевидно, томила жажда и, обращая къ внучкѣ лихорадочные глаза, онъ прошепталъ:

— Ваше благородіе, дозвольте водицы... хоть полъ манерочки... ваше...

И онъ сталъ сосать губами.

Груня всплеснула руками, горько по бабѣ заплакала, моргая всѣмъ лицомъ, и дала дѣду пить. Затѣмъ она усадила старшаго сынишку на лавку, меньшаго дала ему на руки и подѣла къ дѣду на печку.

Черезъ день дѣда исповѣдывали и причащали. Послѣ причастія старикъ пришелъ въ себя и все глядѣль на внучку ясными и спокойными глазами. Порою онъ какъ будто-бы уже видѣль передъ собою иной міръ и забывалъ о присутствующихъ. А Груня сидѣла рядомъ съ дѣдомъ и спрашивала его съ хозяйственнымъ выраженіемъ на всемъ лицѣ:

— Денегъ у тебя, дѣдушка, не припрятано ли гдѣ? Намъ вѣдь деньги-то остаются послѣ тебя.

Старикъ повертывалъ къ внучкѣ ясное лицо. Онъ ни-сколько не сердился на нее за эти разспросы; онъ зналъ, что умирающій все оставляетъ послѣ себя живымъ и что

таковъ законъ жизни. И ласково оглядывая внучку спокойными глазами, онъ отвѣчалъ:

— Въ долгахъ у меня деньги-то, при себѣ нѣтъ. Въ Су-словкѣ, въ долгахъ. За Никодимомъ пятишница, за Самсоной три. Попомни, не забудь, внучка.

Груня озабоченно напрягала свою память, стараясь запомнить все, и сообщала дѣду:

— Лошадь мы съ мужемъ новую надумали купить. Наша-то стара стала. Такъ вотъ деньги-то нужны намъ будутъ, дѣдынька.

— Купите, купите, — шепталъ дѣдъ: — А я будя; пожилъ свое. Всего было много, и хорошаго и дурного.

И онъ снова точно уносился изъ этого міра въ иной. Передъ смертью дѣдъ поманилъ къ себѣ Груню высохшей рукою и прошепталъ ей на ухо угасавшимъ голосомъ:

— Попомни... За Алексахинымъ... за Семеномъ... рушь... медомъ забрано... пригодится вамъ...

Груня старалась запомнить и рубль, между тѣмъ какъ слезы градомъ сыпались изъ ея глазъ на щеки, на подбородокъ, на губы.

Дѣда похоронили въ бѣлой холщевой рубахѣ и новыхъ лаптяхъ, еще пахнувшихъ липою. Въ могилу онъ ушелъ съ запахомъ родного лѣса.

Грустно теперь на раззоренномъ пчельникѣ!

БЫЛО НА РАЗУМѢ.

СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.

Лѣсной сторожъ Афанасій Туероговъ лежитъ на печкѣ своей лѣсной хаты и думаетъ. Завтра Рождество, а въ его кошелекъ ни алтына; онъ даже ничего не закупилъ къ празднику. Очень ужъ у него подлый характеръ! Третьяго дня былъ на базарѣ съ пятью рублями; кажется, съ такими деньгами можно было бы обернуться, анъ нѣтъ! Три рубля онъ проигралъ въ орлянку, рубль пропилъ, а на рубль — много ли на рубль купишь по нынѣшнимъ временамъ! Вотъ и придется проводить праздники въ сухоматку!

— А все Федулка, все онъ! — думаетъ, почесываясь, Туероговъ. Это Федулка обставилъ его на три рубля въ орлянку. Федулка — жуликъ, съ нимъ лучше не играть, и Туерогову слѣдовало отстать послѣ перваго же проиграннаго имъ рубля. А онъ не отсталъ. Да и какъ ему было отстать, когда онъ только что нахвасталъ Федулкѣ, что у него на крестѣ зашиты двѣ сотенныхъ. А не хватать Туероговъ не можетъ; какъ увидитъ человѣка, такъ и понесетъ ему чего не было. Вотъ и нахвасталъ

на свою шею. Завтра всѣ добрые люди разговляться будутъ, а у него одинъ ржаной хлѣбъ. Спасибо, что хлѣбъ-то мягкій!

Туеровъ лежитъ на печкѣ, почесывается, вздыхаетъ и начинаетъ соображать, нѣтъ ли у него чегонибудь такого, что можно было бы заложить.

Въ хатѣ тихо; подъ печкою монотонно скрипитъ сверчокъ; скупой свѣтъ керосиновой копѣлки тускло озаряетъ почернѣлыя стѣны лѣсной хаты и мпгаетъ на фольгѣ дешевыхъ образовъ. Въ окна глядитъ мутная ночь, доносится шумъ лѣса и скучное пѣніе вѣтра. И вдругъ среди этого монотоннаго пѣнія слышно, какъ чьи-то пальцы барабанитъ по стеклу окна. Раздается тонкій голосокъ:

— Впустите, Христа ради, переночевать... Изябъ...

Туеровъ поднимается съ печки, нѣкоторое время подозрительно глядитъ въ окошко и идетъ въ сѣни отворить иззябшему дверь.

Вмѣстѣ съ лѣсникомъ въ хату входитъ маленькій мужиченко, запорошенный снѣгомъ. За его кушакомъ топоръ. Мужичекъ долго крестится на образа, побрякиваетъ, дуется на крошечные кулачки, а спустя нѣкоторое время сидитъ у стола на лавкѣ и мирно бесѣдуетъ съ Туеровымъ.

— Зовусь я Павля, а прозываюсь Чимбукъ, — говоритъ онъ: — Ты деревню Малыя Дыбки знаешь? тамошній я. Работалъ я у купца Стынина, дрова артелью кололи, для завода, а теперь я домой пробираюсь, къ праздникамъ. Бѣжалъ, бѣжалъ, иззябъ; глядь — твоя караулка. Вотъ спасибо, отецъ родной!

Мужичекъ крутитъ головою и на минуту умолкаетъ. По его тщедушной фигуркѣ, по испуганнымъ глазамъ и

взъерошенной бородкѣ можно смѣло заключить, что съ нимъ только что произошелъ какой-то непріятный казусъ и, очевидно, что такіе казусы случаются съ нимъ не рѣдко.

— А какой со мной грѣхъ произошелъ, — наконецъ не выдерживаетъ мужичекъ: — заработалъ я у Стынина не много, не мало, 15 рублей; сегодня въ обѣдъ ихъ бы получать, а въ завтракъ — шашть старшина; всѣ денежки отобралъ, отецъ родной, за недоимку. Ахъ, песъ тебя забодай, — добавляетъ мужичекъ, ударяя себя по поламъ полущубка.

И онъ начинаетъ жаловаться Туерогову. Говорить онъ долго, причмокивая губами, вздыхая, со слезкою въ голосѣ. Вотъ въ такихъ-то дѣлахъ прошла вся его жизнь. То лошади околѣютъ, то за работу не додадутъ, а разъ самъ онъ обронилъ деньги. И работаетъ онъ всегда дешевле людей. Люди по пяти рублей десятину жнутъ, а онъ за три. Люди по полтиннику за пудъ рожь продаютъ, а онъ по сорока. Такая ужъ у него непріятная точка; и онъ на этой точкѣ, какъ тараканъ на булавкѣ: кругомъ вертится, а съ мѣста не сойдетъ.

— Ахъ, песъ тебя забодай! — вздыхаетъ Павля.

Туероговъ глядитъ на него внимательно, съ соболизнованіемъ на лицѣ; ему хочется сказать, что вся человеческая жизнь полна непріятностей и что онъ самъ на себѣ испыталъ немало бѣдъ. Онъ даже пытается построить въ этомъ духѣ фразу, но съ первыхъ же словъ лицо его внезапно освѣщается какъ бы вдохновеніемъ, въ глазахъ загорается огонекъ и онъ начинаетъ врать.

— Нѣтъ, я живу не такъ, — говоритъ онъ: — за свою жизнь мнѣ нечего Бога гнѣвить. Должность у меня надо бы лучше да нельзя!

— Ты знаешь, кто я? — внезапно спрашивает онъ Павлю: — Я лѣсной контролеръ Афанасій Туероговъ, — продолжаетъ онъ: — а допрежъ этого я въ акцизномъ вѣдомствѣ служилъ и былъ гальдероннымъ смотрителемъ. Бывало, чиновники сойдутся, а я шубы на вѣшалку и блаженствую. А ходилъ я тогда брюки на выпускъ и въ калошахъ, на манеръ господъ. Калоши, нужно тебѣ сказать, я и лѣто и зиму съ ногъ не скидалъ, потому изорвутся, мнѣ и не жалко; два съ полтиной выброшу, глазомъ не моргну. И знакомство у меня было, нѣтъ того чище: губернаторскій лакей и архіерейскій кучеръ. Сойдусь въ праздникъ въ трактиръ съ лакеемъ губернаторскимъ и сейчасъ же къ нему съ вопросомъ: «А что твой баринъ сегодня на обѣдъ кушалъ»? — Свиной отбивной котлетъ, — скажетъ. — «А еще что»? — «А еще сильвушей съ грифелями». — «Сколько порціевъ съѣлъ»? — «Столько-то». И я сейчасъ же ладошками вотъ эдакъ вотъ хлопну и вдвое больше, чѣмъ губернаторъ съѣлъ, на каждое рыло закажу. Наѣдимся не хуже губернатора, просто какъ свиньи!

Туероговъ глядитъ на Павлю съ величественнымъ жестомъ китайскаго императора изъ сумасшедшаго дома. Все его лицо до послѣдней морщинки освѣщено величіемъ и дышетъ благоговѣніемъ къ своему дивному прошлому. Подъ печкою уныло скрипитъ сверчокъ, въ окна глядитъ мутная ночь и отъ cadaго угла лѣсной хаты вѣетъ безысходной нуждою, но Туерогову нѣтъ до этого дѣла. Онъ гальдеронный смотритель! И онъ вретъ и вретъ. Даже не зоркій наблюдатель могъ бы подмѣтить въ этомъ враньѣ ту же горькую нужду, которая избороздила лицо Павли морщинами и отъ которой Туероговъ убѣждалъ въ фантастическія грезы о сильвушеляхъ съ грифелями,

какъ пьяница убѣгаетъ въ кабакъ. Но Павля этого не замѣчаетъ. Онъ восторженно глядитъ на Туерогова и съ благодушною улыбкою безкорыстно радуется чужому счастью.

Между тѣмъ, заговоривъ о ѣдѣ, Туероговъ ощущаетъ голодь.

— А не хочешь ли ты поѣсть? — спрашиваетъ онъ Павлю: — разносоловъ въ этой трущобѣ не достанешь, но хлѣбъ у меня есть, и воды сколько хочешь.

И они ужинаютъ тутъ же, за столомъ. Они ѣдятъ ржаной хлѣбъ, заливаютъ его водою, которую они черпываютъ изъ пузатой чашки деревянными ложками. За ужиномъ Туероговъ вретъ, а все лицо Павли восторженно радуется и вкусной ѣдѣ и счастью ближняго. Послѣ ужина они укладываются спать; Туероговъ на печкѣ, Павля — на лавкѣ. Керосиновая коптилка тухнетъ и въ избѣ дѣлается темно. Съ печки Туероговъ сначала интересуется, почему его гости прозываютъ Чимбукомъ.

— А ты ничего не примѣчаешь? — отзывается тотъ съ лавки: — когда я говорю, будто маненько присапливаю. Вотъ и вѣходитъ Чимбукъ.

Эта нелѣпость, въ силу которой присапливающий чело-вѣкъ долженъ называться Чимбукомъ, нисколько не поражаетъ ни того, ни другого, и черезъ минуту Туероговъ вновь продолжаетъ свои фантастическія воспоминанія.

— Есть у меня пріятель, — говоритъ онъ: — кулъеръ въ казенной палатѣ. Изъ себя скабрёзный такой: на каждой щекѣ бакенбардъ и усъ щетиной. Бывало, придетъ на службу и гся казенная палата передъ нимъ дыбомъ встаетъ, а онъ молча имъ поклонъ, законъ какой надо высказать и опять въ трактиръ. Насосется тамъ винница и городомъ нагишкой хлещетъ. Кому что, а ему

ничего. Губернаторъ только руками разводить. Ничего, говорить, съ нимъ не могу подѣлать! Ежели, говорить, его въ участокъ брать, такъ надо всё знамена поднимать, потому что у него такой орденъ есть. Ну, и молчать! Такъ этотъ вотъ пріятель самый пишетъ мнѣ нонича: «Пріѣзжай, сдѣлай милость, на праздники; покуражимся съ тобой, съ цыганками поамуримся, свиныхъ отбивныхъ поѣдимъ. А компанія у насъ будетъ первый сортъ: я, ты, да присяжный завсегдатай Дуботесовъ». Думалъ я, думалъ, отчего не съѣздить? Деньги есть, на крестъ вотъ сейчасъ пять сотенныхъ зашты. Пораскинулъ мозгами — нѣтъ, жалко мѣнять! Эдакое, братецъ ты мой, бываетъ пристрастіе къ деньгамъ!

Павля лежитъ на лавкѣ, слушаетъ и покрываетъ. И передъ его глазами проходить вся его жизнь, голодная и холодная, съ каторжною работою, вымотавшею изъ него всё силы. И такъ будетъ всегда, всю жизнь, до самой смертушки. Завтра, какъ нынче, какъ вчера... Онъ придетъ домой и, едва обогрѣвшись, уйдетъ вновь приискивать себѣ какой нибудь работы, хоть самой тяжелой, самой каторжной, лишь бы только заткнуть вѣчно раскрытые рты его голодной семьи. Павля глядитъ въ потолокъ широко раскрытыми глазами и въ его сердцѣ чинаетъ просыпаться зависть.

— Вѣдь, вотъ, живутъ же люди, — думаетъ онъ о лѣсникѣ.

— И чего я только не ѣлъ, разглагольствуетъ на печкѣ, Туероговъ: — антрекотъ ѣлъ, бистрогонъ ѣлъ, пирожное воздушный бульдогъ ѣлъ...

Долго говорить Туероговъ, долго завистливо покрываетъ на лавкѣ Павля. И если бы Туероговъ увидѣлъ сейчасъ лицо своего гостя, онъ пересталъ бы молотъ

взоръ. Прежняго благодушія на лицѣ Павли нѣтъ и слѣда. Оно все перекошено дикою и жестокою завистью.

— Обожрался, чортъ!—съ ненавистью думаетъ онъ о лѣсникѣ, но въ хатѣ темно, лѣсникъ не видитъ лица своего гостя и все говоритъ и говоритъ.

— О, чортъ!—вздыхаетъ Павля и припоминаетъ крестъ съ пятью стами рублей.

Наконецъ, лѣсникъ засыпаетъ.

И вотъ, онъ видитъ сквозь сонъ, что его гость спокойно ходитъ изъ угла въ уголъ по избѣ, для чего-то пробуетъ крюкъ у двери, зачѣмъ-то нагибается подъ лавку. Но, впрочемъ, нѣтъ, это не Павля. На его лицѣ нѣтъ и слѣда благодушія; оно все искажено выраженіемъ дикихъ и злобныхъ чувствъ, льющихъ изъ его глазъ и наполняющихъ жуткимъ трепетомъ сонное тѣло лѣсника. Это какой-то призракъ. Въ избѣ тихо и мутно, а эти странныя тѣлодвиженія призрачнаго мужиченки дѣлаютъ воздухъ хаты жуткимъ до головокруженія...

Лѣсникъ вздрагиваетъ всѣмъ тѣломъ, открываетъ глаза и въ ужасѣ пятится спиною въ уголъ печки. Павля стоитъ у печки съ топоромъ въ рукѣ и тянется къ его горлу маленькою, костистою ручкою.

Съ минуту они глядятъ другъ на друга безумными глазами. Лѣснику хочется кричать:

«Что ты? опомнись! За что ты меня? За то, что я укрылъ тебя отъ холодной ночи въ теплой избѣ? За то, что я накормилъ тебя, голоднаго, моимъ хлѣбомъ-солью? Что ты? или на тебѣ нѣтъ креста?»

Но лѣсникъ не говоритъ этого. Слова не выходятъ изъ его раскрытаго рта и застрѣваютъ въ горлѣ.

Но должно быть Павля и самъ угадываетъ ихъ страшный смыслъ. Съ нимъ происходитъ нѣчто необычайное.

Внезапно онъ отскакиваетъ отъ лѣсника, какъ отъ чудовища, быстро засовываетъ свой топоръ за кушакъ и, нахлобучивъ до самыхъ глазъ шапку, бомбою выскакиваетъ изъ избы.

Черезъ минуту его тонкіе пальцы снова звонко барабаниятъ по стеклу окна и Туероговъ, словно сквозь сонъ, слышитъ:

— Что ты со мною сдѣлалъ! Голодному человѣку и вдругъ эдакія рѣчи? Эхъ, подлецъ, подлецъ, бить тебя некому! Если ужъ обожрался, молчалъ бы ужъ лучше!

Туероговъ долго сидитъ на печкѣ безъ смысла и движенія. И вдругъ ему дѣлается жалко Павлю. Куда онъ пойдетъ ночью въ эдакій морозъ?

Туерогова точно что осѣняетъ. Безъ шапки и распояской онъ выскакиваетъ на крыльцо. Отъ нервнаго ли потрясенія или отъ чего другого, но ему хочется плакать. Вѣтеръ шумитъ въ его ушахъ и развѣваетъ рубахою. Онъ глядитъ въ ночную муть и громко кричитъ:

— Гей, гей! Павля! Павля Чимбукъ! Слушай, вернись! Нѣтъ у меня на крестѣ ни сина пороха! Матушка Владычица, одинъ оржаной хлѣбъ!... Милый, самъ я не лучше тебя, разрази Богъ...

И онъ долго кричитъ на крыльцѣ въ развѣвающейся рубахѣ. Но Павли нѣтъ, онъ исчезъ среди мутной ночи, словно утонулъ...

СМЕРТЬ.

Вотъ уже цѣлая недѣля, какъ я хожу самъ не свой. Это произошло со мною совершенно неожиданно, застигло врасплохъ, какъ буря на морѣ, какъ смерть въ пустынѣ, какъ поѣздъ, сошедшій съ рельсовъ. И я показался самому себѣ до нельзя слабымъ, жалкимъ и безпомощнымъ. Вѣроятно, такимъ чувствуетъ себя ребенокъ, потерявшій мать на шумной и людной площади, гдѣ тысячи щегольскихъ экипажей грозятъ ему смертью. Это ощущеніе безпомощности охватило меня всего, съ ногъ до головы, и ни за что не хотеть выпустить изъ своихъ рукъ.

Однако, я еще попробую бороться съ нимъ. Сейчасъ же принимаюсь за работу—ѣду въ поля, въ луга, въ лѣсъ.

Еще цѣлая недѣля мученій. Я худѣю и блѣднѣю; это уже замѣчаютъ всѣ. Я самъ рою себѣ преждевременную могилу. Боже, кто вынетъ изъ моей головы мысль, которая сверлитъ мой мозгъ, какъ прожорливый червь?

Я боюсь умереть—вотъ источникъ моихъ страданій.

Двѣ недѣли тому назадъ къ одному больному сосѣду прѣхалъ изъ Москвы врачъ-знаменитость. Я восполь-

зовался случаемъ пригласить знаменитость къ себѣ, такъ какъ чувствую по временамъ сердебіеніе. Знаменитость осмотрѣла меня со всѣхъ сторонъ и объявила, что у меня порокъ сердца. Такъ-таки прямо въ глаза мнѣ и заявила:

— Можете прожить лѣтъ сорокъ, но можете умереть и черезъ годъ. А то, пожалуй, и черезъ мѣсяцъ; и это случается.

Знаменитость многозначительно пососала конецъ лѣваго уса и положила въ карманъ своего жилета 25 рублей за пріятный сюрпризъ.

Я увѣренъ, что если я умру черезъ мѣсяцъ и знаменитость узнаетъ объ этомъ, она будетъ очень довольна своею проницательностью. Я зналъ доктора, который предсказалъ моему другу смерть день въ день, минуту въ минуту. И когда послѣ ему напоминали объ этомъ, его лицо расплывалось въ самодовольнѣйшую улыбку.

Спросите его, чему онъ радовался?..

Я слышу по корридору стукъ шаговъ. Это идетъ моя жена. Приходится прятать дневникъ и корчить улыбающееся лицо.

Впрочемъ, почему я такъ боюсь смерти? Вѣдь мнѣ всего 35 лѣтъ, я силенъ, полонъ энергіи, и неужели судьба будетъ такъ безжалостна?

Знаменитость, можетъ быть, просто на просто сболтнула для краснаго слова, а я плохо сплю по ночамъ, порою внезапно просыпаюсь съ холодными ногами, чувствую головокруженіе и тошноту, а днемъ брожу, какъ потерянный, съ одною и тою же мыслью въ головѣ. Я прислушиваюсь къ біенію своего сердца и отъ напряженія мои уши наполняетъ шумъ; мнѣ кажется, что въ саду играетъ буря. Я боюсь, что со мною будетъ обморокъ и

хочу позвать жену. Я уже ставлю свои холодные ноги на полъ, но въ ту же минуту мнѣ дѣлается до боли стыдно за свою трусость, за свою мнительность, за свое животнолюбіе. И я снова съ жалкою улыбкою кутаюсь въ одѣяло.

Знаменитость сказала, что я могу умереть черезъ мѣсяцъ. Съ того момента, какъ она изрекла это, прошло уже 17 дней.

Боже мой, неужели мнѣ остается жить только 13 сутокъ?

13 сутокъ, 13 сутокъ, 13 сутокъ!

Кромѣ этого, я ни о чемъ не могу думать. Это суть всего сущаго.

Если бы мои посѣвы побито градомъ, усадьбу спалило молніей, а моя жена убѣжала бы отъ меня съ первымъ встрѣчнымъ, — право, въ настоящую минуту это не особенно поразило бы меня.

13 сутокъ — вотъ центръ, къ которому прилѣпилось все мое существованіе.

Я гадокъ самому себѣ.

Сегодня послѣ небольшого дождика, шумнаго и веселаго, вся окрестность внезапно просвѣтлѣла, точно хорошій человѣкъ улыбнулся; между небомъ и землею разлилось что-то прекрасное, необычайно нѣжное, ласкающее слухъ, вкусъ и обоняніе. Я на минуту повеселѣлъ. Но когда я шелъ дворомъ мимо кухни, я услышалъ голосъ жены. Она говорила:

— 12 сутокъ.

Что такое 12 сутокъ? Почему 12 сутокъ? Неужели и жена вѣрить словамъ знаменитости? Я ринулся въ кухню блѣдный, какъ полотно, и опять почувствовалъ проклятое

головокруженіе. Кажется, у меня тряслись колѣни. Жена изумленно раскрыла на меня свои глаза. Кухарка попятилась къ печкѣ.

Оказалась самая обыденная исторія:

12 сутокъ тому назадъ посажены на яйца пидѣйки. А я-то думалъ...

Надо взять себя въ руки!

Ахъ, да! У меня косятъ луга, нужно съездить къ косцамъ, а то я совсѣмъ отсталъ отъ дѣла.

Давно не садился за дневникъ. Необычайное происшествіе отбило было у меня охоту писать.

Необычайное происшествіе! Сейчасъ расскажу все по порядку.

Я поѣхалъ въ луга съ кучеромъ въ шарабанѣ. День былъ веселый и солнечный. Поймы освѣщены такъ, что хоть сейчасъ пейзажъ пиши. Косцы въ праздничныхъ нарядахъ, отъ травы медомъ пахиваетъ, въ кустахъ коростели кричатъ. Я сидѣлъ, смотрѣлъ на небо и землю и думалъ.

Эллины вѣрили въ существованіе гипербореяцевъ, которые могли жить по тысячѣ лѣтъ и болѣе. А когда жизнь надоѣдала имъ, они бросались со скалы въ море. Великолѣпная легенда, счастливая страна! Вотъ это я понимаю. Умереть, когда хочешь. Страшна не смерть, а эта деспотическая власть слѣпого фатума. Страшно жить подъ вѣчнымъ страхомъ, что тебя, вотъ-вотъ, ни за что ни про что, притянутъ на цугундеръ: Ужасно это нелѣпое своеволие судьбы, которая въ каждый моментъ можетъ столкнуть тебя въ какую-то яму и превратить въ пыль. Я думалъ приблизительно такъ, между тѣмъ какъ мой кучеръ

внезапно повернулъ лошадь на лѣво и даже слегка подстегнулъ ее. Я увидѣлъ, что онъ направляетъ ее къ группѣ мужиковъ, толпившихся между двухъ вѣтелокъ. Мое сердце замерло; не знаю почему, я почувствовалъ, что ѣхать туда для меня не безопасно, что то, что я увижу тамъ, можетъ дурно повліять на мое здоровье, но я не имѣлъ силы остановить кучера. Меня поджигало мучительное любопытство. Мужики при нашемъ приближеніи разступились, снимая шапки. Кучеръ остановилъ лошадь. Я уже догадался объ всемъ и поспѣшно вылѣзъ изъ шарабана. На землѣ передо мною лежалъ трупъ косаря. Я сразу узналъ покойника. Еще вчера онъ выглядѣлъ здоровымъ и веселымъ и особенно громко хохоталъ вечеромъ у костра.

Я глядѣлъ на него, пытаясь пронизать его своими глазами. Мнѣ хотѣлось выпытать у него тайну, самую важную изъ всѣхъ когда либо существовавшихъ. Но онъ молчалъ. Онъ лежалъ на землѣ какъ-то особенно плотно и тяжело, точно земля слегка вдавилась подъ нимъ, желая поскорѣе поглотить все это неуклюжее тѣло цѣликомъ, безъ остатка. Его глаза были прикрыты двумя мѣдными монетами, а его губы, посинѣлыя и сухія, были раздвинуты въ нелѣпую улыбку. Сразу было видно, что онъ улыбунился такъ навсегда. Что можетъ быть ужаснѣе жеста, сдѣланнаго разъ на всегда? Я жадно смотрѣлъ на трупъ.

Двѣ зеленныя мухи ползали по его бородѣ, забирались на носъ и слетали на полураскрытыя губы. Казалось, онъ что-то взвѣшивали и соображали. Вѣроятно, онъ желалъ приступить къ завтраку и не знали, откуда имъ лучше начать. Даже трава имѣла на трупъ свои виды; она заглядывала въ его уши, тѣснилась у его боковъ и

перешептывалась, совѣщаясь. Она соображала, сколько можно надѣлать цвѣтовъ изъ знатныхъ мускуловъ трупа. А вѣтеръ, припавъ къ самой землѣ, лизалъ холодные и влажные омертвѣлые волосы покойнаго косаря, какъ голодный пестъ. Вся природа готовилась скушать своего побѣдителя и полубога.

Я понималъ все и глядѣлъ на трупъ блѣдный, какъ плотно, дрожа въ колѣняхъ.

Да, я понималъ все.

Тутъ вражда, непримиримая вражда!

Съ тѣхъ поръ, какъ первобытный человѣкъ вышелъ съ дубиною изъ своей берлоги, онъ покорилъ всѣхъ и все. Онъ прошелъ съ огнемъ и желѣзомъ по дѣйственнымъ лѣсамъ и степямъ. Онъ придавилъ свою могучею пятою всю землю и даже забрался на небо и прикинулъ на вѣсы солнечную систему. Но онъ не побѣдилъ смерти и въ этомъ вся его ошибка. Нужно было начинать съ этого. Или все или ничего! А теперь вся эта побѣжденная имъ армія, многочисленная, оборванная, голодная и обдѣленная жестокимъ побѣдителемъ, ловить его врасплохъ, подкрадывается къ спящему, точить микробами его органы, заражаетъ вредными испареніями и пожираетъ ослабленнаго. У кого нѣтъ силы и ума, тому помогаетъ лукавство.

Человѣчеству слѣдуетъ побѣдить смерть — или отказаться отъ всѣхъ своихъ побѣдъ.

Я продолжалъ глядѣть на трупъ, какъ вдругъ вѣтка сосѣдней вербы ласково прикоснулась къ моей щекѣ. Я вздрогнулъ, какъ отъ пощечины. Неужели «имъ» мало косаря и «они» уже обрекли въ снѣдь и меня? Мнѣ хотѣлось приказать вырвать эту вербу съ корнемъ и испепелить въ порошокъ.

Однако, я воздержался и поспѣшно съѣлъ въ шарабанѣ, холодѣя отъ страха.

Кучеръ однимъ духомъ доставилъ меня домой.

Когда я вылѣзъ изъ шарабана, мой страхъ внезапно смѣнился злобою. У меня задергало губы. Я подошелъ къ кучеру и крикнулъ ему въ самое лицо:

— Я знаю, что ты нарочно подвезъ меня къ мертвому косарю. Ты знаешь, негодяй, что это плохо отзовется на моемъ здоровьѣ!

Я круто повернулся и пошелъ къ крыльцу. На первой же ступенькѣ я упалъ, какъ подкошенный.

Трое сутокъ я лежалъ въ постели. Докторъ бывалъ каждый день. Осмотрить меня, выйдетъ въ другую комнату и пошепчется съ женою. Воображаютъ, что дѣлаютъ это осторожно, а я все вижу и про себя злюсь. Не ѣлъ почти ничего; все возбуждаетъ тошноту, пахнетъ трупомъ. Докторъ со мною необыкновенно ласковъ, лебезить и заискиваетъ, какъ передъ умирающимъ. Я отношусь къ нему безразлично. Языкъ, впрочемъ, показываю ему съ наслажденіемъ.

Продолжаю хирѣть.

Съ того момента, какъ знаменитость изрекла свое предсказаніе, прошло двадцать пять сутокъ.

Четвертые сутки обдумываю одну и ту же мысль. Какую—пока секретъ.

Утромъ произошелъ маленькій пассажъ съ женою. Она пришла въ мою комнату прекрасная и нарядная, въ бѣломъ платьѣ, осыпанномъ алыми бантиками. Она походила на хорошенькій цвѣтокъ, на который упала стая

рѣзвѣющихся мотыльковъ. Но я не любитель цвѣтовъ. Я знаю, что эти съ виду невинныя созданья причастны каннибальству и не брезгаютъ трупнымъ удобреніемъ.

Жена тоже не мало унесла у меня здоровья, хотя бы тѣмъ, что я сильно любилъ ее, а на любовь расходуетъ силы. Природа на каждомъ шагѣ ставитъ намъ ловушки. Очень ужъ ей хочется хоть чѣмъ нибудь одолѣть своего побѣдителя.

Я долго бесѣдовать съ женою и она, въ концѣ концовъ, расплакалась. Мое сердце наполнила злоба. Чего она начинаетъ оплакивать меня вживѣ? Я взялъ жену за руку, тихохонько вывелъ ее изъ комнаты и заперъ двери на ключъ.

Ночью былъ припадокъ.

Жена прибѣжала ко мнѣ блѣдная и дрожащая. Я плакалъ, бился и дрожалъ отъ ужаса. Я боюсь смерти, видъ трупа возбуждаетъ во мнѣ отвращеніе и я не хочу идти на завтракъ зеленымъ мухамъ. Но, рано или поздно, онѣ одолѣютъ полубога и всеобщаго побѣдителя. Все это я говорилъ женѣ, но она поняла только, что мнѣ очень плохо и проплакала со мною всю ночь. Ея слезы не трогали моего сердца, мнѣ снова ужасно хотѣлось взять ее за руку и вывести вонъ изъ комнаты, но я напрягалъ всю волю, чтобы побѣдить это желаніе.

Кстати, мнѣ нужно нѣкоторое упражненіе воли. Это мнѣ пригодится. Для чего—пока секретъ.

Жена такъ и уснула на моей постели, вся въ слезахъ. А я просидѣлъ въ креслѣ, дрожа отъ холода и страха.

Завтра весь день не буду курить. Нужно упражнять волю.

Не курить весь день. Чувствую себя бодримъ. На разсвѣтъ уснулъ на полчаса и видѣлъ во снѣ радугу. Сейчас умылся и зарядилъ револьверъ. Къ чаю выпелъ веселый, но чаю не пилъ.

Послѣдняя ночь.

Страшна не смерть, а ея неизбежность и сознаніе своей безпомощности. Страшно жить съ вѣчнымъ сознаніемъ этой безпомощности. Гипербореицы побѣдили смерть, потому что сами бросались со скалы въ море. Я поступлю, какъ гипербореецъ, и пусть земля поглотитъ мой трупъ. Я говорю ей:

— Я побѣдилъ тебя и подчинилъ своей волѣ. Ты, какъ раба, пресмыкаешься у моихъ ногъ, но я изъ состраданія снизошелъ къ тебѣ и отдаюсь на твою волю. Кушай на здоровье! Знай, что если я раньше боялся смерти, то только потому, что гнушался стать твоей снѣдью. Я не дорожилъ твоей оболочкой, взятой у тебя на прокатъ, и если бы мнѣ доказали безсмертіе, — тамъ, внѣ тебя, — я бы не оставался на тебѣ ни одной минуты! . . .

.

БОЛОТО.

Мы сидѣли на высокомъ холмѣ послѣ охоты на куропатокъ. Мой пріятель Сорокинъ лежалъ на животѣ и курилъ папиросу. Я сидѣлъ, прислонившись спиною къ пеньку, а наша собака, сѣрый съ кофейными пятнами лягашъ «Суаръ», спалъ возлѣ на боку. Порою онъ лѣнливо приподнималъ голову, выворачивалъ свою сѣрую, на красной подкладкѣ губу и косился на насъ, показывая красные бѣлки. Я смотрѣлъ на окрестность.

Прямо подъ нами, въ зеленыхъ лугахъ, взя залитая лучами заходящаго солнца, сверкала серебряная лента узкой рѣченки. Рѣченка точно баловалась и надѣлала въ лугахъ такіе выкрутасы и загогуленки, какихъ не встрѣтишь даже на воротникѣ малороссійской рубахи. Порою она, какъ бы спасаясь отъ погони, бросалась внезапно въ сторону, описывала крутую дугу и вся зарывалась въ кудрявыя поросли лозняка. Затѣмъ она дѣлала хитрую петлю, осторожно кралась, незрима, подъ отвѣснымъ глинистымъ берегомъ и вдругъ, снова выбѣгала въ луга, прямая, какъ солнечный лучъ, вся сверкающая, смѣющаяся и лукавая. Бѣлыя чайки летали надъ рѣчкою и порою падали внизъ на добычу, какъ бѣлые хлопья

снѣга. Налѣво дуга замыкались холмомъ, надъ которымъ сверкалъ золотой крестъ сельской церкви. Направо—весь сѣверо-западный уголъ былъ заслоненъ лѣсомъ темнымъ, угрюмымъ и полнымъ тайны.

— Это—Лосевъ кустъ,—сказалъ мой пріятель, замѣтивъ, что и внимательно разсматриваю темную стѣну лѣса: это болото, занимающее не менѣе шестидесяти десятинъ, заросшее громадною ольхою, непроходимая топь, населенная комарами, способными выпить въ одну ночь всю кровь человѣка. Это непролазные дебри съ мшистыми кочками, съ тяжелымъ запахомъ гніющихъ деревьевъ, съ жирными пятнами на водѣ, съ камышами выше человѣческаго роста, которые рѣжутъ ваши руки, какъ бритва. У насъ это единственное мѣсто, гдѣ еще выводятся дикіе гуси. Но, Боже мой, какъ трудно до нихъ добираться! Ты знаешь мою страсть къ охотѣ, однако, я рѣдко посѣщаю это болото. Я боюсь его: оно кажется мнѣ чудовищемъ неопытнымъ и прозорливымъ, которое пожираетъ все, что попадаетъ въ его пасть. Жрать—это, кажется, единственная функція, на которую оно способно. По крайней мѣрѣ, его камыши удивительно упитаны, головастики, плавающие въ его жирной водѣ, лоснятся отъ сала, а цвѣты, лежащіе на поверхности, мясисты и великолѣпно выкормлены. Кажется, они кушаютъ ночныхъ бабочекъ, потому что я часто находилъ между ихъ желтыми лепестками обмусоленные трупы этихъ беззащитныхъ созданий. Вообще, это болото не придерживается вегетаріанскихъ взглядовъ. Семь лѣтъ тому назадъ оно скушало илпатьевскаго бычка, прелестнаго голландца, котораго Илпатьевъ купилъ на выставкѣ за триста рублей. Бычокъ заплутался и болото заманило его въ свои топи, засосало и скушало. Можетъ быть, къ

животной пищѣ его приучили крестьяне деревни Комаровки. Комаровка лежитъ по ту сторону Лосѣва куста, на юго-западъ отъ него. Это — маленькая деревушка въ тридцать дворовъ. Ея жители занимаются земледѣліемъ и конокрадствомъ, а нѣкогда, при крѣпостномъ правѣ, они занимались формальнымъ разбоємъ. Они грабили проезжихъ краснорядцевъ и топили ихъ трупы въ Лосѣвомъ кусту. Въ этомъ болотѣ, какъ говорятъ, погребено не мало душъ. Не мудрено, что крестьяне боятся его. Они знаютъ его прошлое; кромѣ того, они видятъ оригинальныя формы его растительности, видятъ его своеобразную жизнь и, вѣроятно, считаютъ это болото способнымъ создать свою высшую форму, своего человѣка, — русалку, царицу болотныхъ водъ, этотъ прожорливый цвѣтокъ, питающійся человѣческой кровью. И, знаешь ли, я самъ едва не повѣрилъ этому однажды. Право, я даже не сомнѣвался въ этомъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ. Сейчасъ я расскажу тебѣ, какъ это произошло. Эта ночь будетъ самою памятною въ моею жизни.

«Пять лѣтъ тому назадъ, какъ-то въ іюньскую ночь, я отправился въ Лосѣвъ кустъ съ комаровскимъ парнемъ Никитой, охотникомъ до мозга костей. Онъ сообщилъ мнѣ, что нашелъ барсучьи слѣды. Эти неуклюжія животныя ежедневно на зарѣ сходятъ съ горы, изъ березоваго лѣса къ Лосѣву кусту, и пьютъ болотную воду. Можетъ быть, ихъ привлекаютъ также корни болотныхъ растений, мясистые, сочные и вкусные. Никита, по крайней мѣрѣ, былъ убѣжденъ въ этомъ; и вотъ мы отправились, чтобы просидѣть ночь въ опушкѣ Лосѣва куста на кочкѣ вплоть до зари, когда барсукъ придетъ пить болотную воду и лакомиться корнями. Мы обошли Лосѣвъ кустъ засвѣтло; намъ хотѣлось подойти къ нему съ сѣвера, отъ

горы, съ которой сходить барсукъ, и переночевать на ближайшей къ опушкѣ кочкѣ. На дорогѣ намъ попались двое изъ илпатьевскихъ объѣзчиковъ; они ѣхали на взмысленныхъ лошадяхъ и оживленно о чемъ-то бесѣдовали.

«— Звѣри, а не люди, — замѣтилъ Никита, когда объѣзчики исчезли за поворотомъ: — не позволяютъ въ лѣсу собирать ягоды, загоняли нашихъ дѣвокъ просто бѣда какъ! Не дають заработать на ягодахъ и двугривеннаго!

«Никита съ негодованіемъ посмотрѣлъ вслѣдъ объѣзчикамъ и замолчалъ. Больше мы не встрѣчали на своемъ пути ни души. Мы обошли Лосѣвъ кустъ, прошли болотомъ нѣсколько сажень и сѣли на кочкѣ. Было совершенно темно. Луна еще не вставала. Мы сидѣли на кочкѣ не больше сажени въ поперечникѣ, прислонившись спиною къ стволамъ ольхъ, держали на колѣняхъ наши ружья и курили папиросы, спасаясь дымомъ отъ комаровъ. Отъ болота вѣяло сыростью. Оно лежало, какъ объѣвшееся чудовище, и какъ будто тяжело дышало и сопѣло. Порою намъ казалось даже, что оно что-то жуетъ въ просонкахъ; по крайней мѣрѣ, мы ясно слышали звуки, какъ бы происходившіе отъ чавканья. Камышъ шевелился и дрожалъ. Жирныя пятна плыли на водѣ, блестѣвшей «окнами» тутъ и тамъ между мшистыми кочками и камышами. Порою мы слышали какое-то сытое, торжествующее похрюкиванье и бурчанье воды, какъ бы въ желудкѣ опившейся лошади. Комары лѣзли намъ въ глаза и Никита, понюхавъ воздухъ и узнавъ, что вѣтеръ тянетъ съ горы, рѣшилъ зажечь костеръ, хотя бы самый маленькій, чтобы дымомъ прогнать комаровъ. Барсукъ не услышитъ дыма за вѣтромъ и придетъ въ урочный часъ пить воду. Никита высѣкъ огонь, пріятный

запахъ, горящаго трута защекоталъ мнѣ въздри и вскорѣ маленькій костеръ запылалъ на нашей кочкѣ, прогоняя комаровъ, которыхъ относилъ дымомъ, какъ вѣтромъ. Огонь мигалъ на водѣ, освѣщая черныя трупы гниющихъ деревьевъ, зеленую стѣну ближняго камыша и загорѣлое лицо Никиты. Я смотрѣлъ на него. Это былъ парень лѣтъ 25-ти, бѣлокурый и худощавый. Поверхъ его посконной рубахи, на немъ былъ надѣтъ рваный полупубокъ съ короткою талією, спитый изъ черныхъ и бѣлыхъ, но пожелтѣвшихъ отъ времени, овчинъ. На его ногахъ были обуты поршни изъ мягкой кожи, стянутые, какъ кисеть, немного повыше щиколотокъ. Его холщевые штаны были продраны и огонь костра освѣщалъ обнаженные колѣни, морщинистыя, загрузбѣвшія и лупившіяся. Никита смотрѣлъ на огонь и сидѣлъ, прислонившись къ стволу ольхи, обхвативъ руками ноги пониже колѣнъ. Свѣтъ костра освѣщалъ его губы и кончикъ носа, между тѣмъ какъ верхняя часть его лица была въ тѣни. Онъ былъ такъ оборванъ и грязенъ, что мнѣ его стало жаль отъ души. Я разговорился съ нимъ. Почему онъ не занимается земледѣліемъ, а бродяжничаетъ по лѣсамъ и болотамъ, въ то время какъ охотничій промыселъ мало даетъ заработка въ нашей сторонѣ? Лучше бы ему наняться въ работники. У него двое дѣтей и жена и, вѣроятно, всѣ они ужасно бѣдствуютъ. Не даромъ на него смотрятъ въ деревнѣ, какъ на шатуна и лодыря. Семьянину стыдно ничего не дѣлать. Охотою онъ могъ бы заниматься по праздникамъ для развлечения. Никита долго отмалчивался, но, наконецъ, сказалъ мнѣ, что ему никакъ нельзя не бродить по лѣсу. Это для него совершенно невозможно. Онъ запышетъ съ тоски, если будетъ сидѣть дома. Потихоньку-полегоньку онъ передалъ мнѣ всю свою исторію.

«Онъ кивнулъ подбородкомъ передъ собою. Его губы вздрагивали. Онъ стоялъ спиною къ горѣ, но я понялъ, что онъ говоритъ не о барсукаѣ.

«— Кто идетъ?—спросилъ я, чувствуя приступъ непріятнаго озноба и придвигаясь на колѣняхъ къ ногамъ Никиты.

«Онъ попрежнему смотрѣвъ въ даль. Я замѣтилъ, что ружье въ его рукахъ слегка вздрагивало.

«— Кто идетъ? переспросилъ я шопотомъ.

«— Нечистъ, съ нами крестная сила! Нечистъ болотная. Кто же пойдетъ по болоту въ полночь? Ишь, какъ водой бултыхаетъ!

«Я прислушался. По болоту дѣйствительно кто-то шелъ, бултыхая водою. Плескъ воды приближался; очевидно, идущій направлялся на насъ.

«Мѣсяцъ высоко стоялъ надъ болотомъ, но густыя заросли и туманъ не позволяли намъ хорошо различать предметы; на разстояніи двадцати сажень мы уже ничего не видѣли. Мы только слышали бултыханье воды и ничего больше.

«— Не лось ли?—спросилъ я Никиту.

«— Нѣтъ, покачалъ тотъ головою и вздохнулъ, какъ бы въ изнеможеніи,—не лось; слышишь, двѣ ноги. Лось ноздрами на воду дуешь, фырчитъ, воздухъ нюхаетъ. Это не лось.

«— Развѣ медвѣдь?—прошепталъ я.

«Никита долго молчалъ, пронизывая взоромъ серебряную ткань тумана. Я видѣлъ, какъ вздрагивали его обнаженные колѣни, заглубившія въ скитаньяхъ по болотамъ. Мѣсяцъ спрятался въ тучку, бултыханье на минуту смолкло, а Никита все еще глядѣлъ и слушалъ, вздрагивая всѣмъ тѣломъ.

«— Нѣтъ, не медвѣдь, — наконецъ прошепталъ онъ: — слышь, на кочку лѣзеть, рукою за вѣтку хватаётся.

«Я прислушался, и дѣйствительно услышалъ, какъ гдѣ-то недалеко хрустнула сломанная вѣтка. По моей спинѣ прошло что-то холодное и скользкое, непріятное до отвращенія. И въ эту минуту мы слышали стонъ, жалобный человѣческій стонъ. Послѣ этого все на минуту смолкло. Только слышно было, какъ бурчала вода въ желудкѣ гигантскаго чудовища. Болото продолжало колдовать и производить жизни. Съ его поверхности поднимался паръ, точно оно изнемогало отъ усилій произвести что-то для него невыразимо трудное и почти невозможное. Мнѣ казалось, что упитанный камышъ и жирная вода болота слегка вздрагивали отъ усилій. По всей поверхности стоячихъ водъ какъ будто бѣжали трепетъ мученій и желанія. Даже кочка, на которой мы сидѣли, слегка шевелилась подъ нами. Казалось болото напрягало всѣ свои творческія способности, чтобъ создать свою высшую форму, душу всего въ немъ существующаго. Мы продолжали слушать. Стонъ повторился.

— «Это Василиса! — прошепталъ Никита, трясаясь отъ ужаса: — Пропали мы съ тобой...

«Онъ хотѣлъ еще что-то сказать и не могъ. Я взглянулъ на него; его лицо было искажено до неузнаваемости. Его ноги дрожали, точно онъ пытался привстать на цыпочки. Я хотѣлъ говорить и тоже не могъ. Такъ прошло нѣсколько минутъ.

«Между тѣмъ, мѣсяцъ выглянулъ изъ-за тучи и мы увидѣли саженьяхъ въ пятнадцати отъ насъ женщину. Она лежала животомъ на мшистой кочкѣ и хваталась руками за колючія вѣтки ежевики. Казалось, она пыталась вылѣзть на кочку изъ воды, хотя это стоило ей громадныхъ

усилій. Я видѣлъ ея блѣдное, какъ снѣгъ, лицо, темныя брови и тонкіе пальцы, судорожно хватавшіеся за колючія вѣтки. Она тяжело дышала и изрѣдка испускала стоны. До пояса она была погружена въ воду.

«— Русалка...—еле выговорилъ Никита.

«Мнѣ казалось, что волосы приподнимались на его головѣ, а ружье ходило ходуномъ въ его рукахъ.

«Между тѣмъ, женщина барахталась въ водѣ, пытаясь выльзти на кочку. Я смотрѣлъ на ея усилія. Мой парализованный ужасомъ мозгъ плохо работалъ. Кажется, я думалъ или, вѣрнѣе, не думалъ, а грезилъ странными образами. Образы эти иллюстрировали приблизительно слѣдующее:

«Что, если болото, въ минуты наибольшаго напряженія всѣхъ своихъ творческихъ силъ, способно создать нѣчто высшее, свой вѣнецъ творенія? Можетъ быть, у него недостаточно силъ, чтобы облечь свое излюбленное созданіе въ долговѣчныя формы, и оно появляется только на мгновеніе, какъ призракъ, въ минуты наивысшаго напряженія его энергій, вспыхивая, какъ блуждающій огонекъ и тотчасъ же угасая.

«Я инстинктивно пригнулся къ землѣ, такъ какъ надъ моею головою грохнулъ выстрѣлъ. Это спустилъ курокъ обезумѣвшій отъ ужаса Никита, и болото отвѣтило на выстрѣлъ цѣлымъ залпомъ.

«Вслѣдъ затѣмъ мы услышали дикій, изступленный крикъ. Что-то шлепнулось въ воду съ кочки, забултыхало по болоту и зашуршало камышемъ, поспѣшно уходя отъ насъ.

«Затѣмъ все смолкло.

«Мы остались на кочкѣ одни, въ облакѣ порохового дыма, потерявшіе отъ страха волю и разумъ. Мы сидѣли,

плотно прижавшись другъ къ другу, поджавъ подъ себя ноги и подпрыгивая на колѣняхъ, какъ двѣ отвратительныя жабы.

«Да, я никогда не забуду этой ужасной ночи.

«Такимъ образомъ мы дожидались разсвѣта, коченѣя отъ страха, съ судорогами въ ногахъ, ожидая нападенія неизвѣстныхъ намъ чудовищъ.

«Съ разсвѣтомъ разумъ вернулся къ намъ и, прежде чѣмъ уйти изъ болота, мы осмотрѣли всѣ сосѣднія кочки. На одной изъ нихъ мы нашли слѣды человѣческихъ пальцевъ, втиснутые въ рыхлую почву кочки, и нѣсколько сломанныхъ вѣтокъ ежевики.

«Что еще я могу сказать тебѣ? Я допрашивалъ всѣхъ и каждого, стараясь объяснить себѣ случившееся съ нами приключеніе. Между прочимъ, отъ илпатьевскихъ объѣзчиковъ я узналъ, что какъ-то въ іюнѣ мѣсяцѣ, вечеромъ, они разогнали въ лѣсу, на горѣ, около Лосева куста, цѣлую толпу крестьянскихъ дѣвушекъ, кажется изъ разныхъ селеній. Онѣ собирали клубнику, а когда объѣзчики кинулись на нихъ, пугая лошадыми и ногайками, дѣвушки разбѣжались кто куда. Одна изъ нихъ, какъ говорятъ, забѣжала со страха въ Лосевъ кустъ, свихнула тамъ себѣ ногу и всю ночь до разсвѣта провела въ этомъ болотѣ на кочкѣ, до нельзя перепуганная, промокшая до мозга костей и измученная болью ноги, холодомъ и страхомъ. Стрѣляли ли кто нибудь въ эту дѣвушку, а также въ ночь на какое число произошло все это, объѣзчики не знали».

ОХОТА НА СЛОНА.

Въ дѣтской пусто; дѣти перебрались въ кабинетъ, гдѣ они намѣреваются устроить охоту на слона; кабинетъ отца всегда настраиваетъ ихъ на героическій ладъ. Во всемъ домѣ, кромѣ дѣтей, нѣтъ ни души. Отецъ занятъ по хозяйству въ конторѣ; мать уѣхала въ сосѣднее село за покупками, а няня и горничная, пользуясь отсутствіемъ хозяевъ, улизнули на кухню.

Въ домѣ тихо; на дворѣ осеннія сумерки. Дѣти стоятъ посреди кабинета и ведутъ совѣщаніе по поводу предстоящей охоты. Ихъ четверо. Старшій Митя—ему девять лѣтъ; съ младшими онъ обращается нѣсколько свысока, по начальнически. Второму, Гришѣ—восемь лѣтъ; передъ старшимъ онъ благоговѣетъ и старается подражать ему во всемъ, хотя по характеру онъ полная ему противоположность. Митя—фантазеръ и сангвиникъ, Гриша—скептикъ и флегма. Третьему—Левѣ, шесть лѣтъ. Это попросту озорникъ; сосредоточить на чемъ нибудь свое вниманіе онъ не можетъ и его глаза, быстрые и живые, постоянно перебѣгаютъ съ предмета на предметъ. Начальства онъ не признаетъ, подчиняться не желаетъ и свои предпріятія любить исполнять самостоятельно за свой рискъ и страхъ. Четвертая—дѣвочка—Лидочка, четырех-

лѣтній карапузъ. Ничего своего, скольконибудь опредѣленнаго, у нее нѣтъ; она всѣхъ слушается и на всѣхъ глядитъ съ одинаковымъ благоговѣніемъ. Лёвы, впрочемъ, она нѣсколько сторонится, въ особенности, если въ ея рукахъ какое-нибудь лакомство. Она боится съ его стороны нарушенія права собственности, которой Лева не признаетъ. У него свои законы: что взялъ, то и его.

Совѣщаніе свое дѣти ведутъ вполголоса.

— Вотъ что, господа, — говоритъ Митя: — мы будемъ играть въ охоту на слона. Хорошо?

— Хорошо, — соглашается Гриша съ благоговѣніемъ.

Лидочка киваетъ своею бѣлокурою головкою, а Лёва тоже желаетъ изъявить свое согласіе, но мысли помимо его воли внезапно дѣлаютъ крутой поворотъ и она показываетъ старшему брату языкъ:

— Вотъ вамъ и охота на свонъ, — говоритъ онъ.

Буква «л» ему нѣсколько не удается. При этомъ онъ начинаетъ прыгать на одной ножкѣ по кабинету и кричить во весь голосъ:

— Вотъ вамъ свонъ, вотъ вамъ свонъ!

Пока онъ прыгаетъ, Митя сердито кричитъ ему:

— Лёвка, убирайся отсюда, гадость!

Въ то же время Гриша почтительно смотритъ въ ротъ Митѣ, а Лидочка поглядываетъ на всѣхъ съ одинаковымъ благоговѣніемъ. Между тѣмъ Лёва, удаляясь изъ кабинета по собственному своему желанію и слышно, какъ онъ прыгаетъ по корридору на одной ножкѣ вплоть до дѣтской. И когда въ кабинетѣ снова дѣлается тихо, Митя продолжаетъ:

— Мы будемъ играть въ охоту на слона. Я буду великій путешественникъ, а ты будешь мой другъ, — говоритъ онъ Гришѣ: — такъ?

Гриша почтительно киваетъ головою.

— А я?—спрашиваетъ Лидочка.

— А ты никто не будешь. Ты играть не умѣешь, ты маленькая,—отвѣчаетъ ей Митя.

Лидочка подноситъ свои кулачки къ глазамъ, она готова расплакаться. Гриша, у котораго сердце нѣжнѣе, пробуетъ заступиться за сестру и почтительнѣйше докладываетъ брату, что и Лидочкѣ нужно дать какую нибудь роль, конечно, не столь отвѣтственную, какъ роль великаго путешественника или его друга, но все-таки роль. Общими силами они, наконецъ, подыскиваютъ Лидочкѣ соответствующее амплуа. Она будетъ собакою великаго путешественника. При этомъ извѣстїи личико Лидочки освѣщается неописуемымъ блаженствомъ, точно быть собакою великаго путешественника было ея давнишнимъ затаеннымъ желанїемъ, наконецъ-то осуществившимся. Въ то же время великій путешественникъ, показывая на углы кабинета, говорить:

— Здѣсь будетъ Африка, здѣсь—Азія, а здѣсь...

Однако, географическія познанія великаго путешественника ограничиваются только этими частями свѣта, и какъ онъ ни напрягаетъ свою память, онъ не находитъ въ ней ни одного клочка земли. Лицо его дѣлается сосредоточеннымъ. Онъ даже пробуетъ залѣзть мизинцемъ къ себѣ въ носъ, очевидно, рассчитывая извлечь оттуда третью часть свѣта, но, увы, и тамъ онъ ее не находитъ. И тогда другъ великаго путешественника нерѣшительно подсказываетъ своему покровителю:

— А здѣсь Петровскій уѣздъ развѣ?

— Да, да,—соглашается съ нимъ великій путешественникъ:—здѣсь Африка, здѣсь Азія, а здѣсь Петровскій уѣздъ.

Между тѣмъ, во время этихъ географическихъ изысканий Лидочка ведетъ себя съ нѣкоторымъ безпокойствомъ. Глаза ея полны недоумѣнія и она то и дѣло оглядывается назадъ. Въ виду этого великій путешественникъ обращаетъ на нее свое благосклонное вниманіе и даже кое-что заподозрѣваетъ. Однако, его подозрѣнія не оправдываются; на вопросъ, что съ ней? Лидочка отвѣчаетъ:

— Я табата, а тата нѣту.

И она съ недоумѣніемъ разводитъ ручками. Она хочетъ сказать, что она собака, а между тѣмъ у нее нѣтъ хвоста, и что это обстоятельство она считаетъ весьма для себя оскорбительнымъ. Путешественникъ и его другъ вполне раздѣляютъ ея соображенія и вотъ всѣ трое они устремляются на поиски собачьяго хвоста. Вскорѣ они его находятъ тутъ же, въ кабинетѣ, и изъ шнура портьеры великій путешественникъ пристроиваетъ своей собакѣ великолѣпный хвостъ съ кистью. Собака въ восторгѣ, а великій путешественникъ объявляетъ:

— Ну-съ, идемте въ Африку!

Игра начинается.

Долго они ходятъ по Африкѣ и великій путешественникъ то и дѣло дико вскрикиваетъ:

— Посмотрите, какая туча!

— Вотъ лѣсъ, такъ лѣсъ!

— А солнце-то какое? Грома-а-дное!

И дѣти слышать шелестъ листьевъ и видятъ громадное солнце Африки. Впрочемъ, Гриша въ началѣ игры этого не слышитъ и не видитъ; его губы слегка трогаетъ скептическая усмѣшка, но изъ благоговѣнія къ великому путешественнику онъ притворяется, что слышитъ и видитъ все, что тотъ подсказываетъ ему. Однако, вскорѣ и скептицизмъ Гриши испаряется; онъ входитъ въ игру

всѣми своими чувствами. И тогда дѣти начинаютъ понимать другъ друга уже безъ словъ. Великій путешественникъ не издаетъ болѣе ни одного возгласа. Слова имъ не нужны, они разговариваютъ сіяньемъ глазъ, мимикою, тѣлодвиженіями. Лица ихъ дышатъ счастьемъ и хорошенькое личико собаки сіяетъ лучезарнѣе всѣхъ. Вѣроятно, быть собакою много занятнѣе, чѣмъ человекомъ, хотя бы онъ былъ великій путешественникъ или его другъ. Дѣти понемногу уходятъ въ свои роли съ головою. Впрочемъ, Лидочка на минуту отвлекаетъ ихъ вниманіе и обращается къ великому путешественнику съ вопросомъ. Оказывается, Лидочка желаетъ знать, какого роста путешественникъ, его другъ и собака. Какъ женщина, она интересуется больше внѣшностью героевъ игры. Митя знаетъ, что у Лидочки три мѣры длины: «до неба», «съ домъ» и «съ меня», и онъ сообщаетъ ей, что великій путешественникъ ростомъ «до неба», его другъ «съ домъ», а собака «съ нее». Узнавъ, что собака какъ разъ съ нее ростомъ, Лидочка восторженно хлопаетъ въ ладоши.

Вопросы Лидочки нѣсколько расхолаживаютъ игру, но дѣти быстро настраиваютъ себя на прежній ладъ и снова входятъ въ роли. Только Лидочкѣ приходится раза два указать надлежащее мѣсто, такъ какъ она пробуетъ вмѣшиваться въ разговоръ великаго путешественника съ его другомъ, а между тѣмъ ей, какъ собакѣ, разговаривать не полагается, что ей и ставятъ на видъ. Лидочка выслушиваетъ замѣчаніе покорно и складываетъ на животикъ свои крошечныя руки. Послѣ этого игра уже не нарушается ничѣмъ. Въ кабинетѣ больше нѣтъ дѣтей, тамъ сидитъ великій путешественникъ, ростомъ до неба, его другъ съ домъ и собака, величиною съ четырехлѣтнюю дѣвочку. Между тѣмъ, лица играющихъ внезапно прини-

мають безпокойное выраженіе: они видять слона, который желаетъ перекочевать изъ Африки въ Петровскій уѣздъ. Нужно ловить моментъ, иначе слонъ уйдетъ. И охота начинается. Первымъ бросается на слона великій путешественникъ, за нимъ слѣдуетъ его другъ. Впрочемъ, послѣдній долго не рѣшается вступить со слономъ въ борьбу, и въ то время, какъ его покровитель, отчаянно размахивая по воздуху руками и ногами, борется съ дикимъ животнымъ, онъ стоитъ неподвижно въ почтительномъ отъ слона разстояніи и на его лицѣ крупными буквами написана робость. Однако, въ концѣ концовъ, самоотверженность беретъ верхъ надъ трусостью и онъ бросается на помощь къ своему покровителю; онъ подбѣгаетъ къ слону, быстро повертывается къ нему задомъ и, зажмуривъ отъ страха глаза, лягаетъ его правою ногою съ такою силою, что едва не падаетъ на полъ. Послѣ такого удара слонъ уже навѣрное умеръ, но, тѣмъ не менѣе, другъ великаго путешественника изъ предосторожности быстро удаляется подальше, въ Петровскій уѣздъ, чтобы снова набраться тамъ самоотверженности для вторичнаго натиска. Изъ Петровскаго уѣзда онъ хорошо видитъ, какъ великій путешественникъ съ неуязвимою храбростью громить въ Африкѣ слона руками и ногами и отъ воодушевленія брызжетъ слюною, въ то время, какъ его собака, потерявъ отъ азарта голову, стоитъ на четверенькахъ и отчаянно деретъ зубами свой собственный хвостъ. Такое зрѣлище придаетъ другу великаго путешественника столько мужества, что онъ, забывъ объ опасностяхъ, съ бѣшенствомъ бросается на слона. И охотники начинаютъ возить слона по полу кабинета съ рѣдкою энергіею. Они мотають его изъ одного угла въ другой, изъ Африки въ

Петровский уѣздъ. изъ Петровскаго уѣзда въ Азію и, въ концѣ концовъ они убиваютъ его на смерть. Сравнительно, слонъ достается имъ очень дешево: хвостъ собаки, иску- санный ея же зубами, теряетъ свою первоначальную свѣ- жость.

Послѣ убіенія слона они садятся на полъ съ мокрыми лбами и горящими глазами и отдыхаютъ. Во время отдыха ведется оживленный разговоръ по поводу убитаго слона, и въ этотъ разговоръ вступаетъ даже собака. Слышатся возгласы:

— Какъ я его подсвѣшникомъ!

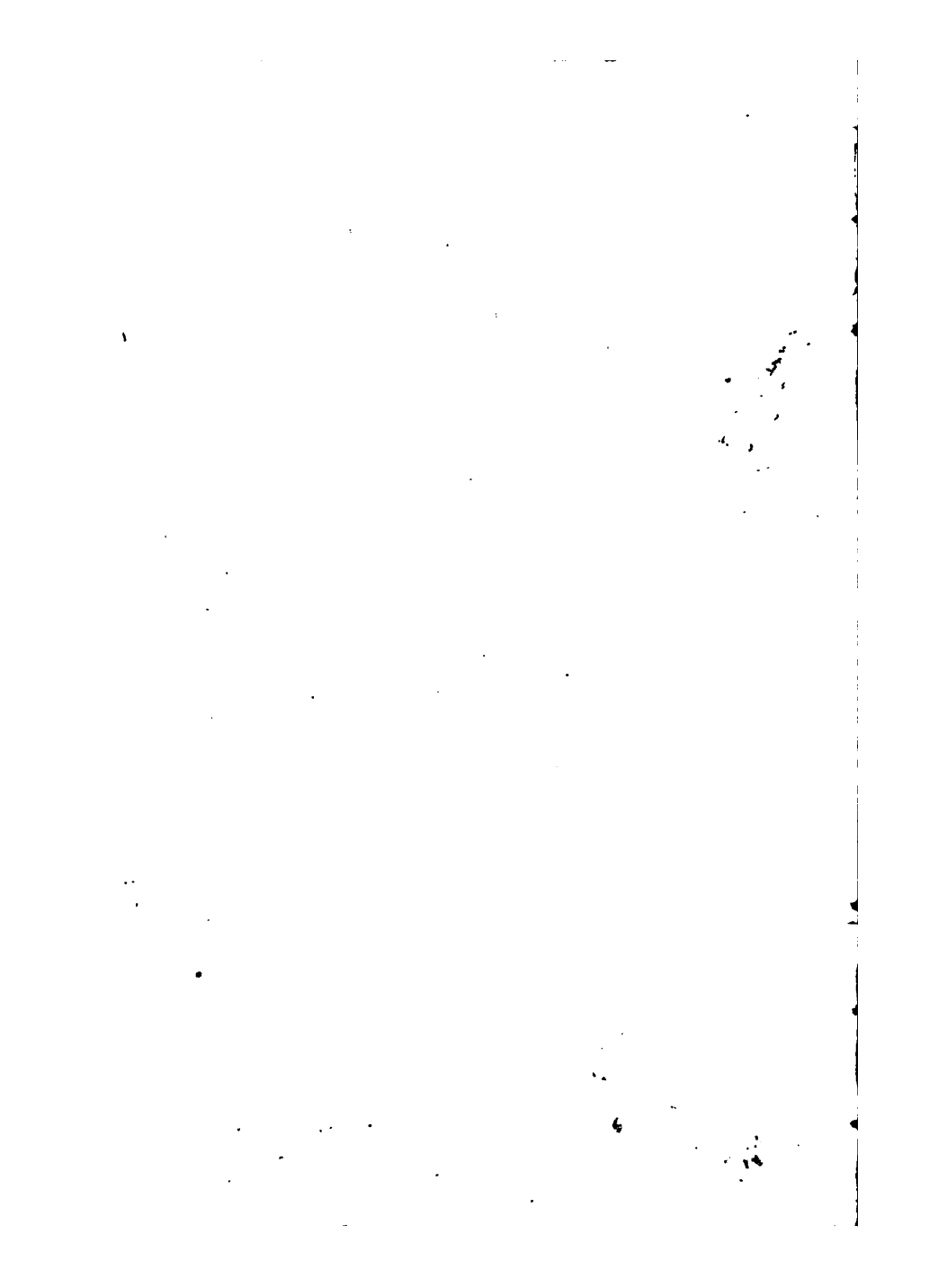
— А онъ меня за руку цапнулъ! какъ больно!

— А я тьяна татомъ!

Послѣдній возгласъ принадлежитъ собакѣ, но ее уже никто не останавливаетъ. Каждый занятъ своими лич- ными воспоминаніями. Между тѣмъ, пока ведется этотъ разговоръ, въ щелку двери глядятъ лукавые глаза Лёвы. Онъ подглядываетъ за отдыхающею компаніею и, очевидно, намѣревается нѣчто предпринять. Онъ грозитъ въ про- странство пальцемъ, беззвучно смѣется всѣмъ лицомъ, подкидываетъ колѣнями и вообще всѣми движеніями вы- ражаетъ крайнее нетерпѣніе. Видимо, онъ намѣренъ сдѣ- лать нападеніе на отдыхающую компанію, составилъ уже планъ атаки и ждетъ только благопріятнаго момента. Моментъ этотъ скоро наступаетъ. Лёва бросается на со- баку великаго путешественника и отрываетъ у нее ея гордость, ея великолѣпный хвостъ, вмѣстѣ съ которымъ онъ удираетъ въ столовую. Великій путешественникъ бросается со всѣхъ ногъ за дерзкимъ похитителемъ со- бачьяго хвоста, а вѣрная свита слѣдуетъ за нимъ по пя- тамъ; при этомъ собака изступленно визжитъ и по ея

визгу охотники догадываются, что хвостъ ихъ собаки оторванъ;—о, ужасъ! «съ мясомъ»! Въ сердцахъ преслѣдователей вспыхиваетъ дикій энтузіазмъ. Если они догонятъ наглаго похитителя, они сдѣлаютъ съ нимъ то же, что сдѣлали со слономъ (то есть рѣшительно-таки ничего). Охотники, какъ ураганъ, несутся въ столовую, но на порогъ столовой ихъ встрѣчаетъ мать...

Въ 1913 году 10. Г.м.И.
 Серия W. 17. 18. 19. 20. 21.
 Т. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



C.1

Stanford University Libraries



3 6105 039 780 429

DATE DUE

[illegible]

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

1898